

ЮРИЙ КОЗЛОВ

84(2=Р4с)7

К-59

ЗАКРЫТАЯ *т*АБЛИЦА



16+



МЕТА-ПРОЗА

**БИБЛИОТЕКА КЛУБА
МЕТАФИЗИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА**

Серия «МЕТА-ПРОЗА»





ЮРИЙ КОЗЛОВ

ЗАКРЫТАЯ ТАБЛИЦА



РИПОЛ
КЛАССИК

Москва
2005

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

К59

Редакционный совет

Павел Иванов, директор проекта;

Алекс Громов, пресс-секретарь проекта;

Анатолий Ким; Юрий Козлов; Юрий Мамлеев;

Сергей Сибирцев; Ольга Славникова

Сайт в Интернете: www.pipol.ru

Козлов Ю. В.

К59 **Закрытая таблица:** Роман.— М.: РИПОЛ классик,
2005.— 528 с.: ил.— (Meta-проза).

ISBN 5-7905-3948-3

Заявляя о себе в момент рождения, человек всегда произносит «А», что со временем повлечет за собой такое же неизбежное «Б» — физическую смерть. Однако возможна ли смерть другого порядка, та, которую задолго до Рождества Христова определяли как «meta a tò physiká» — «после физики», со всеми вытекающими отсюда последствиями? Девушка со странным именем Альбина-Беба, лишенная по стечению обстоятельств собственного сердца, а вместе с ним и надежды на продолжение рода, мучительно пытается разгадать тайну человеческой жизни, представляя ее в виде закрытой таблицы, в которой заключена единственная для всех непреложная истина.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 5-7905-3948-3

© ООО «ИД «РИПОЛ классик», 2005

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Сколько Альбина-Беба себя помнила (а было ей восемнадцать лет, так что помнила она себя достаточно долго), она всегда знала, что в мире присутствует странная, склонная к утрюмому юмору сила, которая не есть добро или зло, но есть что-то третье, что, собственно, управляет миром. Что некогда создало мир, включая добро и зло, а теперь неуклонно его разрушало.

Силу можно было уподобить чему угодно. А можно было ничему не уподоблять. Ничего от этого не менялось. Природа силы была вне и над человеческим разумом, выступавшим в определенные (а точнее, определяющие для него) моменты её слепым (или зрячим) орудием. В том смысле, что постигший устройство Вселенной разум не мог разобраться в кодах и шифрах, с помощью которых странная, склонная к утрюмому юмору сила управляла им (разумом) и всем остальным.

Это мог знать лишь тот, кто создал разум и силу. Разум через силу. Или силу через разум. Где-то поблизости, вероятно, бродила и радость, но она не была включена в уравнение.

Радость эпизодически и главным образом «по умолчанию» присутствовала в человеческой жизни, но не являлась основным ее элементом. Основным элементом человеческой жизни являлось что угодно, точнее, у кого только что не являлось, но только не радость.

Иначе почему лик Господа на иконах был неизменно суров, сосредоточен и предельно серьезен? А лик Господа мусульманского или Господа иудейского и вовсе изначально пребывал вне блудливого человеческого взгляда. Видимо, единому, но носящему разные имена Господу было доподлинно известно то, что, в общем-то, было известно и людям, а именно, что радость во времени и пространстве имеет обыкновение оборачиваться разочарованием и печалью.

Альбине-Бебе даже подумалось, что единственная, не подлежащая размену на разочарование и печаль, радость для человека заключается в неустанном изучении склонной к утрюмому юмору управляющей миром силы.

Вот только мало кто был готов отдаться этой радости всецело и без остатка, разве только когда в оставшейся жизни не осталось ничего интересного или... не осталось самой жизни.

Мысль показалась Альбине-Бебе интересной, но грустной. Собственно, в этом не было ничего удивительного. Мир стоял на грусти, как на вечно осыпающемся, но каким-то образом самовосстанавливающемся фундаменте. И душа человеческая состояла из грусти, по меньшей мере, наполовину.

Познать силу означало выйти за скобки уравнения, именуемого жизнью.

Как студентка медицинского института Альбина-Беба знала (сама неоднократно их наблюдала) про «травмы, не совместимые с жизнью».

Сейчас она подумала, что существуют знания, не совместимые с жизнью. И еще Альбина-Беба почему-то подумала о том, что Иисус Христос был единственным, кто попытался донести эти не совместимые с жизнью знания до совместимых с жизнью людей. Дело в том, что на пути знаний стояла жесткая мембрана, пропускающая их внезапного обладателя только в одну сторону, но ни в коем случае обратно. Исключение (Воскресение), сделанное для Сына Божьего, лишь подтверждало правило (смерть) для всех прочих. Хотя, вспомнила Альбина-Беба, был еще некто Лазарь, который воскрес. Но он, похоже, воскрес не потому, что любил людей, и не для того, чтобы оперировать полученными знаниями.

Как и подавляющее большинство ее сверстников в первом десятилетии третьего тысячелетия от Рождества Христова, Альбина-Беба не была укоренена в вере. Поэтому ее саму удивили неожиданные мысли об Иисусе Христе. Он даже как будто увиделся ей на урезе проезжей части Кутузовского проспекта.

Предполагаемый И-Х был одет в сумеречного (фиолетового) цвета льняную рубашку, в льняные же светло-серые брюки, бубнящие на ветру, и в желтые кожаные сандалии. Набирающим (финансовую) силу молодым менеджером процветающей фирмы, лихим дилером, банковским служащим, а может, востребованным политехнологом или клипмейкером, одним словом, небедным парнишкой увиделся Альбине-Бебе предполагаемый И-Х.

С несколько растерянным видом, что, в общем-то, было объяснимо, он вращал на пальце электронный брелок с ключами от машины, как бы не вполне представляя, зачем он здесь и куда ему идти? Стало быть, он приехал на машине. Только хорошенько ее разглядеть Альбине-Бебе было трудно из-за длинного, как вагон с углем, джипа «Chevrolet-Tahoe». Она разглядела только выгнутый на выдвинутой низкой челюсти (определенно спортивной) машины номер с латинскими буквами, из чего явствовало, что в данной точке времени и пространства И-Х либо не являлся российским подданным, либо испытывал слабость к дорогим спортивным машинам. А может, этот русоволосый сероглазый парнишка напоминал И-Х только в расстроившемся воображении Альбины-Бебы, а в реальности — конкретно перегонял машины из Европы и сейчас двигался в сторону автомобильной таможни, которая располагалась дальше по Кутузовскому проспекту.

Все это было забавно, если не сказать смешно, но каким-то (не совместимым с жизнью) образом Альбина-Беба доподлинно знала, что это И-Х. При этом она не могла отделаться от совершенно непристойного ощущения, что не просто видела раньше, но была знакома с этим человеком (естественно, не как с Иисусом Христом) и что между ними будто бы имело место какое-то объяснение, не завершившееся к их взаимному удовольствию.

В этот самый момент к мнимому И-Х довольно развязной походкой приблизилась девушка со смазанным (без запоминающихся индивидуальных черт) лицом, если, конечно, не считать за индивидуальную черту белый

шрам, наподобие молнии пересекший ее загорелую щеку. У девушки были широко расставленные и, как показалось Альбине-Бебе, слегка косящие глаза, жиденькие светлые волосенки и тонкие кривоватые ноги, которые она не удосужилась спрятать в длинные штаны. В просторных, волнами ходящими на ветру шортах, откуда ноги ее выползали (струились), как морские же змеи, была девушка.

Самое удивительное, что Альбина-Беба узнала (вспомнила) эту девушку. Они вместе учились до пятого класса. Потом та перешла в другую школу. Альбина-Беба не сразу же вспомнила, как зовут давнюю подружку, зато сразу вспомнила ее фамилию, потому что забыть такую фамилию — Ильябоя — было невозможно. И еще почему-то вспомнила большой белый бант, который был на голове Ильябои, когда учительница за руку подвела ее в классе к Альбине-Бебе. Потом ей снова увиделся белый бант, но в каком-то странном горизонтальном положении. Все определяет угол зрения, подумала Альбина-Беба, наверное, в тот раз я смотрела на бант под углом печали. Выходило, что угол радости был острым (вертикальным), а угол печали — тупым (горизонтальным). Альбина-Беба не знала, как ей распорядиться этим важным открытием.

Хотя свидание предполагаемого И-Х и Ильябои совершенно ее не касалось, она ощутила (острый, в смысле вертикальный) укол ревности, как если бы И-Х был ее парнем, а Ильябоя на него посягала. Альбина-Беба удивительно живо представила себе, как та запрыгивает на него, столбом стоящего... почему-то... у кафельной стенки (неужели в туалете?), обвивает его чресла бесстыжими

змеиными ногами. Альбина-Беба сама не понимала, почему всякий раз чувствует себя обделенной, когда видит симпатичных (даже незнакомых) парней с другими девочками?

Некоторое время И-Х и Ильябоя о чем-то вполголо-са переговаривались, причем И-Х как будто о чем-то просил блудливо стреляющую глазами Ильябою, а та куражилась, не говорила ни да ни нет.

Это ощущение неопределенной, вязкой (когда не хочешь быть с парнем, но почему-то никак не можешь с ним расстаться) неприязни было отлично известно Альбине-Бебе. Все в жизни становилось не так. Сам воздух на манер дикобраза обрастал невидимыми иглами. Настроение Альбины-Бебы в эти моменты можно было уподобить болоту, по поверхности которого тот, кто был рядом, мог, в принципе, пробежать, не замочив ног, но мог и провалиться в вонючую тину. А иногда и чудовища (дикобразы?), о существовании которых Альбина-Беба не подозревала, выставляли из болота жуткие рыла, изумляя и пугая того, кто был рядом.

Вообще, Альбина-Беба заметила, что иной раз даже за относительно краткое (скажем, по кружке пива) время общения с представителем противоположного пола стрелка мистических, отсчитывающих (что?) часов успевала пробежать по полному кругу (квази) чувств. Любовь, ненависть, ревность, злоба, великодушные (редко), тоска (неизменно) чередовались на циферблате этих часов.

Альбину-Бебу занимала природа необъяснимой тоски, наступающей по самым разным и, казалось бы, взаимоисключающим поводам: оттого, что человек был слиш-

ком умен или, напротив, слишком глуп; оттого, что был симпатичен или, напротив, страшен, как черт; оттого, что ей хотелось продолжить (начать) с ним отношения или, напротив, хотелось их закончить. Альбине-Бебе было не отделаться от мысли, что в многосложной и всеобъемлющей формуле отношений между полами наличествует некая неисправимая ошибка, иррациональная суть которой заключалась в том, что, единожды совершив (осознав) ее, человек был вынужден вновь и вновь ее совершать, поскольку данное уравнение принципиально не имело решения, если, конечно, не считать за таковое биологическое продолжение рода.

Альбина-Беба еще раз убедилась в этом, наблюдая за разговором И-Х и Ильябои. Господи, подумала она, ну почему Ты создал нас такими злыми и несовершенными? Несмотря на очевидную невоцерковленность и неукорененность в вере, Альбина-Беба довольно часто мысленно обращалась к Господу, имея в виду при этом не столько Иисуса Христа, сколько ту самую, управляющую миром, склонную к угрюмому юмору силу. Иногда она обращалась к ней, как к умной и ироничной, разделяющей ее отношение к миру подруге. Иногда как к некоей высшей, повелевающей всем сущим, мыслящей (вещающей в себя все мыслимые и немыслимые мысли) материи, у которой она по непонятной причине ходила в любимицах. Наверное, это было в высшей степени самонадеянно, но Альбине-Бебе казалось, что на своем уровне она как бы повторяет (отражает) структуру материи, примерно так же, как атом повторяет структуру космической звезды. Она была уверена, что если бы ей вдруг

довелось подменить у штурвала (или у чего там?) управляющую миром силу, в мире... ничего бы не изменилось, настолько в конечном счете справедливым (абсолютно несправедливым) и совершенным (чудовищно несовершенным) было это управление.

Тем временем события на проспекте развивались своим чередом.

Из подворотни вышли два парня. У одного была в руках бутылка пива. Другой сосредоточенно тыкал пальцем в мобильник. Альбина-Беба заметила, что руки у первого — темноволосого и круглолицего — побелели от напряжения и дрожат, как если бы бутылка была живая, скользкая, как угорь, и рвалась прочь. А у второго — длинного и гибкого, как удилище, с расчесанными на прямой пробор короткими светлыми волосами, отчего крылатой казалась его голова, — было такое сосредоточенное лицо, что казалось, от предстоящего разговора зависит вся его жизнь, не иначе.

Альбина-Беба обратила внимание, что высокий, с крылатой головой, отдаленно напоминает И-Х. Как, впрочем, и темноволосый, круглолицый, с трудом удерживающий в побелевшей руке живую бутылку. А еще Альбина-Беба подумала, что если бы каким-нибудь образом «слить» этих двоих в один «флакон», получился бы вылитый И-Х, даже больше похожий на настоящего (как Его изображают), чем тот, который разговаривал в данный момент с Ильябой.

Пока Альбина-Беба смотрела на явно нервничающих парней, на проспекте появилась бомжиха с тихо стонущим в грязном кульке ребенком. Она определенно зани-

малась здесь — у крытого моста вблизи знаменитой «Башни-2000», под гневным взглядом конной, с шашкой наголо статуи Багратиона — попрошайничеством. Внутри крытого моста разместились магазины, галереи и рестораны. Здесь непрерывно останавливались дорогие автомобили, из них выбирались люди, в принципе способные оплатить немедленное исчезновение нестерпимо воняющей бомжихи со стонущим в грязном кульке младенцем. Должно быть, обладатели дорогих автомобилей ощущали какую-то свою смутную вину. Хотя, если вдуматься, в чем они были виноваты перед пропившей все свое имущество бомжихой и не в добрый час явившимся в мир младенцем?

Почему-то двум парням (коллективному И-Х, как мысленно окрестила их Альбина-Беба) вдруг резко не понравился вечный как жизнь (или смерть) промысел бомжихи. Они, как коршуны, налетели на нее, вздумавшую что-то получить с человека, подъехавшего на большом черном «мерседесе».

Альбина-Беба узнала в этом человеке отцовского водителя и телохранителя Пашу. Ну, с него-то, подумала Альбина-Беба, она точно ничего не слупит.

Паша работал у отца уже лет пять и успел за это время качественно измениться — полюбил дорогие костюмы, мягкую обувь, красивые галстуки. Он даже использовал тот же самый одеколон, что и отец, объясняя это тем, что в салоне должен быть «единый запах». Одним словом, когда Паша сидел за рулем в одиночестве, вполне можно было поверить, что это его машина, что он босс, а не водитель-телохранитель.

Брезгливо, как драный занавес, отодвинув от машины всю компанию: бомжиху с кульком, коллективного И-Х с пивом и мобильником, Паша двинулся в сторону «Башни-2000», откуда ему навстречу уже бежала де-вушка (элитная секретарша) в белой блузке и черной не-длинной юбке.

— Паша! — перехватила водилу Альбина-Беба. — У нас здесь новый офис?

— Ага, — нисколько не удивился встрече Паша. — На двадцать втором с видом на воду.

— И давно? — В последнее время Альбина-Беба не часто виделась с отцом, а потому не была в курсе его дел.

— Да уж месяца два. Ты чего здесь? — уставился он на подбежавшую секретаршу.

— Ключи, — объяснила та. — Просил отдать мне ключи, сказал, что сам поедет. И чтобы ты не беспоко-ился.

— С тобой, что ли? — усмехнулся Паша.

Секретарша решила не отвечать на глупый вопрос.

Паша, однако, не спешил отдавать ей ключи, выта-щил из кармана мобильник, набрал номер.

— Это я.

Пауза.

— Хорошо. Но я все равно иду.

Пауза.

— Нет, — твердо ответил Паша. — От двери кон-торы до двери машины вы пойдете со мной, а дальше...

Пауза.

— Тогда уберите из договора, что я телохранитель, оставьте, что только шофер! — разозлился Паша. — Да,

кстати, когда я отъезжал от дачи, собака выла, а к капоту прилепились три дубовых листа... По «Энциклопедии примет» это что...

— Дай мне! — выхватила трубку Альбина-Беба. — Папа, я здесь. Ты довезешь меня до дома? Я буду ждать в машине. Ключи будут у меня.

Она не разобрала ни слова из донесшегося из трубки рева. Наверное, воздушное пространство вокруг «Башни-2000» было перенасыщено электронными сигналами, а потому их количество перешло в (скверное) качество. Одно только (последнее) словечко прозвучало относительно внятно: «...мать!»

Наверное, он сказал: «Как вы мне все надоели... вашу мать!» — подумала Альбина-Беба. Она не сомневалась в том, что слово «мать», как и все в жизни, возникло не случайно. Конечно же, отцу (если он собирался куда-то ехать с другой женщиной, да вот хотя бы с этой секретаршей) было в высшей степени плевать на мать, да и на Альбину-Бебу (в том смысле, что он и не подумает отменить поездку из-за того, что дочь будет ждать его в машине). Но невесомое как пушинка, как тень, как невидимый кристалл слово «мать» повисло в воздухе, как тайный знак, как ключ, которым отпираются иные пределы. Самое смешное, вспомнила Альбина-Беба телефонный рев, что человек всегда точно знает (чувствует), когда поступает плохо. Уже одно это свидетельствует о присутствии в мире Бога. Но, увы, вздохнула Альбина-Беба, слово «Бог» присутствовало в мире столь же тихо, невесомо и неясно, как с трудом расслышанное слово «мать».

— Не ходи ты туда, — вдруг с тоской произнес Паша.

За пять лет работы у отца он не только, как говорят, «приподнялся» в материальном смысле, но и почти что сделался членом их семьи с неопределенным, правда, статусом. В данный момент он выступал в роли (заботливого) старшего брата Альбины-Бебы. А мгновение назад — в роли (преданного) младшего брата отца.

— Куда? — удивилась Альбина-Беба. У нее не было определенных планов на сегодняшний вечер.

— По мне, так запереть тебя в этой башне и не выпускать, — задрал голову вверх Паша.

— Плохое предчувствие? — поинтересовалась Альбина-Беба.

В этот момент в руке у Паши зазвонил телефон.

— Понял, — он нехотя протянул ключи Альбине-Бебе.

Беседуя с Пашей и разглядывая величественно уходящую в небо (или не менее величественно опустившуюся с неба) стеклянную ногу — «Башню-2000», Альбина-Беба совсем забыла про И-Х, Ильябою, с которой надо было поговорить (столько лет не виделись), двух нервничающих парней и бомжиху с младенцем. Но когда она приблизилась к отцовскому «мерседесу», их уже не было на проспекте. Продувающий проспект ветер унес их куда-то, как живую пыль.

«Все течет, все меняется», — вспомнила Альбина-Беба фразу из старинного, кажется, 1939 года издания, учебника по физике, который она обнаружила среди хлама на даче... да опять же у этой самой Ильябон, когда они учились в четвертом, кажется, классе.

Родители тогда охотно отпускали на выходные Альбину-Бебу к подружке на дачу. Деревянный — довоенной постройки — дом стоял на берегу озера. Они отправлялись туда вместе с бородатым отцом Ильябои на «Москвиче-412» странного фиолетового цвета. До дачи он, впрочем, долетал, как быстрая сумеречная птица. Отец Ильябои был последователем знаменитого целителя Порфирия Иванова, ходил, как и тот, босиком и в просторных (до колен) черных трусах. «Холод — это жизнь и воля, — говаривал он, погружаясь в дымящуюся от холода осеннюю воду, — а тепло — это тлен и лень». Он и Альбину-Бебу с Ильябоей пытался загонять по утрам в ледяное озеро, но те, визжа, уклонялись от жизни и воли, предпочитая тлен и лень.

Они еще брали с собой, вспомнила Альбина-Беба, огромную белую собаку, которая, стоило только человеку раздвинуть ноги, немедленно проходила под ними, как под аркой. Если же человек, по мнению собаки, был недостаточно высок или нешироко раздвигал ноги, она на ходу припадала на лапы и все равно проползала под ногами. У собаки был отменный глазомер. Вот только некоторые люди, когда она совалась им между ног неожиданно и сзади, случалось, пугались.

Там-то на втором этаже разваливающегося дома, смотрящего окнами на озеро, Альбина-Беба и обнаружила довоенный учебник физики с чернильными замечаниями на полях. «Все течет, все меняется, — учил Гекраклит» было написано в учебнике. А на полях добавлено чернилами: «...попивая сладкое виноградное вино, изготовленное рабами». Такой вот революционно-

классовый подход продемонстрировал к безобидному древнегреческому философу неведомый довоенный ученик, а может, ученица.

Альбина-Беба с грустью подумала, что раньше молодежь была чище, скромнее, а главное — стремилась к справедливости. Ее искренне восхитил неведомый ученик, вскрывший на полях учебника классовую суть Гераклита. В ее годы на полях учебников писали разнообразную (внеклассовую) похабщину или что-то вроде: «Цой не умер!», «Курт Кобейн жив!»

А еще она подумала, что на их даче — в трехэтажном кирпичном доме, обнесенном высоким забором, — вообще нет старых вещей. С одной стороны, это свидетельствовало о революционном обновлении их быта, а с другой — о разрыве времен и судеб, как если бы они жили в новобиблейские (в смещении добра и зла) внеклассовые и внерелигиозные времена.

Альбина-Беба наконец поняла, зачем ей ключи от «мерседеса». Она хотела продемонстрировать куда-то спрятавшейся Ильябое, направившемуся к своей машине И-Х, а заодно и всем остальным гражданам, включая отцовскую секретаршу, что она лихая девчонка, отнюдь не пропавшая в новобиблейские времена.

— Не вздумай, — оглянулся, прочитав ее мысли, Паша.

— О чем речь? — спросила Альбина-Беба.

Паша сам обучал ее вождению, причем на этом самом «мерседесе».

Чтобы он прекратил оглядываться, Альбина-Беба уселась впереди не на водительское место. Но как только

Паша вошел в башню, мгновенно переместилась за руль и вставила ключ.

В этот самый момент к ней зачем-то бросились два парня, размахивая руками и что-то крича. При этом один явно старался удержать другого.

Альбина-Беба вспомнила, что читала в газетах про банду, орудующую на Кутузовском проспекте. Бандиты грабили девушек и женщин, подъезжающих на дорогих машинах к дорогим магазинам.

Обойдетесь!

Альбина-Беба почти уже рванула задом прямо в наплывающий троллейбус, но тут же поняла, что поспешила, а точнее, опоздала с этим выводом. Один из грабителей уже сидел сзади, распространяя запах сладковатых (тлен и лень?), но вполне приличных женских духов.

— Ты! — изумилась Альбина-Беба, обнаружив, что это... Ильябоя.

Но та не ответила, похлопав себя рукой по горлу, из чего Альбина-Беба заключила, что, по всей видимости, ее давняя подружка смертельно простужена.

Она едва успела затормозить перед самым боком проплывающего троллейбуса с издевательской какой-то рекламой: «Все, что ты знаешь, — ложь!»

Троллейбус ушел вперед, унося пассажиров. Лицо одного из них показалось Альбине-Бебе знакомым. В заднем стекле отчетливо отпечатались остроухая, со скошенным подбородком под слипшимися, как нечистые перья, волосами птичьей физиономия хирурга-аспиранта, которого все считали гением и прочили ему блестя-

щее будущее. Этот самый гений вел на их курсе практические занятия по анатомии.

Тут один из грабителей (с мобильным телефоном) буквально влип в дверь «мерседеса», а другой (с бутылкой пива) прямо-таки повис у него на плечах. Дерутся из-за... добычи, с ужасом подумала Альбина-Беба. Она вдруг ясно осознала, что единственная и последняя ее защита от проклятой банды — И-Х. Но тот как раз отъезжал на низкой спортивной машине с иностранными номерами, смутно показавшейся Альбине-Бебе знакомой, в том смысле, что как будто она уже ездила на этой (неужели вместе с И-Х?) самой машине.

В этот самый момент, очевидно желая привлечь ее внимание, Ильябоя громко хлопнула в ладоши, до смерти перепугав Альбину-Бебу.

Все вдруг исчезло, растворилось в воздухе, даже не в воздухе, а в какой-то плотной белой, холодной как лед, субстанции, пронизанной ослепительными зелеными спицами, как если бы мир вдруг превратился в ледяной зонт.

— Ну вот, — голос вернулся к Ильябое, и напомнил этот голос вибрацию железной пилы, точнее косы, хотя, кажется, умельцы играют на пиле, а не на косе, — а ты испугалась! Неужели забыла, что холод — это жизнь и воля?

Альбине-Бебе уже не хотелось никуда ехать. Ей вдруг смертельно захотелось тепла — тлена и лени.

— Откуда ты взялась? — спросила она у Ильябоя. — Ты же куда-то уезжала?

— Я вернулась с... холода, — рассмеялась, продемонстрировав неожиданную (детективного плана) начи-

танность, Ильябоя. — Если бы ты только знала, с какого холода я вернулась! Но мы еще обязательно увидимся. А сейчас извини, я очень спешу. — Поцеловав Альбину-Бебу в щеку, улыбнувшись блядской какой-то улыбкой, Ильябоя вышла из машины, бесшумно хлопнув тяжелой бронированной дверью.

2

Управляющая миром сила познавалась нелогично, а сам процесс познания имел два измерения. Одно — фантомное, интуитивное, как знаменитое «*déjà vu*», как воспоминание о том, чего не было. Это было темное и нечеткое измерение, напоминающее блуждание по периметру обширного, невыразимого в словах смысла. Другое измерение носило характер данности. Оно входило в сознание как откровение, как ясное и конечное знание о том, о чем знать невозможно. При этом оно тоже было невыразимо в словах и неприменимо к обыденной жизни. Это было знание о гармонии мира и одновременно о полной его дисгармонии. О том, что мир создал Бог, и одновременно о том, что Бога нет. Управляющая миром сила, таким образом, сама себя отрицала, как Маяковский под Лениным, «чистила» себя под Богом, оставляя на долю человека один лишь угрюмый юмор.

Альбина-Беба подозревала, что этот юмор и есть, в сущности, самый натуральный (конечный) способ познания мира и, следовательно, растворения в силе.

...Она вдруг вспомнила, как однажды в детстве, на излете советских времен плавала вместе с отцом и одним его знакомым на лодке по Истринскому водохранилищу. Тогда как раз вышел указ о кооперативах, и отец суетился, пытаясь организовать в районе альтернативную платную «Скорую помощь».

А вот знакомый отца не суетился, ничего не пытался организовать. Зато он преуспел в том, в чем отец решительно не желал преуспевать. То было время водочных талонов и необъяснимого отсутствия бутылок. Чтобы получить по талону бутылку водки, следовало непременно сдать пустую.

Отец принципиально не стоял в позорных километровых очередях. А вот встреченный знакомый стоял, иначе откуда у него была в авоське трехлитровая банка с весело играющей на солнце водкой?

«Так точно, — по-военному ответил он на невысказанный отцовский вопрос, — перелил, а бутылки сдал. Теперь все так делают».

Альбина-Беба сразу поняла, что встреча отцу в тягость. Но в те годы он еще не имел возможности посылать кого угодно куда подальше.

Отец присел с дядей на лавочку.

Они поочередно отхлебнули из стреляющей солнечными зайчиками банки, закусили пирожками, которые проворно поднесла в корзине под полотенцем бодрая тетя в белом переднике.

Затребованная за пирожки сумма дяде определенно не понравилась, о чем он явно намеревался заявить торговке в грубой форме, но отец заплатил, не торгуясь.

Альбина-Беба не могла взять в толк, зачем отец длит бессмысленное общение с этим опустившимся человеком? Но наконец догадалась: это банка с водкой, как магнит, удерживает возле себя двух столь разных людей. Отец и дядя, не отдавая себе отчета, вращались вокруг нее, как планеты (или астероиды) вокруг солнца. Сила притяжения налитого в банку солнца была поистине непреодолима.

Желая, видимо, растянуть, ослабить эллипс орбиты, отец взял на лодочной станции лодку.

Якобы только ради этого — покатать дочку на лодке — он и пришел на водохранилище.

Хотя на самом деле он встречался здесь с неприметным лысоватым, чем-то неуловимо напоминающим молодого Ленина чиновно-медицинским товарищем, имеющим отношение к гуманитарной помощи. Этот товарищ должен был продать отцовскому кооперативу по сходной цене определенное количество коробок с одноразовыми шприцами. Тогда они считались в СССР (а может, уже и в новой демократической России, Альбина-Беба точно не помнила) большой редкостью, и различные международные организации присылали их большими партиями и, естественно, совершенно бесплатно.

«В понедельник составим акт передачи, — похожий (как выяснилось, не только внешне) на молодого Ленина товарищ был скор и небоязлив в решениях, — во вторник заберешь с нашего склада. Вопросы есть?»

«Может, скинешь сотню?» — отыскался даже не вопрос, а жалкий (но вечный) вопрошишка.

«Только тебе по старой дружбе, — мгновенно и даже с некоторым недоумением посмотрел на мелочащегося

отца товарищ. — В префектуре тридцать медицинских кооперативов. Еще семь на регистрации. Размечают в момент».

«Значит, до понедельника», — сказал отец.

«Слушай, — вдруг тронул его за плечо товарищ, — зачем тебе это надо?»

«Что именно?» — тревожно посмотрел по сторонам отец.

«Ты же прекрасно понимаешь, что они не будут тебе платить».

«Кто?»

«Да те, к кому будет приезжать твоя альтернативная платная “Скорая помощь”!» — объяснил распределитель (он же расхититель) одноразовых шприцов.

«Почему?» — удивился отец.

«Да потому, — усмехнулся тот, — что на том просторанстве, где ты хочешь работать, жизнь не имеет ни малейшей ценности! Во всяком случае, измеряемой деньгами. Скорее даже наоборот... — Вдруг весело подмигнул отцу. — Может, ты хочешь пощупать другой ресурс? Ресурс... ожидания смерти близкого человека, а?»

«Думаешь, он более перспективен?» — тщательно подбирая слова, уточнил отец.

«Во все времена, — рассмеялся товарищ, — но, к сожалению, а точнее, к счастью, он не по нашей части».

«А что по нашей?» — поинтересовался отец.

«Да уж никак не платная “Скорая помощь”, — потрепал Альбину-Бебу по голове товарищ, — даже не стоматология и не восстановление досрочно выпавших волос, — похлопал себя по лысине. — Они, — широко

обвел рукой насыщенное людьми пространство, как бы подразумевая человечество, а точнее, его проживающую в России, часть, — сейчас — ничто, и имя им ноль в миллионной степени. Но потом... после того, как все, — на сей раз товарищ обозначил рукой поверх голов людей дальние горизонты — улицы, жилые и промышленные здания и даже дрожащие в весеннем воздухе железные абрисы опор электропередачи на лугах, — будет разобрано, как... гуманитарная помощь, некоторые из них будут готовы платить...»

«За что?» — спросил отец.

«За жизнь, — с улыбкой ответил товарищ, — особенно когда они поймут, что денег у них гораздо больше, чем отпущенной жизни. Денег столько, что можно жить вечно. Но ведь вечно... жить невозможно?»

«Невозможно», — подтвердил отец.

«А хочется! — сказал товарищ. — Вот туда-то, в ту волшебную страну и надо ехать на альтернативной “Скорой помощи”!» — Попрошавшись с отцом, он стремительно (по-ленински), заложив руки за спину, пошел по аллее. Как если бы опаздывал в Смольный, где его ждали революционные солдаты и матросы.

Видимо, какие-то провидческие глубины открылись отцу в разговоре с расхитителем шприцов. Поэтому он, вместо того чтобы немедленно расстаться со вторым встречным, взялся задумчиво прихлебывать из трехлитровой банки, закусывая пирожками. Как если бы древний библейский Бог указал (здесь, на водохранилище, как некогда Аврааму на горе) отцу два пути. Или туда — по аллее — куда умчался похожий на Ленина товарищ.

Или — непонятно куда (точнее, никуда), где прохлаждается дядя с водкой в трехлитровой банке.

Отец, конечно же, сделал выбор. И сейчас на лодке он мысленно прощался с остающимся в пьяной нищете народом, олицетворяемым усевшимся за весла дядей.

Лодка ходко скользила по воде. Они завернули в соединяющую озера протоку и вскоре оказались в тишайшей заводи среди нависающих с берегов кустов, полураспустившихся белых лилий, летающих над водой синих и прозрачных стрекоз. Лодка влипла в воду, как в латекс. Внизу, сквозь вязкий латекс, с трудом проталкивались, помогая себе красными плавниками, крохотные рыбки. Крупняк что-то не показывался — должно быть, нерестом был озабочен крупняк. Даже воинственно поднявшего клешни зеленого рака углядела на дне среди водорослей Альбина-Беба, грозным рыцарем идущего на неведомого врага.

Сверху светило солнце, а от воды поднималась прохлада. Мир был мучительно прекрасен. Альбина-Беба, хоть и была маленькая, вдруг ощутила опережающую тоску расставания с ним. Ей показалось, что место, где они в данный момент находились, было в поле зрения Бога. Под взглядом Господа предметы обретали бесконечно-конечное измерение, в том смысле, что человеческая мысль продолжалась не (как обычно) мыслью, но образом мира: свесившейся с берега пушистой ольхой, белой лилией, неподвижной водой, рыбьей с дрожащими красными плавниками, спинкой, скользящей по глади водомеркой. Мысль, таким образом, поднималась до максимально возможного (для человеческой мысли)

обобщения, а именно: сливалась с природой. Альбина-Беба подумала, что для того чтобы быть угодным Богу, оказывается, не обязательно быть чрезмерно умным, скорее наоборот.

Даже дядя на веслах ощутил проспиртованным своим существом Божью благодать. Он в очередной раз сорвал с банки полиэтиленовую крышку-шапку, мощно отпил, занюхал рукавом, потому что не было больше пирожков.

«Все! — торжественно объявил он. — Больше не буду! — И бережно переправил через голову Альбины-Бебы банку отцу, сидевшему на корме.

«Что так?» — сухо поинтересовался отец.

«Не хочу, — посмотрел по сторонам дядя, — нарушать красоту, оскорблять мир своей пьяной рожей... У меня сына посадили, — вдруг признался он. — Две дочери-шлюхи дома не ночуют. У жены подозрение на рак. Наш НИИ медтехники, — махнул рукой, — закрывают. Ты в курсе. С понедельника я — безработный. Сплошные долги. Но ты понимаешь... Вот сейчас... В данный момент... я совершенно счастлив! И это никак не связано с... этим, — кивнул на банку. — Я понял, что Бог, — произнес упавшим голосом, — любит нас даже... когда уничтожает».

«Я знаю, — неожиданно ответил отец, — Бог всегда на стороне большинства. А мертвые — это окончательное и непреодолимое большинство, их больше, чем живых, в тысячи раз. Но я не понимаю, — отпил из банки, — почему он попустительствует меньшинству, когда оно сживает со света пока еще живое большинство? И означает ли примкнуть к меньшинству — пойти против Бога?»

«Означает», — твердо (как будто устами этого самого уничтожаемого большинства) ответил дядя.

«Означает, — повторил отец, — но если я не хочу дышать вместе с большинством?»

«Тогда твоя душа приложится к телу, — Альбина-Беба сама не понимала, откуда взялись эти слова, зачем она их произносит и если произносит, почему их никто не слышит, — и умрет вместе с ним».

Лодка тем временем уткнулась носом в берег, точнее, в нависшие над водой кусты.

На ольховую, а может, ивовую ветку, уселась стрекоза. Альбина-Беба слушала разговор, но при этом, нагнувшись, смотрела на мир сквозь стрекозьи крылья. У стрекозы, как водится, было по две пары параллельных слюдяных крылышек. Но мир сквозь них виделся по-разному. Через одну пару — живым, радужным и веселым. Через другую — серым, пустым и тоскливым. Альбина-Беба, елозя ногами по лодке, меняла точки прицела. Мир прыгали перед глазами. Светлая радужная жизнь утекала в пустоту. Пустота взрывалась радужным светом.

Именно тогда повелевающая миром сила впервые увиделась (открылась) Альбине-Бебе в образе стрекозы с переменчивыми крыльями.

А через несколько лет, когда Альбина-Беба впервые (опять с Ильябоей!) отведала вина, она подумала, что силу можно уподобить алкоголю, щедро хлебнув которого (как тогда отец и дядя из оплетенной авоськой банки или как она потом с Ильябоей), так легко расстаться с жизнью. Или найти единственно правильное решение внутри не имеющей правильного решения задачи, вроде той, что

Бога следует любить даже (и особенно) тогда, когда Он тебя уничтожает.

Собственно, в этом и заключался утрюмый юмор силы.

Выходило, что и человеческая жизнь элементарно вмещалась в образ скользящей над озером стрекозы. Сегодня трепещет, преломляет сквозь слюдяные крылья мир, перелетая из радуги в пустоту и обратно, а завтра нет этой стрекозы, какие-то другие летают стрекозы.

Альбину-Бебу не переставала изумлять нелогичная (в сравнении с хрупкостью стрекозы) концентрация ощущений, подобно статическому электричеству, скапливающаяся на легких, как воздух, крыльях. Человек жил, чувствовал и мыслил объемно, точнее всеобъемлюще, как будто был Богом и впереди у него жизнь вечная.

В этом тоже заключался утрюмый юмор повелевающей миром силы. Она как будто грелась у костра человеческого несовершенства — костра вечного и негасимого.

...Альбина-Беба вспомнила, как совсем недавно — в самом начале осени — они принимали гостей у себя на даче. Гости съезжались солидные. Каждый второй — на двух машинах (одна с охраной). Вскоре вся улица перед их домом оказалась заставленной машинами.

Только вот какой-то Гагик, ради которого, собственно, отец и затеял званый ужин, почему-то задерживался. Но наконец и он объявился, причем не на машине, а... на белом вертолете, напомнившем Альбине-Бебе стрекозу. Едва завидев в воздухе вертолет, отец дал команду пиротехникам, и они выпустили в воздух первую порцию фейерверка, сложившуюся в искрящееся слово «Гагик»

и еще какое-то слово, которое никто не смог разобрать, потому что оно было изображено тоже искрящимися, но армянскими буквами. Только Гагик (и бывшие с ним армяне), наверное, прочитали его из вертолета.

Альбина-Беба пыталась узнать, почему ему оказывается такой почет, но узнала только, что сначала Гагик уехал из Армении в Австралию, там разбогател, а сейчас живет в Калифорнии, где владеет целой сетью специализированных, сверхсовременных клиник, практикующих генную трансплантологию.

Гагик оказался маленьким, толстым, волосатым, с сизыми, несмотря на бритье, щеками. Глядя, как он шаром выкатился из вертолета, Альбина-Беба подумала, что себя он определенно не подвергает генной трансплантологии, а с гордостью и достоинством несет сквозь жизнь древние армянские гены.

Был Гагик с женой — еще красивой, но уже увядающей армянкой, которая возвышалась над ним, как изящная (из слоновой кости?) башня. У нее было трудноpronосимое имя Хасмик, но она отзывалась и на Ханну.

Гости, как водится, выпивали и закусывали, а когда стемнело и на деревьях зажглись светящиеся гирлянды, кто был помоложе и поэнергичнее, запросили музыки и танцев, что и было мгновенно организовано. На экзотические — среди деревьев под золотой и круглой, как календарь майя, луной в сиреновом небе — танцы потянулись и гости постарше, которым надоело выпивать и закусывать, а также гости, которым надоело плавать в бассейне.

Едва только Альбина-Беба успела выпить фужер красного вина и сунуть в музыкальный центр диск с мед-

ленной музыкой (не все танцоры выдерживали рэп), ее пригласил сам Гагик. Альбина-Беба обратила внимание, что черные жесткие волосы растут у него и на пальцах, доходя до первого сгиба, — как если бы в шерстяных перчатках с отрезанным верхом ходил Гагик. Голова Гагика оказалась точно напротив ее груди. Гагик натыкался на грудь Альбины-Бебы то ухом, то носом, но при этом (она чувствовала) совершенно не испытывал естественного сексуального волнения, хотя (она это тоже чувствовала) был еще крепким (нормальным) мужиком. Скосив глаза вниз, Альбина-Беба разглядела, что он лысеет. А еще Гагик, несмотря на вечернюю прохладу, сильно потел. Острый запах пота все отчетливее пробивался сквозь дорогой истаивающий одеколон. И уж совсем не понравилось Альбине-Бебе то, что волосатые пальцы Гагика, как гусеницы на лопухе, пригревшиеся на ее плече, вдруг начали крупно дрожать. До нее вдруг дошло, что Гагик не столько танцует, сколько мучительно вслушивается в едва различимый сквозь бред «Ночных снайперов» разговор кружащихся рядом жены и только что вылезшего из бассейна, обмотанного поверх плавок — но, может, и не было там плавок — полотенцем бизнесмена из Пензы.

Этот бизнесмен, по всей видимости, еще недавно был бандитом. Во всяком случае, относительной молодостью, а также тренированным, подтянутым телом он выгодно отличался от многих остальных гостей мужского пола. Похожие на него экземпляры безалкогольно и внетанцевально прогуливались у так называемого гостевого домика. Но то были водители и охранники. Они (пока) не принимались в расчет.

Заинтригованная, Альбина-Беба тоже навестила ухо.

«Черный бриллиант, — донеслись до нее слова бизнесмена, — я тоже хотел купить своей... жене, когда был в Южной Африке. Но они запросили за полусырой двести штук. Еще пришлось бы платить за огранку, заказывать кольцо из платины — черный же не ходит с золотом — в общем, не взял...»

«И ваша жена осталась без черного бриллианта», — констатировала Хасмик, она же Ханна.

«Ничего, — ответил бизнесмен, — у нее есть простые».

«А вот мой первый муж, — тихо, так что Альбина-Беба едва расслышала, произнесла Хана, как бы невзначай (взначай!) прижавшись всем телом к бизнесмену, — думал иначе и подарил мне платиновое кольцо с черным бриллиантом».

«Ах ты... сука! — вдруг резко оттолкнув Альбину-Бебу, завопил Гагик. — Я ведь спрашивал, спрашивал, а ты мне врала! Тварь, сука, ты говорила, что это от бабушки из Шуши. Я еще думал, откуда в Шуше черный бриллиант на триста штук? Да турки бы сто раз отрезали палец у твоей бабушки! Я же просил, чтобы от него не осталось ни одной вещи! Я положил на твою карточку миллион! А ты...» — Присев, он как бы ввинтился в траву, а потом, как шуруп-саморез, вывинтился между женой и бизнесменом, оттолкнул бизнесмена, схватил жену за руку, зверски вцепился в палец, пытаясь свинтить кольцо, а может, и оторвать (как это делали турки в Шуше?) палец вместе с кольцом.

«Уберите его! Он спятил!» — закричала Хасмик, она же Ханна.

«Слушай, друг!» — тронул Гагика за плечо бизнесмен из Пензы, но тут же оказался на траве с завернутыми за спину руками и уткнутыми в голову двумя стволами. Так быстро и четко сработали телохранители Гагика. Порыв ветра, не иначе, в мгновение ока домчал их сюда от гостевого домика. Если, конечно, эти самые телохранители, как бабуины, не прятались в ветвях деревьев. Альбина-Беба подумала, что Гагик не зря им платит деньги.

Бизнесмен хрипел, потому что, прежде чем пристрелить, телохранители, видимо, решили его придушить.

«Все, все! Ребята, спокойно! Все хорошо! Гагик танцует! Эй, уведите Ханну! Отпустите его, он уже не дышит! Все, разошлись! Танцуют все! Без нервов...» — подбежал отец.

«Без нервов, — странно ответил ему Гагик, — танцуют только за деньги».

Ханну увели, и он как-то сразу успокоился, даже извинился перед полужадушенным пензенским бизнесменом, у которого под полотенцем все-таки обнаружились пестрые, как перья дикого селезня, плавки. И лежал он, бедный, на траве, будто добытый охотниками селезень.

«Хорошо, что я не спросил ее про бриллиант в бассейне, — мрачно заметил бизнесмен, косясь на Гагика и его телохранителей, — они бы меня точно утопили».

Похоже, он сжился с ролью селезня и сейчас радовался, что жизнь продолжается, что он еще покрывает, поплаывает, летает и (если Бог даст) потопчет уток.

Отец и Альбина-Беба под руки увели как-то вдруг резко ослабевшего Гагика в большую комнату на первом этаже, где по вечерам горел камин, под зеленым сукном

стоял бильярдный стол, а в углу едва слышно шлепала по воде колесом игрушечная мельница. Она стояла на горе, а еще там были деревья, домики под черепичными крышами и даже готический соборчик с часами. Альбине-Бебе нравилось рассматривать игрушечный, с журчащей водой, ландшафт. Почему-то ей казалось, что она уже была (или обязательно будет) в этом месте.

Таким образом, в триединую стихию огня (камин), воды (мельница) и уходящего времени (часы на готическом соборе) как бы поместил Гагика отец. Усадил в кресло перед камином, щедро плеснул в бокал «Hennessy».

Только какой-нибудь совершенно отвязный идиот посмел бы здесь не успокоиться.

Гагик таковым не являлся.

Альбина-Беба подумала, что и еще одна важнейшая, определяющая человеческую сущность стихия наличествует в комнате, а именно: игра, соревнование (бильярдный стол).

Ей стало интересно, понимают ли отец и Гагик, да и вообще все на свете мужчины, что есть игры с такими правилами, где они ни при каких обстоятельствах выиграть не могут. Но они не устают, подумала Альбина-Беба, в них играть, сокращая себе жизнь, ибо мудрость в этих играх не приобретается, в них приобретаются только позор и сердечные раны.

«Извины, я сорвался,— поставил на стол перед креслом пустой фужер Гагик.— Я все понимаю, она не девочка, а я не малчик, я живу с ней десять лет, но... я

не могу даже мысленно сэбэ представить, как ее трахает другой... Даже, — добавил задумчиво, — в прошлом, особенно в прошлом. Хотя она тогда мнэ нэ принадлежала».

«Ты можешь владеть ее телом, — ответил отец, — контролировать ее расходы, дарить ей подарки, платить за нее по жизни. Но ты не властен над сущностью пола. Эта проклятая сущность реализуется независимо от тебя, помимо тебя, да и от... нее тоже».

«Что жэ, — с тоской посмотрел на отца Гагик, — получается, что все оны бляди?» — Это слово он произнес без малейшего акцента.

«Не знаю, — едва ли не с большей (ответной) тоской посмотрел на Гагика отец, — это знает один лишь Господь Бог. Но по отношению к нам, мужчинам, они, пусть в разной степени, с разной мотивацией, но бляди!

«А все наши чувства к ним, — подытожил Гагик, — нэ важно, любовь, нэнависть, равнодушие или доброта — эта... тот самый дрова, — кивнул на камин, — от которого их блядство разгорается more and more?» — завершил он фразу на английском.

«Накатим», — снова наполнил бокалы отец.

«За что?» — усмехнулся Гагик.

«За побег», — заговорщически подмигнул ему отец.

«Побег? Откуда? — Гагик удивленно посмотрел по сторонам, как если бы отец предлагал ему бежать прямо сейчас — от камина, шлепающей лопастями мельницы, бильярдного стола, не допив коньяка, без заранее составленного маршрута, одним словом — как-то капризно и неподготовленно бежать. — И куда? В обитель даль-

нюю трудов и чистых нег?» — неожиданно продемонстрировал знакомство с поздним Пушкиным Гагик.

«Из тюрьмы», — сказал отец.

«Из тюрьмы?» — лицо Гагика неожиданно отвердело, на щеках заиграли желваки, и Альбина-Беба поняла, что это не пустое для него слово. — Что ты знаешь про тюрьму?»

«Тюрьмы тела, — пояснил отец. — Есть мужчины, которым суждено быть вечными заключенными... определенного... как правило, не вполне достойного и тяготящегося этой тюремной верностью женского тела. Даже совершая побег, они остаются в тюрьме».

«Я убегал, — признался Гагик, — сколько раз я убегал из этой проклятой тюрьмы на прекрасные, цветущие лужайки. Но... вместе со мной как будто убежали и решетки тюрьмы. Я их все время видел впереди... по курсу. Даже... — испуганно понизил голос, — в океане и в небе. Убежало мое тело, а душа... оставалась в тюрьме, точнее, в п...».

«Эти побеги не приносят радости и успокоения, — согласился отец, — но лишь обостряют тоску по... тюрьме. Их можно сравнить с похмельным сном, когда снится, что пьешь воду, но никак не можешь напиться. Наверное, это болезнь».

«И все же, — с надеждой посмотрел на него Гагик, — нет таких тюрем, откуда невозможно убежать».

«Но есть тюрьмы, которые можно разрушить только вместе с жизнью», — продолжил отец.

«Давай выпьем за... жизнь, — предложил Гагик, — папamu что, — снова заговорил с акцентом, — ничего другого у нас, в сущности, нэт».

Они чокнулись и выпили до дна.

Отец вдруг увидел Альбину-Бебу, гневно немотствующую на кожаном диване.

«Ты тоже хочешь выпить с нами за жизнь? — поинтересовался он. — Или предложишь другой тост?»

«Предложу, — не стала упрямиться Альбина-Беба. — Я допускаю, что вы оба в тюрьме. Но это ваш свободный выбор. Ваша мнимая тюрьма — это патология, противоестественное слияние души и тела на условиях тела. Вы даже представить не можете себе, какая... мерзость и унижение, — на всякий случай переместилась в дальний угол дивана, — эта ваша добровольная тюрьма для тех несчастных женщин, которых вы принуждаете к физической и... — запнулась, — я не знаю, можно ли употребить это слово... духовной близости. Если бы вы только знали, — она сама не понимала, что на нее нашло (Альбина-Беба любила отца, да и Гагик не сделал ей ничего плохого, напротив, подарил симпатичную серебряную цепочку), — как может быть ненавистно мужское тело, когда духовная близость невозможна. Каждый волосок, сизая морщинистая кожа на... брюхе, отвисшая задница, эта... вонь...»

«Вонь? — с огорчением переспросил Гагик. — Неужели... прямо сейчас?»

«Я конкретно никого не имею в виду», — сбилась с мысли Альбина-Беба.

«А что тогда ты имеешь в виду?» — спросил отец, добавив себе и Гагику «Hennessy».

«Душа — не тело», — объяснила Альбина-Беба.

«А тело — не душа», — подсказал Гагик.

«Если душа подчиняется телу, значит, она смертна, а может... смертельна. Ваша тюрьма — это не любовь, это... смерть, точнее, тоска обреченной на смерть души. Но зачем вы тянете за собой другую душу?»

«Чтобы не досталась другому», — мрачно ответил отец.

«Душа принадлежит Богу».

«Круто берешь», — покачал головой отец.

«А главное, высоко», — добавил Гагик, — как новый российский истребитель... пятого, да? ... поколения».

«Погибая, душа ищет... — на мгновение задумалась Альбина-Беба, — сотоварищей в скорби».

«Она права, у тюрьмы много измерений», — немотивированно повеселев, поддержал Альбину-Бебу Гагик.

«Есть жалкие анонимные алкоголики, — продолжила Альбина-Беба, — а есть анонимные ревнивцы!»

«Пачему анонимные? — опять с акцентом уточнил Гагик. — И пачему жалкие? Жалкие — это тэ, у каго нэт дэнэг. У каго есть дэньги, те нэ жалкие!»

«Вы... отравляете мир своей ревностью!»

«Пайду просить прощения у Хасмик, — это было удивительно, но он совсем не обиделся на Альбину-Бебу. — Навэрнае, я опять ее обыдел»...

И отец, которого она причислила к анонимным ревнивцам, не швырнул в нее бокал, не заорал: «Пошла вон!»

Отец и Гагик энергично допили «Hennessy», подвели черту под одной реальностью, закрыли тему, открыли другую тему и вступили в другую реальность, где им предстояло решать совсем другие вопросы.

Отец просил у Гагика кредит на закупку медицинского оборудования. Гагик не отказывался дать кредит, но ему не нравился банк, акции которого отец предлагал в качестве залога.

...Альбина-Беба подумала, что жизнь ступенчатая, а может, спиральна, одним словом, не линейна. Внутри времени скрываются «ловушки», которые люди воспринимают как досадное недоразумение, как сбой внутри налаженного скольжения, но эти «ловушки» как раз и определяют жизнь, задают ей направление.

Надо только уметь их видеть.

Некая несправедливость, впрочем, открылась Альбине-Бебе в том, что она отслеживает (внутри времени) «ловушки», а отец (хотя они непосредственно его касаются) — нет. Альбина-Беба не сомневалась, что «ловушки» — плавание на лодке по Истринскому водохранилищу или недавний эпизод у них на даче — собственно и есть «ноу-хау», с помощью которого склонная к утрированному юмору сила управляет человеческими жизнями.

«Поймать ловушку» означало познать невозможное и непознаваемое. Вот только поправить или изменить что-либо было совершенно невозможно. Таково было условие. Таков был принцип действия силы.

Даже сам Господь Бог подчинялся ему.

Что изменилось в мире после того, как в начале двадцатого века португальские девочки побеседовали со Святой Богородицей? Или после того, как добрый никарагуанский крестьянин встретил в начале двадцать первого на горном плато Иисуса Христа?

Жизнь управлялась посредством невидимой шифровальной машины, которая «шифровала» события и судьбы в пространстве простых, но непредсказуемых по своему воздействию на события и судьбы человеческих чувств.

А иногда — очень даже непростых.

Коды и шифры, используемые машиной, доподлинно знали на заводе-изготовителе, если, конечно, он продолжал существовать. Может статься, завод был давно приватизирован, перепрофилирован, модернизирован или просто разворован. Фантазировать на эту тему можно было бесконечно.

Альбина-Беба самостоятельно сформулировала закон познания мира. Он звучал так: знание неостановимо, как свет звезд, долетающий до Земли сквозь вечную и бесконечную тьму Вселенной.

Особенно знание о непознаваемом.

Неясные (из дочеловеческих правремен) ощущения пробивались сквозь пространство и время. Что-то там определено было. И не такое, как сейчас. Иной раз того или иного человека настигала тень того, что когда-то существовало, но не имело ни малейшего отношения к человеку. А если и имело, то не к тому, который жил сейчас.

Способность различать «ловушки», телепатия, «третий глаз», который якобы был у Александра Македонского, ясновидение, умение насылать порчу и излечивать (без лекарств) болезни...

Альбина-Беба вдруг поняла, что кое-что из этого ей (в разной степени) присуще. Но все это напрасные дары. Она не в силах этим распорядиться, а потому чувствует себя в мире бесконечно одинокой сиротой. Рыбой, живу-

щей в лесу, но со смутными (и бесполезными для леса) мыслями о морских глубинах.

Управляющая миром сила знала, как поступать с незаконными знайками. Для того чтобы остановить неугодное знание, достаточно было всего лишь наглухо запечатать его в отдельно взятом сознании. И убрать, как бутылку с редким дорогим вином в пыльный подвал.

Наверное, эти бутылки откупоривались в мгновения смерти, и вино ударяло из них ликующим фонтаном. Вот только кто, кроме умирающего, наслаждался (если, конечно, это определение здесь уместно) вином истины, которой не дано было ничего изменить?

Она была повсеместно, эта сила, смотрела на человека тысячьо глаз отовсюду, учила жить, диктовала законы бытия, как некогда Бог (чье имя нельзя было произносить) Моисею. Вот только не всем, как Моисею, дозволялось транслировать приобретенный опыт вовне, водить даже не то чтобы народами, а допустим, всего лишь близкими людьми. У них — близких людей — имелся (не менее самодостаточный) собственный опыт.

Человечество вдруг представилось Альбине-Бебе в виде мыслящей пыли, которую сила бесцельно гоняла (мела веником) по улицам, квартирам, автострадам, полям, заводам, офисам, университетам, больницам в сторону кладбища, где пыль оседала.

В то же самое время сила поощряла и всемерно поддерживала идеи (фантазии), с одной стороны, разрушающие существующие представления, с другой — ничего конкретно (революционно) не навязывающие, но исподволь размывающие границы между нормой (большинст-

вом) и отклонениями (меньшинством). Причем не по линии бессмертной души, но по линии смертного тела.

Внешне это выглядело как восстановление в правах (реституция) свободы без оскорбительных (для меньшинства) ограничений. Усыновление (удочерение) детей однополыми (по закону зарегистрированными) семьями; эвтаназия (право на смерть); клонирование; дорогостоящая (для избранных) пересадка внутренних органов; разрешение священникам-гомосексуалистам (англиканская церковь) свершать таинства крещения, исповеди, покаяния. И так далее, включая все, что только могло явиться в голову по части свободы тела.

Меньшинство, таким образом, уравнивалось с большинством.

Отклонение имело такое же право на существование, как норма.

Альбина-Беба подозревала, что в этой пропасти (сведения воедино нормы и отклонения) и суждено сгинуть человечеству, ибо изощрившееся за многовековые гонения меньшинство, добившись равноправия с нормой, не успокоится до тех пор, пока (поэтапно): не подчинит норму отклонению; не объявит норму отклонением; наконец, не уничтожит саму норму, как отклонение.

Впрочем, было нечто, что объединяло (примиряло) норму и отклонение — смерть.

Альбину-Бебу занимал вопрос: смерть — норма или отклонение? Получалось, что смерть была (неотвратимой) нормой, воспринимаемой большинством людей как отклонение, то есть одновременно была нормой и отклонением. Неужели, подумала Альбина-Беба, она и есть

абсолютная истина во всех измерениях? Основной принцип устройства той самой шифровальной машины?

Альбина-Беба подумала, что умрет, но разгадает этот принцип.

3

Альбина-Беба понимала, что познавать устройство мира все равно что познавать собственные мозг и внутренние органы, которые, в принципе, не имеет смысла познавать, пока они исправно функционируют. Познание начинается, когда что-то не так. Иногда, правда (будущему доктору Альбине-Бебе это было прекрасно известно), времени на познание отводится всего ничего. Внутренние органы трудились отменно, а потом вдруг — раз! — и отказывали (изменяли). Как многолетняя верная жена горячо любимому мужу со случайным дядей в подъезде. Как спортивная команда, которая всегда боролась до конца, но именно этот матч позорно проигрывала. Причём в ситуации, когда, казалось, сам Бог велел играть и выигрывать.

Но выходило, что не велел.

Альбина-Беба долго думала на эту тему, пока наконец не пришла к странному и какому-то даже не вполне приличному выводу, что Бог определяет судьбу людей посредством вмешательства в деятельность их внутренних органов. В определенный момент Бог как бы отключал человека от источника жизненной энергии, устраивал

в организме что-то вроде короткого замыкания, и человек отходил в мир иной, то есть, собственно, к Богу, который с интересом, но скорее без малейшего интереса, его поджидал. Вряд ли человек мог сообщить Богу что-то новое, такое, что Бог не знал или хотел узнать.

Таким образом, в вопросах жизни и смерти Бог изначально (и конечно) банковал. У него невозможно было выиграть, как у электронного крупье в казино.

Но человек давно и без малейших к тому оснований уподобил себя Ему, а потому привык думать (и действовать) как если бы сам был богом и все мог, хотя мог далеко не все, точнее ничего не мог. Особенно в таком деле, как продление (сохранение) жизни, которая сократилась с тысячи лет в библейские времена до семидесяти-восьмидесяти во времена новейшие. А что человек мог (принимал) в этом плане, то далеко не всегда шло ему на пользу. И уж совсем не шло на пользу отсутствующему, не участвующему (может быть, именно по этой причине) в земных делах Богу, который был тут человеку не помощник, как крупье не помощник зарвавшегося игроку.

Альбина-Беба вдруг поняла, что походя открывала закон, кладущий предел мнимой бесконечности и всеохватности разума. Он, разум (как космический свет), распространялся во все стороны. Но при этом, как Земля, вращался вокруг собственной оси, что сообщало его, разума, движению не зависящую от него заданность, так сказать, абсолютную (на ином, не биологическом уровне) определенность.

Человеческий разум, сам того не сознавая, был обречен ходить (если, конечно, у него имелись ноги) по замк-

нугому кругу мнимо бесконечной дорогой познания, то есть как собака бегать за своим хвостом.

Спрятанный (как топор под лавкой) внутри круга смысл заключался в том, что сначала разум что-то упорядочивал и систематизировал (возводил здание), а затем революционно (ногами, а может, хвостом?) его же и разрушал, чтобы немедленно начать возводить новое (очередное), столь же далекое от совершенства, как и прежнее.

Целью безостановочного, как ядерная реакция, процесса, таким образом, был поиск совершенства, а следствием — разрушение мира во имя этого самого совершенства. Причем не важно, свобода или, напротив, некая система ограничений принималась за таковое. Поэтому, какие бы круги ни описывал разум на кривых старческих или молодых спортивных ногах, что бы ни изобретал, как бы ни махал хвостом, ни гневил Бога научными и прочими изысканиями — события, один хрен, двигались не в им, разумом, заданном направлении. Человек, как астрономическая «черная дыра», истреблял, превращал в ничто все, к чему прикасался, включая самого себя. А караул (Бог) между тем устал исправлять бесконечные ошибки, оставил пост.

Альбина-Беба не сомневалась, что конечным результатом участвовавших в новом тысячелетии покушений на продление жизни станет ее стремительное сокращение, а может, и полное исчезновение. Во все времена тот, кто неистово искал истину, неизменно (и часто по независящим от себя причинам) оказывался во власти лжи. Кто хотел стать умнее всех — сходил с ума. Кто искал де-

нег — разорвался. А кто искал бессмертия, оперативно обнаруживал такую его разновидность, как... смерть.

Бог все чаще представлялся Альбине-Бебе в образе учительницы, проверяющей тетради, где вместо продиктованного простенького, но разумного текста обнаруживалась не просто какая-то абракадабра, но изощренная матерщина, оскорбляющие ее, учительницу, похабные намеки и отвратительные (эротические?) рисунки. И не было этим тетрадям конца и края...

Альбина-Беба не могла понять, почему человек не желал укладываться в отведенные ему сроки? Для чего тпился во что бы то ни стало их продлить?

Иной раз А-Б была склонна согласиться с давно высказываемым предположением, что человек — не земное создание. Иначе почему он был так воинственно (преступно) равнодушен и даже враждебен к собственной среде обитания? Человеку плевать было на среду обитания. Он вредил ей, как только мог. Но при этом хотел жить вечно.

Где?

Как?

Зачем?

В этом, видимо, и заключалось обоснование (объяснение) существования повелевающей миром, склонной к утрюмому юмору, силы. Она не являлась альтернативой Богу. Она одновременно являлась Богом и всем тем, что... не являлось Богом. Бог был растворен в силе, как солнечный свет в холодной воде. Он, конечно, мог совершать с водой разные эпизодические чудеса, но не мог изменить внутреннюю структуру воды. Потому что вода, собственно, и была... жизнью.

Следовательно, делала вывод Альбина-Беба, век человеческой цивилизации отмерен и исчислен. Рабочие сцены готовились опустить занавес, тогда как артистам и зрителям казалось, что самое интересное в пьесе впереди. Более того, пьеса, по их мнению, должна была длиться бесконечно, несмотря на то что они безобразнейшим образом бесчинствовали в театре — рубили топорами кресла, справляли нужду прямо на сцене, громили буфеты, рвали в клочья занавес.

Все претендующее на бесконечность, делала нехитрый вывод Альбина-Беба, в особенности стремление жить вечно на стремительно уничтожаемой Земле, не просто конечно, но стремительно конечно.

Такая просматривалась железная режиссура внутри мнимо непредсказуемого и внешне разнообразного течения событий. То есть разум вел дело к концу, не веря, что дело идет к концу, надеясь некоторым образом на чудо. Так ребенок надеется на мать, мать — на отсутствующего, не участвующего в земных делах Бога, а Бог (теоретически) — на ребенка, на безгрешную и чистую его душу. Можно сказать, человек (на микроуровне) повторял судьбу мира, а мир (на макроуровне) — судьбу человека. Видимо, в этом и заключалась главная «тайна цивилизации», та самая ось, вокруг которой все вращалось.

То, что вокруг не все ладно, похоже, понимала не одна Альбина-Беба. Но при этом многие были уверены, что уж на их-то век мира, точнее, удовольствий, достанет. А потому цеплялись за жизнь, как только могли. Трудно было винить в этом людей, потому что, в принципе, за что еще им было цепляться? Что еще (кроме тела и сознания)

было им дано? Форма без содержания (тело) цеплялась за содержание без формы (сознание) и наоборот. Мир содрогался в душной влажной тьме соединений.

Это была жизнь.

Смерть же разъединяла форму и содержание, направляла форму (тело) вниз — в землю, а содержание (сознание) — вроде бы наверх, в небо, но относительно этого стопроцентной ясности не было.

Альбину-Бебу бесконечно волновал момент разъединения сознания и тела, фантомные видения, мгновенная (бесформенная) внетелесная жизнь. Ей казалось, что именно в эти мгновения уходящий человек получает ответы на все вопросы, отгадки на все загадки. Что в момент «отрыва» он успевает прожить целую жизнь, и эта жизнь, собственно, и есть истинная, итоговая.

Мысль, что остаточная суть жизни в принципе элементарно укладывается в пробегающий перед глазами клип, уже не казалась Альбине-Бебе кощунственной. Более того, она была уверена, что и музыка обязательно звучит в этом клипе, причем не очень серьезная, не вполне трагическая, скажем так, музыка. Потому что постоянно серьезно относиться к тому, что повторяется вечно, а именно: рождению, жизни и смерти человека — невозможно. Трагедия не может быть бесконечной. Вот только охотников смеяться над смертью было не очень много. Какой-то тут нападал на людей боязливый ступор.

Между тем Альбине-Бебе казалось, что в масштабах мира тело и сознание уже давно существуют порознь, хотя знают об этом далеко не все. А кто знает, ничего не может (даже если хочет) изменить. Тело выпирало, как тесто из

тесной кастрюли, заполняло собой пространство человеческого мира, сознание же усыхало, как трава в засуху, отступало, истекая мыслями, как раненый боец кровью.

И все это под несерьезную, необязательную какую-то музыку. Альбина-Беба пришла к неожиданному выводу, что житейская музыка — одно из проявлений склонной к угрюмому юмору, управляющей миром силы. Музыка вообще существовала отдельно от некогда исполнивших ее оркестров. На FM-волнах, CD, DVD, аудио- и видеокассетах, наконец, в бодрых или печальных напевах качающих колыбели матерей, прогуливающих уроки школьников, прицеливающихся из окопов солдат, бредущих в автопилоте пьяниц и так далее. Музыка была вечной при том, что основные темы в ней (вечно же) повторялись. Но точно так же и композитор — Бог, отсутствуя, присутствовал в сочащейся отовсюду житейской музыке. Присутствовал фантомно-пародийно, как портрет президента страны на стене в кабинете берущего взятки чиновника.

Человек был лишен возможности выбирать — слушать музыку или нет. Его удел был — жить в музыке. Музыка, вероятно, смолкала в то мгновение, когда он умирал.

Должно быть, тогда наступала тишина, какая сейчас вдруг наступила на Кутузовском проспекте. Хотя на проспекте образовалась неполная, какая-то выборочная тишина. Альбина-Беба не слышала шума машин, но явно слышала угасающее сердцебиение внутри стволов задыхающихся в выхлопных газах деревьев. Не слышала гула человеческих голосов, но слышала движение луны в невидимом небе. Отчего-то ей показалось, что

луна — вместилище душ животных, а в особом почете там — волки.

Потом прямо в ее голове зазвучали нелепые стихи: «Свобода солнца, сердце в клочья. Как бьется? Грузи безголовых. О боже, Uterus наружу, Ovarium всмятку».

Бред, покачала головой, прогоняя наваждение, Альбина-Беба. Да, она готовилась к практическим занятиям по анатомии, но не до такой степени, чтобы латинские названия внутренних женских органов путались в голове с луной и солнцем.

Выходило, что жизнь сама себя режиссировала, интерпретировала, гнала вперед на манер *neverending*, но *everlasting* (бесконечного, но всегда заканчивающегося) клипа, особо не вслушиваясь в общую музыку, все сильнее и сильнее выбиваясь из ритма.

Таких клипдрайверов, подумала Альбина-Беба, в лучшем случае злобными аплодисментами сгоняют со сцены, а в худшем — забрасывают тухлыми яйцами и гнилыми помидорами. Ее давно занимал вопрос: неужели посетители приносят с собой эти самые тухлые яйца и гнилые помидоры? И где они их держат до момента, так сказать, использования? В герметичных контейнерах? Ведь так просто с тухлым яйцом или гнилым помидором в кармане не походишь. А если вдруг исполнители оказываются на высоте, посетители что, уносят тухлые яйца и гнилые помидоры домой?

По такому вот топоринному (топорному) кругу ходила история цивилизации и отдельно взятые человеческие жизни. Сознание принципиально не могло смириться с тем, что миром управляет неизвестно что, которое опре-

деляет все, в том числе его, сознания, бытие и (что было совершенно непереносимо!) небытие. Оно искало спасения в строительстве, разрушении и новом строительстве внутри убыстряющегося вселенского, так что уже трудно было уловить его смысл, клипа.

«Чудо, — вдруг услышала она сквозь собственные мысли голос, показавшийся ей знакомым. — У меня получилось! Я сделал из двух разбитых сердец одно целое! Оно... работает!»

4

Частенько Альбине-Бебе казалось, что она сама — участница неизвестно кем режиссируемого и неизвестно кому демонстрируемого клипа. Человек состоял из клипов, как рыба из чешуи. Хотя в действительности рыба состояла не только из расцветающей в брачные и сереющей в периоды невзгод чешуи, а человек, соответственно, — не только из клипов. Но без (вне) чешуи рыба существовать не могла. И человек не мог существовать без (вне) непрерывно сочиняемых — внутренних — «автоклипов». Это называлось параллельной реальностью. Многим людям нравилось там больше, нежели в реальном мире.

Иногда (и в основном) клипы легко скользили по чешуе (жизни), не причиняя никому особого вреда, но случалось — намертво прирастали к ней, то есть сами становились чешуей (жизнью).

Клипы, догадалась Альбина-Беба, являлись первичным (строительным) материалом для идей. Совершая, подобно отливаемым памятникам, переход из глины в металл, клипы из произвольной комбинации мыслей, чувств, комплексов, мечтаний и страхов превращались в идеи, иные из которых претендовали на то, чтобы править миром.

Но производным от слова «идея» было слово «идол». Язык, который, как известно, от Бога, никогда не лгал и, более того, изначально содержал в себе ответы на все вопросы. Другое дело, что мало кто обращал на это внимание. А кто, возможно, и обращал, тому эти ответы не нравились из-за своей простоты, ясности и окончательной однозначности. Бог — через язык (и вообще) — понуждал людей к простоте, но те, как мухи к говну, стремились к сложности.

Теоретически идол мог оказаться вполне безобидным, но это случалось редко. Почему-то идолы требовали — когда в прямом, когда в переносном смысле — жертв, живой крови, перенастройки мозгов. Как будущий врач Альбина-Беба доподлинно знала, что перенастройка головного мозга осуществляется посредством притока (или оттока) крови к (от) тем или иным его участкам. Видимо, примерно так же происходила и перенастройка общественного сознания.

«Великий сталинский проект был обречен, — вспоминались Альбине-Бебе слова преподавательницы философии — сухой, пергаментной, невесомой старушки с неожиданно синими (если, конечно, она не носила цветные контактные линзы) глазами, — с того самого момента,

как перестали сажать ни за что, а точнее, с того момента, как исчез в людях страх. Что такое страх? — спросила она и сама же ответила: — Основа жизнедеятельности, ключ к созиданию. Надо только вовремя вставить его... — постучала себя по седой голове, — в эту дверь».

Глядя на нее, Альбина-Беба размышляла о многообразии старости. Одних людей она разгоняла вширь, подобно удаву душила кольцами избыточной плоти. Других иссушала, как дерево на песке, резала по сухому стволу глубокими, как шрамы, морщинами. Третьих (старушку-сталинистку), как простынку или скатерть, застирывала до ветхой прозрачности, вымывала из них (жизненное) содержание, вытягивала, как пункцию, (жизненные) соки, оставляя тем не менее в относительной неприкосновенности форму. Со спины старую марксистскую философию вполне можно было принять за девушку.

Альбина-Беба, помнится, тогда подумала, что и сама сталинская идея в России нынче бесплотна и легка, как эта старушка, как угасший в толще страниц... «Капитала» клопик. Который, впрочем, (теоретически) может пробудиться, к жизни, если кто-то откроет «Капитал» на той, где он, странице, поранит (об острую страницу?) палец и капелька крови упадет точно на сухого клопика.

И вновь Альбина-Беба восхитилась всеохватным величием языка. Путь от клипа к клопу пролегал через единственную букву — «о», но мистической сутью этой буквы являлось слово «кровь»!

Клип — путь идеи к идолу, подумала Альбина-Беба. Как рыбы на нерест, как трутни за пчелиной маткой, идеи устремляются вверх, вниз, влево и вправо, во все стороны

коллективного сознательного и бессознательного, но лишь единицы из них удастаиваются чести оплодотворить матку.

Некоторое время Альбина-Беба размышляла над тем, каким, собственно, образом это происходит.

Какие-то идеи определенно оплодотворял Бог. Об этом свидетельствовало Евангелие.

Какие-то — по всей видимости, склонная к утрюмому юмору, повелевающая миром сила.

Альбине-Бебе открылось, что так называемое настоящее, «длящийся мир» — это вечный конкурс идей, далеко не лучшие из которых удастаиваются мистического оплодотворения.

В принципе конкурс сводился к предложениям по улучшению (сущности) человека. Та сущность, какая была, почему-то не устраивала тех, кто проводил конкурс. Альбина-Беба подумала, что, хотя конкурс длится уже не одно тысячелетие, в наличии, собственно, только два варианта: Бог и... все, что не Бог.

Между ними, как грязная (но местами, вопреки всему, чистая) вода между двумя берегами, колыхалось человечество с торчащей из воды головой доктора Фрейда, утверждавшего, что человек спит и видит как бы трахнуть собственную мать, Чарлза Дарвина, неведомо как установившего, что человек произошел от обезьяны, Карла Маркса, увидевшего обратную зависимость между накоплением капитала и нищетой масс, а также прочих гениев, объединивших в себе два взаимоисключающих (но так ли?) проекта.

Альбина-Беба (насколько позволял собственный опыт, а он еще как позволял!) задумалась над технологи-

ей гипотетического оплодотворения, напрямую (а как иначе?) связанной со структурой полового акта. Иногда этот самый акт происходил очень даже вдохновенно. Альбина-Беба и партнер по ходу дела улучшали и дополняли вечный сценарий, доводя его до фактического (по результату) совершенства. Более того, как будто целую жизнь проживала в эти мгновения Альбина-Беба, в которой находилось место и творчеству, и сомнению, и самоотдаче, и благодарности, и даже... любви. Иногда же акт не содержал ничего, кроме пустоты. Альбина-Беба и партнер играли уныло и отвратительно, как бездарные, забывшие свои роли, артисты. Самое удивительное, что иной раз вдохновение случалось во время близости с крайне недостойными (ни одна девушка от этого не застрахована) людьми, в то время как унылая, вялая имитация выпадала на долю людей вполне достойных, а главное (стратегически, а не тактически; вообще, а не в данный момент) — любящих ее, недостойную Альбину-Бебу.

Это обстоятельство повергало ее в уныние. Но в то же самое время оно свидетельствовало, что и с идеями, предлагаемыми человечеству, не все одномерно и предсказуемо. Если человечество (массы) можно было уподобить женщине, а того, кто давал идеи (оплодотворял массы), мужчине, то картина мира (по крайней мере, в плане идей) приобретала противоречивую завершенность.

Противоречивая завершенность (невозможность что-либо изменить), собственно, и являлась главной идеей мира. Во всяком случае, того мира, в котором выпало жить в начале третьего тысячелетия от Р.Х. Альбине-Бебе.

Она принципиально не интересовалась политикой, потому что прекрасно знала, что жизнь в современной России устроена несправедливо. Как знала и то, что политика в современной России — это не средство достижения справедливости, но средство продвижения во власть и приобретения денег. К отцу на дачу иногда приезжали известные политики. Они никогда не отказывались выпить и никогда не говорили о народе и справедливости, но только — о власти и деньгах. Чтобы получить власть, им были нужны деньги. Заполучив же власть, они обещали вернуть их с огромными, превосходящими любые нормы прибыли процентами. Они даже не возражали против (в единственном экземпляре) договора, который бы хранился у отца в сейфе до момента исполнения, после чего договор должен быть уничтожен.

«Неужели,— однажды спросила у отца Альбина-Беба,— политика — это всего лишь способ конвертировать деньги во власть с целью их преумножения?»

«За редким исключением»,— ответил отец.

«Что же это за редкое исключение?» — спросила она.

«Личный проект,— ответил отец,— такой, как у Александра Македонского, Наполеона, Гитлера или Сталина. Но на пути любого личного проекта неизменно стоят большие или малые денежные компенсации. Увы, Россия, а может, и весь остальной мир в данный момент пребывают в стадии «компенсационной» политики. Причем в России в ходу малые, скажем так, компенсации».

«Неужели,— удивилась Альбина-Беба,— нет ни одного, кто бы отказался?»

«Почему? — пожал плечами отец. — Тогда их убивают. Причем, — добавил, подумав, — частенько именно ради того, чтобы сэкономить на компенсации».

Но, с другой стороны, когда жизнь и власть были устроены в России справедливо?

На лекциях по истории философии Альбина-Беба смотрела на застиранную стиральной машиной времени до пергаментной шуршащей белизны иступленную старушку-философиню, рассказывающую про великий сталинский проект, и вспоминала цитату из однажды подслушанной ей соседом-китайцем (видимо, хотел поближе познакомиться, а может, был тайным диссидентом) книги без обложки и на плохой серой бумаге: «...власть повсюду и уйти от нее некуда. А власть эта такова, что поднимись она из последних глубин ада, она не могла бы быть ни более злобной, ни более бесстыдной».

Кажется, это было про советскую власть в двадцатые, что ли, годы, но Альбина-Беба не видела препятствий в переадресации этих слов власти нынешней. Власть в России мистическим образом была соединена с жизнью. Сильная власть означала сильную жизнь. В том смысле, что власть отнимала у людей жизнь силой. Слабая власть — слабую жизнь. В этом случае государство защищало исключительно самое себя и не препятствовало гражданам истреблять друг друга, к чему они, граждане, обнаруживали большую охоту. Отсутствие власти означало отнюдь не химически чистую свободу, но... отсутствие (осмысленной, организованной) жизни. Воровская власть — воровскую жизнь. Власть, поднявшаяся из последних глубин ада, опускала туда же — в последние глубины ада — жизнь.

Не интересовалась Альбина-Беба и современной российской литературой (хотя с одним из ее представителей была очень даже неплохо знакома), потому что прекрасно знала, что любой уважающий себя писатель должен изначально быть на стороне народа и евангельских истин. Если народ бедствовал и страдал, писатель (как бы лично ему хорошо ни жилось) не мог об этом молчать, делать вид, что ничего не происходит, рассуждать о свободе, сочинять «коммерческую» прозу. Но в России писатели не сильно отличались от политиков. Самый пропагандируемый (газетами и ТВ) писатель писал о том, как люди пожирают дерьмо, а самая известная писательница — о драматических сложностях лесбийской любви. Они считались непререкаемыми моральными авторитетами, и первый в канун Пасхи рассуждал с экрана ТВ о Воскресении Иисуса Христа, а вторая в День Конституции — о священном праве ненавидеть тех, кто ограничивает свободу других быть на них непохожими. «Я признаю Россию истинно свободной страной, — заявила писательница, — когда она изберет своим президентом не очередного стукача-чекиста, но... умирающего от СПИДа негра-гомосексуалиста!»

Не смотрела Альбина-Беба и российское ТВ. Оно становилось особенно невыносимым в дни всеобщих праздников, таких как Новый год, Рождество, Пасха, Первое мая. На всех каналах появлялась пожилая, полная (но стремящаяся казаться молодой и стройной) певица без голоса, ее муж-трансвестит с крашеными волосами, ее дочь, многочисленные мужья и друзья дочери, которые тоже считали себя певцами. Их было так много, что им не

хватало двухчасового концерта, и они разыгрывали игриво-пошлые действия по мотивам известных произведений, допустим, «Войны и мира» Толстого или «Тамерлана» Кристофера Марло. Действа начинались с утра и шли, перемежаемые рекламой, до позднего вечера.

Смотреть это было невозможно, но пожилая певица плевать хотела на телезрителей, которым не из чего было выбирать. Увидев ее однажды под Новый год поочередно на одиннадцати российских метровых и дециметровых каналах, Альбина-Беба зауважала стареющую с опухшими артритными коленками женщину. Лучшие ее дни остались в прошлом. Но она решила остановить время — отомстить ему. Достоевский определял время как отношение бытия к небытию. Останавливая на экране ТВ (а в России жизнью считается только то, что показывают, о чем говорят на ТВ) бытие, певица превращала время в величину постоянную и неизменную. Вместе с ней тупо уткнувшаяся в экраны страна откатывалась в прошлое, в золотые (не для страны, но это не имело значения) дни, когда певица несказанно разбогатела. Альбина-Беба не удивилась бы, если в промежутке между ревушим мужем и блеющим молодым другом певицы на экране появился... президент Ельцин, объявивший «дорогим россиянам» о своем возвращении в Кремль.

Дома и на даче у Альбины-Бебы имелись спутниковые тарелки, поэтому она без проблем соскальзывала с крючка российского ТВ, на который пожилая певица нанизала себя и свою семью, останавливая по ее собственному желанию «прекрасное мгновение». Но вот те, у кого не имелось волшебной тарелки (99,9% населения

Российской Федерации), были вынуждены наслаждаться чужим прекрасным мгновением. Впрочем, народ России привык жить в чужом (то власти, то так называемых олигархов) прекрасном мгновении. В России прекрасные мгновения останавливались и сменялись без его участия.

Она обожала смотреть научно-познавательные каналы «Discovery», в особенности «Animal planet». Однажды там показывали фильм о совокуплении животных под названием «Вечная весна». Альбину-Бебу несколько огорчил истекающий (как черными слезами) жидкостью из подглазных желез слон с похожим на хобот, извивающимся (опять же черным) членом, свирепо бросающийся на совершенно не разделяющую его пыла слониху, которая, как было сказано, к тому же еще не достигла брачного возраста. Слона, однако, это не очень беспокоило. Помимо черной жидкости из-под глаз, слон еще истекал мочой, которую, оказывается, не мог удерживать в брачный период. Бедная, не достигшая нужного возраста, как тревожно сообщил ведущий, слониха едва не рухнула, когда растопыривший уши слон, победно трубя, вращая членом, как сверлом, взгромоздился на нее. Альбина-Беба подумала, что «Вечная весна» получается какая-то односторонняя.

Зато ее приятно изумила высочайшая сексуальная культура... летучих мышей. Мышиный самец так нежно, профессионально, а главное, трепетно охаживал мышку, что той просто ничего не оставалось делать, как ответить ему взаимностью. У него тоже был черный, напоминающий червячка, член и точно такой же язычок, которым он вылизывал мышке... пупок и... не только. Он так быстро, как иглой, точнее сразу двумя иглами в швейной машин-

ке, орудовал членом и языком, что у Альбины-Бобы за-
рябило в глазах, особенно если учесть, что все это мышки
проделывали вниз головой, трепеща перепончатыми кры-
лышками. Где-то она читала, что все перепончатокры-
лые — исчадия ада, что их, в отличие от прочих млекопи-
тающих, создал не Бог, а сатана. Если это так,
промелькнула в голове Альбины-Бобы крамольная мыс-
лишка, то культура секса в аду выше, чем в раю. Если,
конечно, в раю допускается секс. Она была не сильно
сведуща в религии, но вспомнила, что в христианском
раю секса, как некогда в СССР, нет, а вот в мусульман-
ском для отдавших жизнь во славу Аллаха шахидов, ка-
жется, предусмотрены гурии.

Ей вдруг открылось, что ТВ (не важно, российское,
европейское или американское) в нынешнем своем ви-
де — это... контрацептив (презерватив), не пропускаю-
щий во влагалище (сознание) сперму (идею), но не пре-
пятствующий, а иногда даже усиливающий (есть такие
презервативы) получаемое удовольствие.

...Вот и сейчас, идя по осеннему Кутузовскому про-
спекту, она вновь услышала резкий хлопок, увидела
вспышку света, как если бы внутри сухого, нагретого ас-
фальтом, домами и моторами автомобилей воздуха сверк-
нула неурочная молния. Но это было невозможно. Впро-
чем, гаубичный хлопок вполне можно было объяснить
выхлопом из глушителя проезжавшей машины или запус-
ком петарды в близлежащем дворе. Молнии же реши-
тельно неоткуда было взяться среди равно рассеянного
в легкой сиреневой мгле, густеющего, как слой мандари-

нового желе над слоем, допустим, черносмородинового желе, предвечернего солнечного света. Наступающие сумерки уже облизывали ложку, чтобы счистить с города слой светящегося мандаринового желе.

Но молния определенно сверкнула, раздвинув на мгновение свет внутри света. Как если бы свет был женщиной и у него были ноги. Но тогда... увиделось что?

Альбина-Беба сама не понимала, почему ее сегодня одолевают главным образом сексуальные ассоциации? И еще не понимала, почему под ними (как ночь под уходящим закатом) скрывается необъяснимая печаль? Как если бы она уже умерла и ей (видимо, в той жизни она исповедывала буддизм) было предложено воплотиться в эту самую летучую мышку, над которой с профессиональной нежностью хлопотал, трепеща перепончатыми крылышками, искушенный в любовных делах самец?

В следующее мгновение она увидела внутри раздвинутого, как женские ноги, света двух парней, которые зачем-то бросились к машине, и спину Ильябоя, определенно (в отличие от обреченно оставшихся там парней) покидающую конус света. Самое удивительное, что не с пустыми руками ускользала из-под света, как из-под дождя или из-под душа, Ильябоя, но с цилиндрической формы свертком на руках. На самой границе растянувшейся (расстегнувшейся?) во времени и пространстве молнии Ильябоя вдруг оглянулась, встретившись взглядами с Альбиной-Бемой, и та ясно разглядела, что Ильябоя выносит из конуса, в котором обреченно остались парни, не просто цилиндрический сверток, а того самого завернутого в цветную тряпку младенца, на руках с которым побиралась бомжиха.

— Это справедливый обмен! — крикнула Ильябоя Альбине-Бебе, которая ни сном ни духом не участвовала ни в каком обмене.

Ладно, пожала плечами Альбина-Беба, глядя на сходящийся конус, застегивающуюся молнию, по крайней мере, это не имеет никакого отношения к сексу.

Почему-то ей мучительно захотелось увидеть предполагаемого И-Х, подъехавшего сюда на иностранной спортивной машине, почему-то она была уверена, что он запросто бы разрешил все ее недоумения, но тот, похоже, скрылся с места происшествия, если, конечно, это самое происшествие имело место.

Альбина-Беба, честно говоря, в этом сильно сомневалась. Наверное, это внезапный приступ мигрени, подумала она, это вполне объяснимо, когда на улице такая духота.

Но в то же самое время ей было не отделаться от ощущения, что нечистый нагретый городской воздух был всего лишь театральным занавесом, за которым скрывался слепящий пронзительный мир, где в данный момент шла иная, нежели на проспекте, пьеса.

Вот только о чем эта пьеса, времени уяснить не было.

Или это время (для Альбины-Бебы) еще не пришло.

И еще ей показалось, что роли в пьесе распределены не совсем справедливо. Альбина-Беба как будто была едина в двух лицах — играла на сцене и наблюдала за действием из зала, в то время как несчастные парни (дались ей эти незнакомые парни!) должны были навсегда остаться в пьесе. То есть они были артистами, которым возвращение в зрительный зал было заказано, так сказать, вечными артистами, которым уже не дано быть зри-

телями. Чем-то вроде гладиаторов, стало быть, являлись эти парни. Вот только непонятно было, кому (чему) они обреченно противостояли, кто (что) должен был показать обращенный к земле, как это было принято у римлян, большой палец?

А еще в момент хлопка внутри разжавшегося, как женские ножки, света Альбина-Беба успела взглянуть на свое отражение в зеркальном стекле витрины магазина «Империя тела», где продавалось нижнее женское и мужское белье.

Она много раз проходила мимо этого магазина, и каждый раз ее не то чтобы смущала, но озадачивала эта совмещенная торговля. Довольно легко можно было вообразить себе женщину, явившуюся в «Империю тела» покупать себе нижнее белье вместе с мужчиной, который платил за это самое белье, но не так просто — мужчине, выбирающего себе трусы, в то время как за соседним прилавком женщины придирчиво осматривают пояса с резинками и кружевные бюстгалтеры. Что-то тут было нарушено. А может, наоборот, магазин отважно заглядывал в будущее, осмысленно отвергая трудно формулируемые словами, а потому крайне живучие предрассудки между полами?

Не так давно Альбина-Беба приобрела здесь зеленое — под цвет глаз — белье.

Почему-то она увидела себя в нем в зеркальном стекле витрины, хотя точно помнила, что с утра на ней было другое белье. Как можно увидеть себя в зеленом белье, которого на тебе нет, и где при этом моя верхняя одежда, подумала Альбина-Беба. Похоже, зеркальное стекло

в витрине «Империи тела» как хотело, так и одевало (раздевало) смотрящих в него девушек.

И, как выяснилось, не только одевало (раздевало).

Навстречу Альбине-Бебе из (водяной?) глубины темного витринного зеркала полыхнули зеленые (русалочки?), лазерно-светящиеся из-под густых черных ресниц глаза.

Она обратила внимание на неестественную (они и так были не короткие, но не до такой степени) длину собственных ног и совершенную — сферическую без малейшего прогиба — форму груди. Еще там мелькнули упругий, как если бы сделанный из каучука, а точнее, из подскокившего вверх (если такое возможно) каучукового мяча, зад и волнующе узкая и легкая, как росчерк гусиным пером на любовном послании (какой у нее в действительности не было), талия.

На мгновение Альбина-Беба вдруг сделалась такой, какой ей хотелось когда-то быть. Когда ей было лет двенадцать, она, как и все девочки в этом возрасте, рисовала в блокнотах идеальные силуэты, сильно мечтая на самые неожиданные, хотя, впрочем, не такие уж и неожиданные, темы. Почему ей хотелось быть именно такой? Почему она до одури рисовала похожий на поднимающуюся струйку дыма силуэт, прекрасно зная, что такой — улетающей в небо со светящимися зелеными глазами, длинными ногами и узкой, как эллипс, талией — ей не быть?

Собственно, ей и сейчас нравился этот образ, но она не думала, что вот так в одночасье — без ограничения в еде и истязаний на тренажерах — с ним сольется. Наверное, подумала Альбина-Беба, любой человек мечтает быть императором в «Империи тела». И в какие-то мгно-

вения им становится. Вот только наступают эти мгновения, скажем так, неожиданно.

«К нам прилетел из дальних стран, — вспомнила Альбина-Беба стихотворение, сочиненное в ту далекую (когда им было по двенадцать лет) пору Ильябоей, — красивый взрослый марсиан...» Что делал «марсиан» дальше и зачем он прилетел к нам из дальних (видимо, марсианских) стран, Альбина-Беба не помнила. Помнила только, что оказавшийся на Земле «марсиан»... вдаль глядел, но видел ветер, который гнал его по мысли, как лист по мокрому асфальту, ненужный дереву и... Богу. Такие вот стихи сочиняла девочка со странной фамилией Ильябоя. Наверное, они тогда изучали по литературе «лишних людей», а разве можно вообразить себе более «лишнего» человека, нежели прилетевший на Землю «марсиан»?

Ильябоя, помнится, даже изобразила его в своей тетради.

Рисунок вдруг встал у Альбины-Бебы перед глазами, как будто они по-прежнему сидели в классе за одним столом, Ильябоя только что его нарисовала и показала ей. «Марсиан» (каким он сейчас вспомнился Альбине-Бебе) был удивительно похож на мнимого И-Х, только что укатившего по Кутузовскому проспекту на дорогой спортивной машине.

А еще Альбина-Беба вспомнила, что однажды у них был урок, на котором они пытались объяснить смысл и происхождение собственных фамилий. Меньше всего возникло трудностей у мальчика по фамилии Баранов. Чуть больше — у другого мальчика по фамилии Гольденвейзер. Коллективными усилиями пришли к выводу, что

это еврейская, но, может, и немецкая фамилия, которую можно перевести на русский как Золотоводский, Золотоводов или Златоводов, Златоводский. Фамилию Айрапетов классифицировали как армянскую Айрапетян, но в девятнадцатом веке русифицированную. Про фамилию Каримов особенно думать было нечего. Она досталась Аслану (Льву) Каримовичу Каримову от отца, которого в свою очередь звали Каримом Аслановичем Аслановым. В фамилии Альбины-Бебы обнаружили украинско-белорусский, одним словом, восточнославянский корень. А вот на Ильябое, помнится, заклонило. Кто-то высказал соображение, что это языческая, былинная фамилия. Кто-то — что у нее хазарское происхождение, дескать, таково было прозвище хазарина, одолевшего самого Илью Муромца. А мальчик с простой русской фамилией Баранов, обнаружив недюжинное знание истории, предположил, что предок Ильябои участвовал в знаменитых древнеславянских «именных» ристалищах, когда на полянах сходились в кулачном бое окрестные Ярославы против Мстиславов или Добрыни против Андреев. Баранов сказал, что, должно быть, предок Ильябои укладывал бойцов по имени Илья штабелями, раз его удостоили такой фамилии.

«Я всегда знала, что мой предок был сильнее Ильи Муромца», — скромно потупилась Ильябоя.

«Но нэ силнээ маего прэдка Аслана!» — грозно заметил переселившийся недавно из Аджарии мальчик по фамилии Каримов.

«Тогда бы у нее была фамилия Асланбоя, — внимательно посмотрел на Каримова Баранов. — Мне нравится

эта фамилия. Пожалуй, я бы поменял на нее свою. Или пусть будет двойная: Баранов-Асланбой... Или Осланбой?»

Каримов, однако, сделал вид, что не понял о чем речь. Это потом в их школе появился целый «аджарский класс», и Баранова с тремя ножевыми ранениями в грудь увезли в больницу. После чего сгорели три иномарки, на которых приезжали в школу ученики-аджарцы, а одному из них проломили на выходе из школы голову.

Родители, помнится, почти было определили Альбину-Бебу учиться в Англию, но тут, к счастью, при Институте международных отношений открылся «аджарский лицей», и «аджарский класс» в полном составе переместился туда. Юные аджарцы почему-то все как один хотели стать дипломатами, представлять великую Россию (или Грузию?) на международной арене.

Что-то еще было связано с Ильябоей и белым бантом. Что-то с ней такое случилось... Вот только, что именно и причем здесь бант, Альбина-Беба не могла вспомнить. Ильябоя вскоре после «аджарской войны» переехала в другой район, перешла в другую школу. Альбина-Беба больше ее не видела.

До сегодняшнего дня.

Она, впрочем, так и не была уверена, признала ли ее Ильябоя? И куда она побежала с ребенком на руках? Неужели, подумала А-Б, Ильябоя стала бригадиром нищих, воровкой на милосердии?

Что-то определенно случилось с ее памятью. Альбина-Беба не могла доподлинно вспомнить, откуда взялось у нее второе имя — Беба. Это трудно было расценить

иначе, нежели приступ девичьего, если таковой бывает, маразма. Надо же, изумилась она, как устанавливали исторические корни фамилий в пятом классе, помню, а откуда у меня второе имя... забыла. То ли это было первое слово, которое она произнесла, и ее так звали во младенчестве? То ли она сама придумала себе второе имя? То ли оно (как Афродита) родилось в пене только что прозвучавшего хлопка, вспыхнувшего света, прилепилось к основному — Альбина, — как ладонь к ладони в момент аплодисментов? А может, промелькнула в ее голове совсем странная (в смысле сторонняя, то есть взявшая резко в сторону от основного размышления) мысль, это Господь Бог удостоил... ее, Альбину-Бебу, аплодисментами? Но за что? Что она такого сделала? Чем отличилась? Кроме того, что в очередной раз признала самодостаточное величие языка, на котором разговаривает с мыслящим человеком Бог. Признала, что язык и есть Бог, точнее, некая его автономная ипостась, как если Бог был великим океаном, омывающим материки, а язык журчащим вблизи каждого человеческого жилья ручьем. Но у океана и у ручья была единая суть — вода. А интересно, бывает, — мысль Альбины-Бебы бежала дальше, — сухая вода? Бывает, решила она, но... там, где человек уже не нуждается в простой воде. Если вода — это жизнь, подумала она, то сухая вода — это... (ей не хотелось даже мысленно произносить слово «смерть») то, что после жизни? Господи, с печальной гордостью потупила взгляд Альбина-Беба, ну почему Ты сделал меня такой умной?

Альбина-Беба была вынуждена признать, что человек изначально (с младенческого возраста, но, может,

уже и в материнской утробе) жаждет аплодисментов и преклонения, признания своих заслуг и достоинств. Жаждет, как в случае великих свершений, так ничего выдающегося и не совершив, ничем не порадовав (хорошо, если не огорчив) ни Господа Бога, ни окружающих людей. Видимо, в столь несовершенной форме преломилась в мире Божественная идея вечной любви. Человек никому не делал ничего хорошего, хорошо, если не делал плохого, но при этом хотел, чтобы им восхищались. Никого не любил, хорошо, если не ненавидел, но хотел, чтобы его любили и уважали.

«Мы все глядим в Наполеоны, — вспомнился великий Пушкин, — двуногих тварей миллионы». И я, увы, не исключение, с грустью подумала Альбина-Беба.

Она прогнала эти мысли, потому что разум тут был изначально бессилен, в смысле несостоятелен. Человек мог быть сколько угодно умным, ироничным, знающим всему на свете цену, а вот, поди ж ты, вождедел признания и славы.

Альбина-Беба подумала, что человек столь укоренен в тщеславии, потому... что Бог отказался быть ему судьей. Судейство отошло к самому человеку. Но люди жили стадами, именуемыми: семья, коллектив, общество, государство и так далее. Законы же стада были таковы, что в качестве общепринятого идеала неизменно принималось нечто усредненно-посредственное, предельно адаптированное, а главное, понятное всем без исключения членам стада, включая наиболее тупых и неразвитых. Внутри больших (физических) чисел стада неизменно торжествовали (если, конечно, это можно считать торжеством) ма-

лые числа духа. Чтобы понять, что такое масса, следовало определить внутри нее самого скверного человека и умножить его психофизическую сущность на число людей, составляющее массу, предварительно исключив из этого числа психофизическую сущность самого лучшего человека.

К примеру, массы отлично и четко понимали страх, но крайне плохо и нечетко — добродетель. Поэтому оптимальной (Альбина-Беба сама не знала, почему ей в голову лезут политические мысли?) формой управления обществом было принуждение его (через страх) к добродетели. Альбина-Беба вдруг подумала, что эти мысли сродни... сухой воде, в том смысле, что ими невозможно утолить живую жажду людей по золотому веку, но — лишь умственную, причем не всех, а произвольных одиночек, которым эти мысли зачем-то приходят в голову. Неужели окружающий нас мир — это единство и борьба не противоположностей (вспомнила она застиранную временем до состояния воздуха старушку-философиню), но... воды и сухой воды?

Выходило, что так.

И это было по-своему справедливо и демократично. Все решало коллективное сознательное и бессознательное человеческой биомассы, генерирующей несовершенные, или, попросту говоря, убудочные критерии признания и популярности. Большое число стада, умножаясь на малое число духа, само становилось малым, ослабевало, теряло первичную энергию массы. Или наоборот (в случае умножения на злую волю вождя), становилось бесконечно большим, обретало колоссальный разрушительный потенциал.

Как правило, кумирами толпы становились морально-нравственные, а зачастую и физические, уроды, которых при иных обстоятельствах не пустили бы в приличный дом. Неразменная суть так называемой популярности заключалась в том, что люди (массы) восхищались не талантами и добродетелью, а тому, как сумел очевидный негодяй и урод переплавить свои пороки и позорные комплексы в славу и деньги. Люди неосознанно искали в массовой культуре подтверждения собственного несовершенства и с гарантией его находили.

Но ведь, вздохнула Альбина-Беба, увидев знакомое, отмеченное всеми мыслимыми и немыслимыми пороками лицо популярного певца на афише, ведь есть что-то искренне-надрывное в песнях отвязного подонка-наркомана, с трудом стоящего на сцене. Какая-то оскорбительная болезненная правда бьется в сочинения свихнувшегося на теме мужественности и милитаризма гомосексуалиста. Необъяснимое отчаянное (в своей приверженности к пороку) величие проступает, как алмаз сквозь черную копоть, в фильмах подозреваемого в убийстве жены режиссера-извращенца.

Таким образом, констатировала Альбина-Беба, во всем, что касается известности и славы, поклонения толпы царит смешение стилей, суэта сует, пир во время чумы, или чума во время пира. Это делало неизбежным появление «программистов», способных делать с нестабильной по отношению к добродетели, но однозначно стабильной по отношению к греху биомассой что угодно. Люди целовали руки Робеспьеру, который отправлял их тысячами на гильотины, зачитывались писателями, кото-

рые всей силой своего сатанинского таланта доказывали им, что они, люди — ничто, точнее, дерьмо.

Сбросивший же судебную мантию Господь почти никогда не наказывал за зло и не поощрял за добро, позволяя всему течь своим чередом, то есть доходить до некоего абсолюта, оборачивающегося стопроцентным безумием. Напротив, если верить житиям святых, Господь заставлял за добро страдать, зло же превращал опять-таки в страдание для других, попадавших под руку. У зла было много рук, как если бы зло было ветряком или мельницей. Однако (грамматически) у него не было множественного числа, поскольку (снова язык!) зло было единым, точнее обладало единой и неделимой сущностью. Путь к безумию был стопроцентно логичен. Ни один сделанный шаг не вызывал ни у кого ни малейших сомнений. Вот только конечный результат каждый раз изумлял.

Таким образом, чем-то вроде алхимика выступал в этом вопросе Господь, а может, ветра, гнавшего по мокрому асфальту не загадочного «марсиана» из стихотворения Ильябон, но всех людей разом. Алхимик стремился превратить два компонента — свинец и ртуть — в золото. Господь — добро и зло — в страдание. Оттого-то, зная, вектор (а может, гипотенуза, хорда или биссектриса) человеческого тщеславия сместился на территорию определяющего сознание, управляемого инстинктами бытия. И явно не собирался с нее уходить. А в бытии (в инстинктах), как известно, все люди равны. Бытие было организовано таким образом, что наряду со страданием, присутствовавшим в нем, так сказать, изначально, по определению, там же простирались обширные

пространства (strawberry fields — клубничные поля, — как пели некогда Beatles) наслаждения, радостей, пусть даже сомнительных.

Музыка грязи пронизывала бытие и сознание на материи нервных волокон.

Вот как это можно было назвать.

Прочно «заякорившись» на трех библейских «китах»: тщеславии, стяжательстве и похоти, в остальном жизнь позволяла себе любые варианты, выходила за все допустимые и недопустимые рамки, дробилась на клипы.

Каждый клип был столь же неисчерпаем внутри себя, как атом или электрон, о чем в свое время поведал человечеству проницательный Владимир Ильич Ленин. Его уже не изучали в школе, но он еще фантомно присутствовал в жизни: на орденах и знаменах, в старых книгах, кое-где еще достаивали неухоженные, поросшие мхом и лишайником памятники ему, некоторые улицы и учреждения носили его имя. Впрочем, «международный террорист Вл. Ульянов-Ленин», как сейчас величают его в учебниках истории, и все, с ним связанное, скорее не интересовало, чем интересовало Альбину-Бебу. Ленин краешком вошел в ее жизнь, влетел, как оса в форточку, да тут же и вылетел, не успев ужалить. Во втором классе одну четверть она, помнится, была командиром октябрятской звездочки. А потом эти самые звездочки незаметно погасли, как огоньки сигарет в вечерней тьме.

...В следующее мгновение видение — хлопок, раздвинувшиеся ноги света, лазерно-зеленое отражение Альбины-Бебы в темной зеркальной витрине «Империи

тела», произвольно выхваченные из бытия незнакомые парни, бомжиха, Ильябоя с ребенком в цветной тряпке на руках, И-Х со своей спортивной машиной и прочее — растворилось в душном сумеречном городском воздухе, подобно яркому кристаллу в стакане с несвежей водой. Все встало на свои места, вернулось на круги своя, а может, вошло в колею или (вместилось?) в берега, которые, однако, успели за это время стать совершенно другими.

5

В сущности, мои представления о мире, моя, так сказать, духовно-нравственная суть — это система взаимодействующих между собой, а иногда с чем-то иным, точнее, с управляющей миром силой, клипов, подумала Альбина-Беба. Мир — гигантский «клип в себе». Люди — расходный, но вечный, в смысле, долгоиграющий и самовосстанавливающийся материал для производства клипов.

То был универсальный принцип организации жизни, распространяющийся на все сферы, секторы, сегменты, уровни и подуровни любых разновидностей бытия, тот самый рычаг, с помощью которого Архимед собирался перевернуть мир. Хотя, если вдуматься, рычагов для переворачивания мира было много и валялись они, можно сказать, на каждом шагу. Но мир по-прежнему неподъемно (свинцово) парил над головами тех, кто собирался его перевернуть.

А, собственно, зачем переворачивать мир? — подумала Альбина-Беба. И чем перевернутый мир будет отличаться от неперевернутого? Она подозревала, что ничем. А еще подозревала, что большинство так называемых переворачиваний мира — мнимые. Перевернуть мир было все равно что перевернуть воду. Структура воды от этого не менялась. Зато со дна поднималась осевшая муть, и на какое-то время новая (перевернутая) вода определенно оказывалась хуже старой (неперевернутой). Но как же тогда быть со священным огнем социального протестного действия, подумала А-Б, с пеплом попанной справедливости, стучащим в сердца молодых людей, не желающих мириться с «царяющим», как писали революционные демократы-добролюбовцы, злом? Перевернутая (равно как и неперевернутая) вода душила горло огня тяжелыми мокрыми руками, падала на него, как тяжелая грязная половая тряпка на светлячка в ночной траве.

Реальность защищает себя, подумала Альбина-Беба, претендует на вечность. Поэтому протест внутри контролируемого властью пространства реальности неуместен. Впрочем, шансы у реальности на вечность были ничуть не больше, чем у человека на бессмертие. Но отступать ни он (человек), ни она (реальность), естественно, не желали.

Недавно она сдавала зачет по новейшей, неожиданно возникшей в сетке занятий дисциплине под названием «Основы государственного устройства в Российской Федерации». Ей выпал вопрос про Конституцию. Альбина-Беба, естественно, ее не читала, поэтому принимавший зачет преподаватель, строго вздохнув, вручил ей красную книжицу. Почему-то Конституция (она же Основной за-

кон) продолжала рядиться в твердые красные обложки, хотя, если верить тому, что в ней было написано, Россия давно стала демократической страной, отказалась от построения социализма, решительно послала на х.. пролетарский интернационализм и, следовательно, красные (коммунистические) цвета государственных символов.

Преподаватель, похоже, принимал зачеты сразу в двух аудиториях, а потому часто отлучался.

Альбине-Бебе представилась практически нереальная в реальной жизни возможность ознакомиться с Конституцией.

Ее озадачил гневный запрет на «насильственные действия, направленные на свержение существующего строя». Получалось, что существующий строй, невзирая на все свои многочисленные пороки, претендовал на вечность. Альбине-Бебе это показалось странным, поскольку (во всяком случае, об этом свидетельствовала история человечества) развитие цивилизации (от первобытно-общинного строя до капиталистического способа производства, то есть до утверждения свободы и демократии) осуществлялось именно посредством насильственных действий, исключительно и единственно через свержение существующего строя. Но Конституция как бы говорила: ша, ребята, побаловались — и будет! Отныне — никаких насильственных действий, никаких покушений на существующий строй. Стало быть, свобода и демократия безальтернативны, рассудила Альбина-Беба, развитие цивилизации остановлено, дальше не будет... ничего? Мнимый Основной закон налагал запрет на движущую силу истории, на Истинный Основной закон. Альбина-

Беба подумала, что здесь, собственно, собака и зарыта. А еще подумала, что любая власть костями ляжет, чтобы никто не вздумал выкопать из земли эту самую... вечно живую?.. собаку. Мнимый Основной закон, как комар, сидел на щеке у Истинного Основного закона и важно при этом провозглашал, что ему вечно — пить кровь, а Истинному Основному закону — вечно это терпеть.

Альбина-Беба, давясь, расхохоталась в лежащий перед ней белый лист. Сидевшие в аудитории студенты смотрели на нее с удивлением. Наверное, они подумали, что под твердой красной обложкой скрывается какое-то веселое чтиво, может быть, даже сборник неприличных анекдотов.

Перед глазами Альбины-Бебы прошли, сменяя друг друга, лица людей, управляющих в данный момент Россией. Неужели, подумала она, они искренне верят в то, что им удастся избежать неизбежных насильственных действий, отсидеться за стеной разработанной ими (точнее, по их заказу) технологии замещения в массовом сознании реалий повседневной жизни чередой программируемых клипов? А-Б не сомневалась, что эти ее в высшей степени несвоевременные мысли сильно понравились бы застиранной временем до (умственных?) дыр старушке-философине, которой по какой-то причине (понятно по какой) не доверили учить студентов медицинского института столь важной дисциплине, как «Основы государственного устройства Российской Федерации».

Альбина-Беба с блеском сдала зачет, но с той поры частенько задумывалась над тем, возможно ли в масштабах всего человечества или отдельно взятой страны, к примеру, России, «отменить» действие Основного закона

Истории? Возможно ли осуществлять изменение «существующего строя» не посредством насилия с неперменным наказанием наиболее рьяных представителей существующего строя, а с помощью все более и более совершенствующихся технологий управления сознанием? Возможно ли, напряженно размышляла Альбина-Беба, имплантировать в массовое сознание клип (систему клипов), заменяющий (успокаивающий) внутри него стремление к естественному и закономерному насилию в отношении существующего, доводящего людей до отчаянья, строя?

Она днем и ночью думала над этим, пока наконец не пришла к парадоксальному выводу, что речь, в сущности, идет о покушении на систему Божественного управления миром, сутью которого являлось... непрерывное (в режиме non-stop) чередование клипов. Да, именно клип являлся для сознания той самой стволовой, формирующей реальность, клеткой, которая, в принципе, могла делать с сознанием (в сознании) все, что угодно. С ее помощью можно было, как с помощью вытяжки из абортированного плода, вдохнуть на время ложную жизнь в безнадежно изношенный, отчаявшийся разум. Управляющие сознанием клипы были масштабные, как горы (Библия), и ничтожные, как бормотание умалишенного (песенки на МузТВ). Переплетаясь, они вытягивали сознание в цепочку, чем-то напоминающую цепочку ДНК.

Священный ужас открывшейся Альбине-Бебе истины заключался в том, что сознание в неизмеримо большей степени, нежели тело (и значительно раньше по времени) существовало по законам клонирования. В сущности, оно (клонирование) и лежало в основе Божественной систе-

мы управления миром. Человек только-только подступил к клонированию тела, в то время как его сознание само являлось продуктом бесконечного клонирования.

Альбина-Беба вдруг ни к селу ни к городу (точнее и к селу и к городу) вспомнила, как была много лет назад с матерью в летнем (они отдыхали на юге) цирке-шапито. Рядом оказалась совсем маленькая девочка, которая капризничала и без конца повторяла, что надо из цирка уходить, потому что она боится... клонов. Альбина-Беба была постарше, но поняла, что речь идет о клоунах (слова «клон» она, естественно, не знала), вид у которых действительно был какой-то зверский. Потом она, естественно, забыла про этот несущественный эпизод своей жизни, но вдруг вспомнила его сейчас и в очередной раз призналась себе, что воистину язык — творение Бога, в том смысле, что в нем заключена мысль Божия, которая как хочет, так и летит сквозь время и пространство. Когда Альбина-Беба сидела в цирке-шапито, она понятия не имела, что такое клоны. Но ведь, подумала она, и неграмотные девочки из Португалии, которым, кажется, в 1913 году явилась Богородица, были несведущи в проблемах войн, СПИДа и ядерного оружия.

Новая, пришедшая на смену революционным действиям масс, технология управления обществом копировала три основных принципа клипа.

Сначала что-то возникало из небытия, случайной мысли, неясного чувства, как из принесенного ветром семечка. Некий волнующий образ заполнял пустоту сознания, прорастал в нем, как дерево, усложняясь и возносясь по ходу дела, как Вавилонская башня. Затем дерево не-

умолимо засыхало, башня революционно разрушалась, и Божественный (какой же еще?) ветер гнал сознание, как мертвый лист по мокрому асфальту, ненужный дереву и Богу. А потом на развалинах старого зарождалось что-то новое. Взаимодействие клипов, таким образом, возвращало сознанию иллюзию активного существования. Оно (вот в чем заключалась тайна!) являлось всего лишь машиной, оперирующей клипами, которые загружал... кто?

Альбина-Беба подумала, что в принципе Господу нечего предложить человеку, кроме бесконечных вариаций одного-единственного циклического клипа: рождение (возникновение из ничего) — жизнь (бытие) — смерть (исчезновение).

Новая же технология всего лишь убыстрила этот темп, изъяла из бытия имевшие место в прошлые времена паузы, когда человек оставался наедине с самим собой и (теоретически) мог о чем-то задуматься.

Непредсказуемость же и тайну жизни сообщали время (иногда предопределенные процессы происходили мгновенно, иногда тянулись десятилетиями) и разнонаправленность человеческих страстей, на манер кружев окутывающие простые и жестокие конструкции, главную из которых, как подозревала Альбина-Беба, гениально прозрела Ильябоя. Кто-то строил, а кто-то (одновременно) разрушал. В жизнь, таким образом, был изначально инсталлирован элемент хаоса (ветер), не позволяющий людям быть счастливыми, гнавший их как лист по мокрому асфальту, ненужный дереву и Богу. Или — позволяющий, но лишь на весьма непродолжительное время.

Неизбежная зависимость от другого человека делала конструкцию счастья нереальной, как пейзаж компьютерной игры. Это было все равно что надеяться, что уж этот-то артист наверняка сыграет блистательно, а он... вообще не являлся на спектакль, потому что... не знал, что ему надо туда являться, и вообще любил ходить на футбол, а не в театр.

Все это, включая счастье гонимого по мокрому асфальту листа, ненужного дереву и Богу — горькое счастье одиночества, — как раз и использовалось в новой, замесившей насильственное свержение зла, технологии, которую придумали хитрые люди, ходящие возле власти. Любая власть всегда делала запрос на вечность, и эти люди, в отличие от Ходжи Насреддина, полагавшего, что кто-то обязательно помрет — он сам, шах или ишак, предлагали варианты *nevernding* (длящейся) власти посредством конструирования и размещения в массовом сознании (сознании масс) клиповых инсталляций. Альбина-Беба подумала, что человека, в сущности, губит его собственное сознание, точнее, стремление к совершенству. Если люди — одновременно стадо и пастухи, то генетический код цивилизации — создание универсальной системы управления стадом, то есть создание новой касты — универсальных пастухов. Они, эти пастухи, до поры обслуживали власть, но рано или поздно должны были сами сделаться властью. И тогда главная движущая сила человеческой цивилизации могла принципиально измениться. На место насилия заступала технология управления стадом, которая, собственно, и являлась, как внезапно открылось Альбине-Бебе, высшей и последней стадией насилия.

Она снова вспомнила застиранную преподавательницу-философиню и загрустила. Кажется, про «высшую и последнюю стадию» (Альбина-Беба, правда, не помнила, чего именно) писал Ленин. А бабуля его с удовольствием цитировала. Неужели, изумилась Альбина-Беба, я повторю ее путь? Почему мне лезут в голову какие-то глупые мысли? Наверное, успокоила себя, от одиночества.

Серьезные, а главное, с идеями, люди всегда одиноки и неприкаянны в этой жизни, подумала Альбина-Беба. Но лишь в представлении других, не столь серьезных людей. Некое противоречие заключалось в том, что, с одной стороны, человек был (во всех смыслах) самодостаточен, с другой же — позорно (порочно) зависим от окружающего мира, насмерть (точное слово!) пришит к нему, как пуговица, которую сама же смерть и отрывает. Чем совершеннее был человек, тем меньше хотелось ему зависеть от мира. Но на каждого находился крючок с наживкой, ибо природа людей была едина, точнее, непринципиально вариативна.

Человек (умом) стремился к одиночеству, но (сознанием) не мог быть один, потому что сознание капиллярной системой было связано с миром и само являлось частью мира, а следовательно, и смерти.

6

Альбина-Беба наблюдала это на примере своего отца. Раньше отец был врачом-кардиологом. Сейчас — бизнесменом. Альбине-Бебе иногда казалось, что Боже-

ственный ветер не гонит отца, как осенний лист по мокрому асфальту; а проволакивает как медицинский зонд... под этим самым асфальтом.

Альбина-Беба любила отца, но не знала, как ему об этом сказать. Она понимала его не столько умом, сколько чувствами. То есть, находясь рядом с ним, чувствовала (по крайней мере, ей так казалось) то же самое, что и он. Это были очень сильные и очень безысходные чувства. Главное, без малейшего света в конце. А если и с выходом на некие обобщения, то на какие-то очень мрачные. Вот почему Альбине-Бебе пришел в голову образ медицинского зонда. Принимая какие-то решения, отец (умом) был над жизнью и одновременно (сознанием) внутри — под ее кожей. Потому что имел дело с деньгами. А деньги всегда опирались на самое худшее, что было в людях. Но если они правили миром, то получалось, что мир управлялся по законам... даже не зла, а... дна? Альбина-Беба ощущала разреженный (режущий) воздух, которым дышит отец, и по ней (когда она была рядом с ним) проезжал асфальтовый каток тщеты. И ей (когда она была рядом с ним) являлись в голову мысли о летящих в голову пулях, об огненном букете, который может внезапно расцвести прямо под ногами или внутри машины, когда они туда садут.

Альбина-Беба думала, что это происходит потому, что их — ее и отца — сознания в принципе схожи, скроены по единому лекалу. Жизненный опыт у них, конечно, разный, но лекала сознаний реагировали на некие побудительные (мыслительные) импульсы адекватно, как приборы, работающие в одной и той же частоте. Впрочем,

Альбина-Беба была уверена, что отец понятия не имеет о том, что она иногда чувствует то же самое, что и он.

Одиночество отца (как открылось Альбине-Бебе) не знало границ, то есть фактически было безграничным.

Абсолют одиночества, говорил отец, всегда там, где человек что-то делает впервые, что никто до него не делал. Или делал. Но если во втором случае он имеет возможность опереться на овеществленный (в словах, книгах, пособиях, руководствах и так далее) опыт предшественников, то в первом ему не на кого опереться, кроме как на себя и... Бога. Помнится, Альбина-Беба подумала тогда, что если это так, то нет в мире более одинокого человека, нежели совершающего первый в жизни половой акт. Однако при этом человек как-то совершенно не думает о Боге...

После привлечения Бога в качестве свидетеля защиты отец обычно наливал себе в толстый стакан виски. Видимо, он не был до конца уверен в том, что говорил, а алкоголь, как известно, это ветер, разгоняющий сомнения.

Абсолют одиночества, таким образом, можно было уподобить одиночеству Бога в дни творения. И, возможно, во все остальные дни. Но почему-то Альбине-Бебе казалось, что меньше всего на свете Богу хотелось управлять повседневными делами людей, выступать свидетелем защиты в их сомнительных делах.

Бог, полагала она, если Он создал людей по своему образу и подобию, намеревался быть для них некими рамками, возможно (на доступном их пониманию уровне), примером для подражания. Но уровень свободы в сознании людей странным образом (как сообщающиеся сосуды) взаимодействовал с уровнем зла в мире. Свободный

человек прежде всего освобождал себя от Бога и всего с Ним связанного и, как следствие, оказывался во власти зла, которое двигалось со свободой параллельными курсами, постепенно сближаясь, а на некоторых участках так и вовсе сливаясь с ней в единую линию. Это наводило на мысль о некоей изначальной ошибке, заложенной в систему мироздания.

А может, не было никакой ошибки. А было многоуровневое и повсеместное испытание, которое следовало преодолевать любовью, как некогда (на кресте) сам Бог преодолел его несовершенство людей. Но люди в подавляющем большинстве не выдерживали теста на любовь.

Отец хотел быть хорошим кардиологом, но явственно ощущал предельную (в смысле отпущенных возможностей) тщету своего намерения: многие кардиологи в профессиональном плане были лучше, талантливее, смелее его. А он, как подавляющее большинство мужчин, стремился первенствовать. Глядя на отца, Альбина-Беба, думала, что иногда, когда боги хотят погубить человека, они не обязательно лишают его разума. Они исполняют его желания.

Отец не пожелал смириться с крахом советской медицинской системы, отказался тянуть беззарплатную лямку в районной клинике, как добрый чеховский доктор. Он восстал на развалинах советской медицины. Одной лишь силою своей гордыни, своей неизвестно откуда взявшейся энергией создал и утвердил внутри развалин новую — сверкающую, как хромированный скальпель, — реальность.

В медицинском (на развалинах) бизнесе отец делал то, что не мог делать никто другой. В нем открылся та-

лант, аккумулировавший встающую над развалинами пылевым облаком энергию, преображающий ее в новые, управляющие людьми идеи. Точнее, долгоиграющие страсти. Идея без денег, считал отец, это порыв. Идея с деньгами — долгоиграющая страсть. Вот только подходило ли к отцовскому таланту определение, что всякий талант от Бога?

Альбина-Беба чувствовала, что отец мучается (иначе, как она чувствовала?) и страдает оттого, что не вполне понимает природу своего внезапного дара. Почему ему с легкостью удается то, что не удастся другим?

Но (за вычетом неизбежных и временами, как полагала А-Б, сладких, страданий) новое, поначалу облагороженное политической рыночной романтикой (отца выдвигали в депутаты и показывали по телевизору) дело захватило все его существо (то есть тело вместе с душой). Альбина-Беба это чувствовала. Как чувствовала и то, что пути назад отцу нет. Путь же вперед (она тоже это чувствовала) был гибелен. Сейчас отца не показывали по телевизору. А если и показывали, то только за большие деньги. Днем отец сидел в офисе, а вечером — домой или на дачу — к нему наведывались плотные люди в золоте и преимущественно в черной одежде. Эти люди, как и священники, почему-то уважали черный цвет.

У гибельности, как и у всего в мире, было два измерения — для бедных и богатых. Для бедных — тотальное невезение во всем, в особенности в денежных вопросах. Для богатых — невероятное, затмевающее (как ослепительный свет темноту мира) везение в этих самых вопросах.

Отец не устал повторять, узнавая об очередной организационно-финансовой победе: «Это не просто предел мечтаний. Это за пределом мечтаний».

Вокруг отца как будто простиралось (магнитное?) поле везения. Оно было настолько сильным, что легко преодолеvalo (вбирало в свои границы) чужие нейтральные и даже ущербные (в смысле финансового везения) поля. Все хотели иметь дело с отцом, охотно предоставляли кредиты, с готовностью вкладывались в предлагаемые им проекты.

Однажды Альбина-Беба застала отца за просмотром видеозаписи. Два человека (один со шрамом на щеке, другой с травмированной ногой) шли по их дачной дорожке к джипу.

«Риск очевиден, — произнес тот, который был со шрамом, — гарантий ноль. Я бы все-таки оформил, как положено, все залого».

«Согласен, — ответил хромой, — только времени нет. Надо пользоваться, пока степень его везения превосходит степень нашего риска».

«А как долго она будет превосходить? Вдруг как раз на наших деньгах — облом?» — возразил первый.

«Отрежем башку, закатаем в бетон, сожжем живьем в нашем крематории, — пожал плечами хромой. — Он знает. Раз не боится, значит, уверен».

«Уверенность — категория, не имеющая финансового наполнения», — мрачно возразил scarface.

«Но тогда каким образом наши сто превратятся через шесть месяцев и двадцать дней в двести пятьдесят?» — усмехнулся хромой.

«Не знаю,— честно ответил scarface,— и это меня тревожит».

«Положимся на волю Божью,— хромой спиной вперед, как кузнечик, загрузился на заднее сиденье джипа, втянул в салон прямую, как палка, негнущуюся ногу.— Если Бог сделал так, что все, к чему прикасается этот парень, превращается в золото, почему мы не должны подставлять под его руки свою железную утварь?» — трубно (когда слышимость ухудшалась, цифровая запись проваливалась на низкие частоты) прозвучал из салона его голос.

«А его голову под нашу железную пулю?» — рассмеялся scarface.

«Не сейчас,— низкочастотно и замедленно (так, наверное, разговаривал с представителями избранного народа скрывающийся то в пылающих кустах, то в темном облаке грозный ветхозаветный Бог) закрыл тему хромой.— Сейчас пуля отскочит от его головы. Иногда золото сильнее железа. Надо ловить момент. Потом все равно железо одолеет. У золота шансов нет».

Как-то Альбина-Беба поинтересовалась у отца, что он, собственно, понимает под пределом мечтаний?

«Предел мечтаний,— ответил отец,— означает Божье соизволение. Оно же попущение исполнению человеческих желаний. А в сущности, отсроченное наказание, тем более жуткое и масштабное, чем сильнее было попущение. Примеров — тьма,— продолжил отец.— Да, хотя Господь наш Иисус Христос».

«А что же тогда за пределом мечтаний?» — спросила Альбина-Беба.

«Я думаю, там истина, — ответил отец. — Только это не та истина, которую хочется узнать. Я думаю, что за пределом мечтаний — смерть, точнее, одно из ее измерений. Оно, — продолжил отец, — это измерение, как универсальное вещество, из которого создан мир, способно принимать любую форму. Оно не просто взаимодействует с сознанием, но дарует ему исполнение желаний, выводит за тот самый предел мечтаний, где сознанию открывается истина. Но это, — вздохнул, — закрытая таблица».

«Ты имеешь в виду... агонию?» — Летом Альбина-Беба проходила практику в травматологическом отделении и видела, как бьется и мечется сознание в угасающем, уходящем в небытие искаленном теле. Так, наверное, бьется, бросается на железные прутья клетки птица во время пожара, совпавшего с землетрясением, наводнением и извержением вулкана.

«Это ты видишь агонию, — возразил отец, — а что видит, точнее, где и в каком мире находится тот человек, ты и представить себе не можешь...»

«В закрытой таблице», — предположила Альбина-Беба.

«Только ему она кажется пределом мечтаний, — вздохнул отец. — А предел мечтаний закрыть невозможно».

«Узнаю. Когда попаду в эту таблицу», — сказала Альбина-Беба.

«Это невозможно, — ответил отец. — Там у каждого своя, сугубо индивидуальная графа. Двух идентичных пределов мечтаний в природе существовать не может».

«Ты боишься этих людей?» — кивнула на тупо транслирующий безлюдную дачную дорожку, мокрые деревья и серое небо экран Альбина-Беба.

«Да нет, — пожал плечами отец, — они — закономерный фрагмент пейзажа предела мечтаний».

«Который ты не выбирал?» — уточнила Альбина-Беба.

«Я могу выбирать, — то есть мечтать, о чем угодно, — улыбнулся отец, — но вот что в результате сбывается, определяю не я... Уже не я. Эту скорость невозможно сбросить», — уточнил после паузы.

Получалось, что на микроуровне человек повторял судьбу мироздания. Одни звезды во Вселенной светили долго, мягко и равномерно, насыщая жизнью планеты(у), как, к примеру, Солнце — Землю. На других, правда, планетах дела с жизнью обстояли не столь удачно. Иные же звезды (если верить астрофизикам) вспыхивали, расплавляя вселенский вакуум, затем сжимались в ледяной кулак, злобно грозили... (Господу Богу?) и, развив невообразимую скорость, исчезали бесследно в антимире.

Одним из измерений предела мечтаний, таким образом, помимо смерти, являлась запредельная скорость, не позволяющая осмыслить предстоящую смерть. Собственно, это и была скорость смерти, так сказать, последняя ее (на повышенной передаче) скорость. Первая, вторая, третья, а иногда и задняя скорости были растворены в машине повседневной жизни. Люди переключали их, не думая.

Но последняя (повышенная) скорость значительно превосходила скорость света. Это была скорость, внутри

которой растворялась душа человека. Растворение души означало растворение (смешение) добра и зла. Смешение же добра и зла — это было всем известной на первичном религиозном (генетическом) уровне истиной! — означало окончательное торжество зла.

Внутри предела мечтаний скрывалась многообразная, как судьба, точнее, как зло, ловушка. Это был путь туда, откуда нет возврата. Предел мечтаний был местом, где человек со своими чувствами, мыслями, страстями, переживаниями и надеждами растворялся весь без остатка, то есть телом и душой. Это была таблица без выхода, место исчезновения души, место, где все, чем жил, живет и будет (пока существует как биологический вид) жить человек, приобретало невозможную концентрацию. В краткий миг растворения очередной сущности там (для этой самой сущности) открывались абсолютные (как если бы она — на мгновение — сама превращалась в Бога) возможности и даже... больше, потому что опыт человечества всегда неизбежно ярче, шире и масштабнее любой, даже самой сильной, но единственной сущности. О Боже, в ужасе подумала Альбина-Беба, неужели закрытая таблица — это... рай, странный, болезненно манящий, порочный рай внутри... ада?

Открытие отца, если, конечно, это можно было считать открытием, состояло в следующем. Для того чтобы сообщить какой-либо идее предельное развитие, необходимы не просто деньги (первичный капитал). Необходимо во что бы то ни стало определить (найти) внутри бурно структурирующегося (как раковая опухоль, мрачно шутил отец) организационного пространства идеи точку,

соприкоснувшись с которой деньги волшебным образом изменяют свою (и идеи) сущность. В том смысле, что их становится не просто много, а безумно много, точнее ровно столько, сколько необходимо для воплощения идеи в реальность. Деньги выходили на скорость предела мечтаний. Для вовлеченных в данный процесс людей реальность набирала скорость предела мечтаний.

Идею отец формулировал двумя словами — «вечная жизнь». А точкой, где деньги и, следовательно, идея волшебным образом преображались, изменяли сущности, по мнению отца, являлась... вечная же смерть. Точнее, такая ее особенность, как неотвратимость, — с поправкой, уточнял отец, на внезапность. Грубо говоря, впору было повторить вслед великому Булгакову, что человек не просто неотвратимо смертен, но еще и внезапно смертен.

Человек изначально извещен о предстоящей смерти, популярно объяснял отец, но почему-то иногда (вернее, никогда) с этим не согласен. Дело в том, продолжал он, что заключенное в смертное тело сознание причастно к тайне бессмертия, точнее, на него некогда пала тень бессмертия Бога, да так и прилепилась. Некий (мысленный) ген бессмертия (по всей видимости, случайно) инсталлирован в человеческое сознание. Так что идея, в сущности, элементарна — заставить этот ген «работать». Но не «штучно» — хватит идиотов, пожирающих женьшень, грызущих мандрагору, избегающих «мяса убитых животных», согревающих свои черепашьи тела юными девами, определяющих вслед Авиценне формулу эликсира вечной юности, — а массово, потому что деньги (всегда и только) там, где массы.

Наверное, так думал отец, учреждая банк под странным названием «Прицел». Куда, в кого, во что прицеливался этот банк? Каждый мог сделать в него целевой (прицельный?) вклад, предварительно пройдя полное медицинское обследование; во время обследования у человека определялись «слабые места», а именно органы, которые (теоретически) могли подвести и, следовательно, претендовали на замену. У кого печень, у кого почки, а у большинства, естественно, сердце.

До недавнего времени Альбина-Беба даже приблизительно не представляла себе, насколько сложные складываются у человека после пятидесяти отношения с собственным сердцем. Оно, сердце, как будто утомлялось жизнью прежде своего обладателя, напоминая о неизбежном простой и мерцательной аритмией, стенокардией, тахикардией, а то и необъяснимым собственным превращением в «бычье», то есть в огромное, раздувшееся от крови, или в «панцирное», то есть одевшееся в известково-соляные доспехи. Пробриться к нему хирурги могли только взломав этот самый панцирь.

Внося в «Прицел» вклад, пополняя его, человек (после того, естественно, как вклад переваливал за определенную сумму) мог надеяться, что, случись с ним беда, ему будет пересажено донорское сердце (печень, почка и так далее). Для этого ему под кожу вживлялся электронный чип, который в свою очередь подключался к онлайн-информационной сети. Человек, допустим, попадал в автокатастрофу где-нибудь под Рязанью или в Саратове. Чип сигнализировал об этом прежде ГИБДД и «Скорой помощи». На место происшествия из ближай-

шего отделения отцовской клиники немедленно отправлялся реанимобиль (вылетал вертолет), оснащенный всем необходимым для спасения жизни пострадавшего.

Выходило, что, относя свои кровные (и это изначально предвидел безошибочный язык, потому что каждая подобная операция сопровождалась переливанием крови!) в «Прицел», человек прицеливался в... Промысел Божий, отмеряющий кому сколько жить и — одновременно — (пристреливался) к вечной жизни, то есть бессмертию.

Отцовское предприятие разрасталось, разветвлялось, как оленьи рога. Помимо «Прицела», возникли страховая компания «Прохлада» и финансово-промышленная группа «Органайзер», которая занималась сбором, утилизацией и хранением донорских органов. Региональные отделения «Органайзера», как грибы, росли по всей России. В некоторых областях они набирали такую силу, что проводили в губернаторы своих людей. У бизнеса, таким образом, образовалось политическое крыло. Это крыло хотело взлететь. Вложившиеся в «Органайзер» люди вели речь о создании всероссийской политической партии, которой было бы вполне по силам проводить своих депутатов в Думу, а там, глядишь, и выдвинуть кандидата в президенты России.

Отец сопротивлялся. Пока еще он контролировал ситуацию, деньги давали «под него». Но всякое живое дело, как известно, развивается по своим, как правило, им же и созданным законам. По мнению отца, законы его бизнеса (отец сравнивал его с исходным материалом, то есть с человеческим телом) были таковы, что там в принципе можно было без больших проблем заменить

любой внутренний орган. За исключением головы (мозга, осуществляющего высшую нервную и умственную деятельность). Эту функцию пока еще исполнял отец. Исчезни он — и бизнес погрузился бы в кому.

А может, и нет.

Но где сомнения, там, как известно, неизбежны попытки их развеять.

А как можно их развеять?

В современной Альбине-Бебе России большинство сомнений в тех или иных (в особенности связанных с большими деньгами) людях развеивались посредством свинцового (пулевого, почти полевого, думала она) ветра.

Отец ходил с телохранителями. Его внутренние органы были многократно застрахованы (и перезастрахованы) в «Прохладе». По слухам, там, в особых холодильниках, находился целый склад «запчастей» для отца. Совет директоров «Прицела» направил отцу секретное письмо с просьбой согласиться на пластическую операцию — вживить в голову (под кожу) сверхпрочные титановые пластины, которые защитили бы череп даже в случае прямого попадания разрывной пули. Отец отказался, ответив в духе древнегреческих философов, что, мол, странно было бы ему, сделавшему на человеческом страхе смерти столько денег, бояться смерти. Мне кажется, отписал Совету директоров отец, в моем случае смерть имеет полное право рассчитывать на взаимность.

Число вкладчиков в «Прицел» росло. Вероятно, этому в немалой степени способствовали так называемые «астрологические пункты», загадочным образом возникающие в непосредственной близости от филиалов

«Прицела». В этих астрологических пунктах любой желающий мог получить «карту тела», где отмечались внутренние органы, на которые ему следовало обратить внимание. Это было чистой воды шарлатанством, но народ туда валом валил. Даже Альбина-Беба заглянула однажды, заполнила сложную анкету, где желательно было указать не только год, месяц и день, но и час рождения, и ответить на такие непростые вопросы, как: «До какого времени мать кормила вас грудью?» или: «Совершали ли вы в детстве поступки, за которые вам и сейчас мучительно стыдно?».

Покончив с анкетой, Альбина-Беба легла в некую сферу, отдаленно напоминающую барокамеру, на внутренней поверхности которой определенно угадывалось что-то вроде компьютерных дисплеев. Но вот раздался щелчок, и Альбина-Беба оказалась в полной темноте, а точнее, внутри лазерной проекции звездного неба. Это было приятное и тревожное ощущение. Ей показалось, что у нее больше нет тела, и это ее душа вольно скользит внутри Вселенной. Более того, ей вдруг явилась мысль, что душа, собственно, и есть первичный материал (стволовая клетка), из которого создана Вселенная. Но тут звездная тьма рассеялась, крышка сферы съехала в сторону, темноволосая (без возраста) женщина, с блестящими птичьими глазами, протянула Альбине-Бебе только что сошедшую с принтера абсолютно белую с небольшим затемнением в области Vagina и Labium majus «карту тела».

«Не обращай внимания, — сказала женщина, — это месячные. Вообще-то, карту тела в этот период лучше не делать, но у тебя все в полном порядке».

«Мне можно не волноваться?» — поинтересовалась Альбина-Беба.

«Да... — Альбине-Бебе показалось, что что-то смущает и беспокоит эту (без возраста) женщину с блестящими птичьими глазами. — Сердце, — вдруг произнесла та, — и...» — замахала рукой, как бы разгоняя видение.

«Сердце? Что с моим сердцем?» — удивилась Альбина-Беба.

«Ничего. Не знаю, — беспомощно отозвалась женщина. — Береги сердце. Хотя... это не то слово. В общем, будь осторожна, ладно? Да, я возвращаю твои деньги. Наверное, я сегодня не в форме».

«Вы что-то увидели?» — уточнила Альбина-Беба. — «Что-то сверх того, что показала машина?»

«Сердце, — упавшим голосом произнесла женщина. — И... месячные. Нет, это какой-то бред!»

«Вы можете изъясняться яснее?» — А-Б машинально отметила очередное проявление Божественного величия языка, выражающееся в самодостаточности слова «изъясняться», изначально не нуждающегося в тавтологическом уточнении «яснее». «Изъясняться» означало не просто говорить, но говорить предельно ясно.

«Там, где я... скажем так, обретаюсь, — словно прочитала ее мысли женщина с блестящими птичьими глазами, — по определению не может быть предельной ясности. Но если ты ее хочешь, ты ее получишь. Ты будешь жить бесконечно долго, девочка, но... без сердца и без... месячных. Я не знаю, почему так. Возьми деньги. Это бесплатное предупреждение».

Выйдя из астрологического пункта на шумную улицу, Альбина-Беба подумала, что в принципе она вполне может застраховать свое сердце. Но зачем его страховать, если она будет жить бесконечно долго и без него? Можно было, конечно, попытаться застраховать месячные, но А-Б не сомневалась, что в «Прохладе» ей дадут от ворот поворот. Климакс невозможно отменить, так ответят ей в «Прохладе». А потом, где гарантия, что она вдруг не вознамерится изменить пол? Альбину-Бебу прошиб горячий, как если бы внутри тела закипел чайник, пот. Неужели она... станет трансвеститом... без сердца? Но тут идущий навстречу молодой человек улыбнулся ей. Она (автоматически) ответила ему презрительной усмешкой, но все ее существо сладко затрепетало. Горячий, пропитавший белье пот сделался сладким. Альбина-Беба перевела дух. Нет, она никогда не изменит пол, потому что пол — это ее последняя, истинная и неразменная сущность, вне которой ее (о Божественный язык!), в сущности, не существует. Случай в астрологическом пункте показался ей несущественным, как немотивированное оскорбление сумасшедшего в подземном переходе. Почему-то сумасшедшие любили (если, конечно, данное слово здесь уместно) оскорблять людей в подземных переходах. Неужели, подумала Альбина-Беба, эти астрологические пункты — дочерние предприятия «Прицела» и «Прохлады»? Боже мой, на что они тратят деньги?

Огромные деньги в отцовском бизнесе, впрочем, уходили и на исследовательские программы. К примеру, такие, как пересадка фрагментов мозга. Это было исключи-

тельно важно для потенциальных жертв наемных убийц. Киллеры, как известно, предпочитали стрелять в голову разрывными пулями, не оставляя жертве ни малейших шансов. Да, разрывная пуля прекращала деятельность головного мозга, но некоторые-то его фрагменты оставались в относительной целости и сохранности. Вот эти-то фрагменты и предполагалось имплантировать с помощью сложной нейрохирургической операции в голову других людей. Тем самым убитый человек получал (пока чисто теоретический) шанс на вторую жизнь. Некая (никто не мог точно знать, какая именно и за что отвечающая) часть его сознания начинала существовать в новой голове, в новом теле. Для трансплантации предполагалось использовать добротные тела со спящими, то есть, в сущности, простаивающими мозгами (коматозники, впавшие в летаргический сон, изначальные идиоты и так далее). В идеале (так, по крайней мере, утверждали нейрохирурги) убитый не просто воскресал к новой жизни, но — к прекрасной новой жизни, ибо даже малая часть его мозга была сильнее спящего мозга идиота, а потому постепенно наполняла (перепрограммировала) его собственным содержанием. Не следовало забывать и о такой (немалой) малости — практически никто (кроме врачей) не мог опознать в прекрасном новом человеке старого убитого. Родственникам коматозников и идиотов (если таковые имелись в наличии) просто сообщали, что больной отошел в мир иной, скажем, от атипичной пневмонии, и уже (для пресечения заразы) кремирован.

Этот бизнес не мог прекратиться. Этот бизнес не мог умереть.

По мере того как в стране повышался уровень жизни, появлялось все больше и больше людей, которые делали вклады не только на запасное сердце, но и на прочие внутренние органы. Человек жил, работал, занимался своими делами, но сознание его согревалось мыслью, что где-то в медицинских лабораториях, как игла в знаменитом Кошцеевом яйце, зреет его новая жизнь.

И никакому Ивану-дураку не сломать эту иглу.

Если Карл Маркс некогда вывел формулу «товар—деньги—товар», то отец Альбины-Бебы вывел другую, не менее действенную формулу: «жизнь—деньги—жизнь». Где-то тут, правда, присутствовала и смерть (А-Б подозревала, что смерти в этом бизнесе было больше, чем жизни), но кто и когда считал на святой Руси людишек, в особенности нищих, не вписавшихся в новую реальность?

Последние годы Альбина-Беба редко общалась с отцом. Медицинский бизнес занимал все его время без остатка. Отец в задумчивости бродил по залам среди дымящихся азотом никелированных емкостей, где хранились донорские органы, сидел в банке, проводил собрания в «Прохладе», вел какие-то переговоры с людьми, которые (А-Б судила по их внешнему виду), наверное, голыми руками вырывали из несчастных эти самые донорские органы.

Самыми перспективными (в плане трансплантации и финансового эффекта) отец считал глаза. Они смотрели на него, погруженные в специальные цилиндрические, с прозрачным раствором сосуда, в бархатной бахrome нервов, разноцветные, ожидающие новых хозяев глаза. Издали они напоминали рыбок или маленьких цветных медуз.

Довольно часто отцу приходилось ездить в командировки. В последнее время почему-то все больше в тропическую Африку. Альбина-Беба подозревала, что именно там осуществляются оптовые закупки донорских органов по бросовым ценам. Человеческая жизнь в тех краях ценилась едва ли дороже, чем в России. Но, в отличие от России, она являлась там составной частью природы. Поэтому природа мстила человечеству за обиды Африки (колыбели человечества), выпуская из темных ее глубин смертельные вирусы, распространяя их по свету.

Но иногда Адьбине-Бебе удавалось поговорить с отцом, что называется, по душам.

Она вспомнила, как однажды они встретились в их загородном доме у камина. Альбина-Беба сидела на диване с книжкой, а отец спустился сверху из своего кабинета со стаканом виски. Некоторое время он сидел молча в кожаном кресле, наблюдая, как отражается каминное пламя в медленно тающих кубиках льда, а потом вдруг произнес: «Если вдуматься, виски — совершенно нетрадиционный для нас напиток. Почему вся Россия сейчас пьет виски?»

«Вся Россия?» — удивилась Альбина-Беба. Она видала пьяных много раз на дню, но сомневалась, что все они пьют виски.

«Я имею в виду, финансово состоятельная Россия, — уточнил отец, — та Россия, которая что-то решает, точнее, думает, что решает».

«А что же еще пить финансово-состоятельной России? — пожала плечами Альбина-Беба. — Если ее деньги — доллары, то и пить она должна виски».

«Виски со льдом — это, так сказать, тонкая настройка опьянения, — объяснил отец. — Все равно что престижная машина. Водка, конечно, тоже транспорт, — закончил мысль, — но... примитивный. А вот виски — long drink, это езда для настоящих профессионалов».

«Профессионалов чего? — спросила Альбина-Беба. — Белой горячки?»

«Всего лишь приятного опьянения, — недовольно посмотрел на нее отец. — Профессионалов опьянения... Я имею в виду не только алкоголь, — продолжил после паузы, — но... так сказать... магистральное, судебное, не от слова "суд", а от слова "судьба" опьянение: от сказочной денежной жизни, от безграничности вдруг открывшихся возможностей, наконец, от мнимой значимости собственной личности. Ведь все это дано именно тебе, а не дяде Васе. Значит... там, — поднял палец вверх, и Альбина-Беба догадалась, что он имеет в виду... Бога, — так решено. Хотя, — усмехнувшись, сделал большой глоток из толстого стакана, — тот, кто думает, что может разгадать Божью волю, подобен тому, кто судит о космических процессах в Созвездии Пса по поведению пса, лающего животного. Так, кажется, писал философ Шестов. Это опьянение, безусловно, проходящее, — продолжил он. — Оно заканчивается пониманием, что на любом уровне материального благополучия круг проблем остается прежним, разве что в геометрической прогрессии уплотненным. Но для большинства из нас, пьющих виски, — произнес с пьяной грустью, — профессиональное опьянение проходит вместе с... жизнью. В принципе, прогресс невозможно остановить. Но есть биологические

таблицы, которые по-прежнему «на замке». Ощущение такое, — отец понизил голос, словно выдавал дочери страшную тайну, — что Бог или кто там... создал человека как рабочую скотину на предельный — девяносто лет — срок, и все. Есть такое понятие — “срок годности”. Он по какой-то причине не пересматривается. Более того, — прошептал совсем тихо, так что Альбина-Беба едва расслышала, — я думаю, что это как раз и служит доказательством существования Бога. Потому что, — тревожно посмотрел по сторонам, — кто еще может нас остановить?»

Альбина-Беба молчала, потому что и впрямь не знала, кто мог их, кроме Бога, остановить?

«Странно, — вздохнул отец, — скоро полетим на Марс, компьютеры давно превосходят возможности человеческого разума, и только продолжительность жизни топчется на месте. А если и растет, то какая, в сущности, старику разница — умереть в девяносто или в девяносто пять лет? Увеличивается всего лишь временная протяженность маразма, а это, согласись, не то, о чем мечтает большинство людей. Продолжительность жизни практически не изменилась с древних времен. Тогда люди жили меньше, потому что иначе относились к таким понятиям, как честь, достоинство и вера. Ну и лекарств, конечно, не было. Да, продолжительность жизни с тех пор увеличилась, но это не принципиальное увеличение. В систему управления как будто вмонтирован некий ограничитель, — он задумчиво посмотрел в стакан с виски, — который превращает человека в труху после семидесяти, в лучшем случае семидесяти пяти лет».

«Странно, — заметила Альбина-Беба, — что ты не можешь разглядеть этот ограничитель на дне стакана»

«Потому и не могу, что все время подливаю», — нехорошо рассмеялся отец. Альбина-Беба поняла, что он сильно пьян, но малый свет в холле у камина это скрывает. Понятно, подумала Альбина-Беба, почему алкаши так любят сумерки.

«Мой бизнес рухнет, — продолжил отец, — как только люди смирятся со своей участью. А так как они не смирятся с ней никогда, — внимательно посмотрел на Альбину-Бебу, — мой бизнес не рухнет никогда. Я хочу, — добавил после паузы, — чтобы ты его продолжила... Стала его смыслом и символом, его альфой, омегой, бетой и гаммой. Мне больше не на кого надеяться. На следующем собрании акционеров я введу тебя в Совет директоров "Прицела", запишу на тебя пакет акций».

«Но ведь это обман? — спросила Альбина-Беба. — Твой бизнес обман?»

«А что в жизни не обман? — поинтересовался отец. И сам же ответил: — «Только то, что не является повторением. Но все в жизни — повторение. Правда, у повторения есть иное, помимо обмана, измерение, а именно — масштаб. Люди боятся масштаба, абсолютизируют и обожествляют его. Именно так в свое время работал с избранным народом ветхозаветный Бог. Древние иудеи принимали масштаб за истину. С тех пор мало что изменилось. Все, что происходит сейчас, уже когда-то происходило. Эликсир вечной юности был второй целью алхимиков после знаменитого философского камня. Великий Сталин собирался пришить Калинин у бараньи яйца и по-

смотреть, что получится. По крайней мере, так говорили в народе в начале пятидесятых. Так что, увы, все повторяется. Не повторяется только масштаб. Эксплуатация несбыточной мечты, — отец покрутил в воздухе дрожащими пальцами, — есть основа любого бизнеса, причем чем неисполнимее мечта и чем наглее масштаб, тем вернее бизнес и тем... — закончил после паузы, — неизбежной расплата»...

«И ты предлагаешь мне этим заняться?» — удивилась Альбина-Беба.

«Я очищу бизнес, — сказал отец, — отмою добела и приделаю ему ангельские крылья. Когда я отойду от дел, тебе останется легальный доход, высокая наука, сверхсовременные медицинские технологии, а главное, неисчерпаемая энергия вечной мечты человека о бессмертии. Если все пойдет, как я задумал, тебе будут поклоняться, как... святой. Я хочу, — наклонился к ней, — чтобы ты стала... первой бессмертной в этом мире...»

Некоторое время Альбина-Беба изумленно молчала, опустив глаза. Ей было стыдно за отца. Когда, наконец, она подняла глаза, то увидела, что отец безобразно спит, свесив голову на грудь. При этом рука его продолжала твердо сжимать стакан с виски, а с губы свесилась прозрачной нитью слюна. А-Б не сомневалась, ни землетрясение, ни прямое попадание снаряда в дом не пробудят отца. Но вот если она попытается вытащить из его руки стакан, он немедленно проснется.

Альбина-Беба решила не будить отца, справедливо рассудив, что если он проснется, то снова примется пить. Пусть лучше спит. Для алкоголика сон — благо, подума-

ла А-Б, но еще большее благо этот сон для родных и близких алкоголика.

Альбина-Беба не была готова продолжить бизнес отца хотя бы уже потому, что, зная Россию, не верила ни в нынешнюю, ни в грядущую чистоту этого бизнеса. Она была достаточно искушенной, как все медички, девочкой и ни мгновения не сомневалась, что охотники за донорскими органами вырывают их у живых (почему-то ей казалось, что они ловят их сетями, как диких зверей), что по всей стране стоит неслышный (точнее, заглушаемый, удушаемый) стон заживо препарировемых людей. Как-то отец между делом заметил ей, что глаз и яиц (не бараньих, которыми Сталин хотел осчастливить Калинина) на фирме уже сейчас законсервировано столько, что хватит на сто лет. Ощущение такое, заметил отец, что больше всего на свете наши ребята хотят зорко пересчитывать купюры, глазеть на голых баб и трахаться. Я же не виноват, развел руками, что они именно так понимают здоровье?

...Альбине-Бебе недавно исполнилось восемнадцать лет. Она считала себя серьезным человеком. Ее довольно часто посещали необязательные мысли. Она не гнала их прочь, потому что знала: ничто так не украшает жизнь, как необязательные мысли. Они были одной из немногих радостей серьезного человека. Самой большой и самой необязательной радостью было думать о том, как устроены мир и человеческое сознание. Альбина-Беба утвердилась в мысли, что они устроены по принципу самовоссоздающегося, неуничтожимого клипа, а может, неупиваемой чаши. В клипе происходило превращение

(смещение) пса (лающего животного, как определил его философ Шестов) и Созвездия Пса в некую третью сущность, которая, собственно, и служила «исходником» для всех «операций» сознания.

Альбина-Беба вдруг подумала, что все, что только что пришло ей в голову, уже наверняка высказано и сформулировано другими (серьезными) людьми. То есть она всего-навсего пытается кое-что упорядочить и систематизировать (построить) с единственной целью (Альбина-Беба в этом не сомневалась), чтобы по прошествии некоторого времени все это революционно разрушить.

Мысли рождались и умирали очень быстро, как мотыльки. Но были и другие — «длинные» — мысли, которые, единожды укоренившись в сознании, постепенно подчиняли его себе, выражаясь компьютерным языком, форматировали под свой стандарт. Альбина-Беба подозревала, что каждый человек носит в своем сознании пару-тройку «длинных» мыслей, которые, взаимодействуя друг с другом, окружающей жизнью и чем-то еще, чему нет названия, но что определяет все на свете, олицетворяют то, что принято называть судьбой.

Некоторые собственные мысли тоже казались Альбине-Бебе «длинными». Двигаться вдоль них можно было бесконечно, как плыть вдоль экватора. Или подниматься (опускаться) на эскалаторе.

Но беда даже самых «длинных» мыслей заключалась в том, что они проходили сквозь жизнь подобно рентгеновским лучам, оставляя в сознании странные, смещенные (рентгеновские) снимки некоего несуществующего (запретного) мира, куда, тем не менее, сознание

зачем-то наведывалось. Это определенно свидетельство об изначальном нездоровье (патологии) обыденной умственной жизни. Альбина-Беба подумала, что, хоть она и считает себя стопроцентно нормальным человеком, ее сознание — настоящий архив странных и непонятных снимков... чего?

Вываться из общего ряда, катапультироваться из клипа, стать другой можно было, только изменив собственную природу, оборвав пуповину, связывающую с биологической стороной существования. Сознание, в принципе, было готово (более того, иногда так просто рвалось) это сделать.

Тело — нет.

Тело было тюрьмой.

На протяжении тысячелетий лучшие представители (и представительницы) биологического вида *homo sapiens* пытались бежать из этой тюрьмы, но из этого ничего не получалось. Дело в том, что, родившись на свет Божий, человек как бы произносил «А» и, соответственно, был обречен произнести «Б», то есть умереть. Никому связь А—Б было не разорвать. Преодолеть притяжение тела (плоти) было столь же невозможно, как преодолеть земное притяжение.

Альбина-Беба по большому счету не возражала умереть, но ее раздражала необходимость пожизненно таскать за собой смерть, как каторжанин — ядро. Мысль о неизбежности смерти, похоже, была самой «длинной» из всех человеческих мыслей. Хотя бы уже потому, что имелась некая (недоказанная) надежда на продолжение этой мысли за «пределом времени», как называли смерть

древние люди. Альбине-Бебе хотелось разорвать связь А—Б не для того, чтобы сделаться бессмертной, но — свободной.

Дело было в том, что тело, равно как и «пророк» его, а именно — пол, было растворено в сознании, во многом определяя его, сознания, повседневное бытие. По мнению Альбины-Бебы, пока что именно тело определяло путь человечества. Это оно заставляло людей читать глянцево-е журналы, смотреть ТВ, участвовать в конкурсах и шоу, покупать рекламируемые продукты, голосовать на выборах за неизвестных или известных, но (доказано) недостойных личностей, состоять в партиях и общественных объединениях, проводить реформы и рассылать по Интернету свои резюме. Тело жаждало денег, славы и признания, жадно заглядывало в витрины, повторяло то, что говорили другие тела. Стать свободной от тела означало сделаться свободной от мира, к которому оно было пришито тысячами нитей. Мир сам, если вдуматься, был огромным двуполым (двуспальным) телом. Альбина-Беба совершенно не стремилась быть его частицей. Потому что быть его частицей означало повторять его путь — через оглушение и размножение — к смерти. Меньше всего на свете Альбине-Бебе хотелось быть нечистым, неряшливым, страдающим обжорством и недержанием (всего) телом.

Тело нуждалось в лечении.

Но пока этим (универсальным) лечением была смерть.

А-Б полагала, что (теоретически) существует и другое лечение.

Вот почему, а не потому, что ее отец (когда-то) был врачом, два года назад она решила поступать в медицинский институт.

Чем дольше Альбина-Беба размышляла о теле как о начальной и конечной точке (вместилище) цивилизации, тем более универсальным (вселенским) представлялся ей «принцип тела». Воистину, тело было столь же неисчерпаемо, как Вселенная (на одном конце линейки) — и как электрон (на другом). Если мир (общество) устроен по принципу тела, подумала А-Б, то люди (сообщества людей), хотя бы они этого или не хотят, выполняют функции внутренних органов тела цивилизации.

Наверное, решила А-Б, они организованы по типу клеток и объединены по принадлежности к функциональной деятельности тех или иных (государства и общества) внутренних органов на манер древнеиндийских каст. Эти объединения (разделения) были бесконечно подробны (переходны) и — одновременно — неуправляемы. Иначе человеческий век давно бы исчислялся не десятилетиями, а столетиями.

Вероятно, продолжила спорную, ведущую в пустоту (если отвлечься от того, что конечной истиной цивилизации и мира как раз и является их исчезновение, то есть бесповоротная пустота) мысль А-Б, существуют «люди-печень», очищающие организм, принимающие на себя удары (материальных) излишеств. К ним, этим излишества, можно было отнести самые разные, сопутствующие прогрессу вещи. В свою очередь, двинулась дальше

в пустоту А-Б, в армии этих людей должны быть подразделения: левой треугольной связки; поджелудочной железы; желчного пузыря и так далее, до ответственных за строение печени генов ДНК. «Люди-печень» увиделись Альбине-Бебе в образе среднестатистических обывателей, мужественно отражающих (принимающих на себя) излучения идеологий, рекламы, господствующих предрассудков и мнений. Это были глянцевые, плотные (как печень), но, к сожалению, бесформенные люди, предельно зависимые от не ими принимаемых решений. К их числу можно было отнести значительную часть человечества.

Наверняка существуют «люди-почки», продолжила сомнительный экскурс в анатомию мироздания А-Б, прогоняющие через себя бесчисленные объемы жидкостей. Она была склонна считать, что уничтожаемая человечеством природная среда как раз и есть основополагающая жидкость цивилизации. Издержками же неразумного к ней отношения являлись отвратительные, с экологической точки зрения, промышленные проекты, загрязняющие землю, воздух и воду, оседающие в находящихся на пределе почках цивилизации в виде песка и камней, отчего сами несчастные почки превращались в песок и камень. «Люди-почки» по закону анатомии мироздания подразделялись на представителей: почечных столбов; фиброзных капсул, мочеточников; лоханок; пирамид и так далее. В их образе Альбине-Бебе почему-то увиделись люди, связанные со строительством и еще почему-то лесорубы, шахтеры, мелиораторы и гидротехники — одним словом, все, кто изнурил своей деятельностью живую природу.

А чем занимаются «люди-сердце»? — задала себе вопрос А-Б и тут же (поскольку была в теме) на него ответила: они гоняют по сужающимся, костенеющим артериям живительную кровь. К «сердцу» она с легкой душой отнесла людей политики, власти и бизнеса. Альбина-Бeba подозревала, что сердце человеческой цивилизации находится в предынфарктном состоянии. Слишком уж густой была кровь, а артериальное давление — запредельно высоким. Сердце вдруг ясно увиделось А-Б в образе надрывно стучащего, рвущегося (как созревший фурункул) из земли вулкана, почему-то залитого искрящимся неоновым светом, как если бы сердцем человеческой цивилизации были кабак, бордель и казино.

Присутствовали на земле, естественно, и «люди-легкие». Их вполне можно было называть, пользуясь запредельным величием языка легкими людьми. А еще их можно было уподобить ангелам или эльфам. Они парили над землей, отрываясь от притяжения ее трудов, просто жили (вдыхали воздух), не изнуря себя ненужными мыслями и излишней скорбью. Это были люди, создающие и потребляющие искусство (красоту), примкнувшие к ним читатели глянцевого журналов и таблоидов, зрители и ценители новых фильмов, покупатели рекламируемых книг. В истории разных стран бывали периоды, когда цивилизации дышали полной грудью, и тогда люди-легкие, или легкие люди, расправлялись, наполнялись свежим воздухом. Народы в эти счастливые периоды, можно сказать, уподоблялись птицам, взмывали в поднебесье, откуда им открывалась скрывающаяся в складках земных ландшафтов истина. Но бывали периоды, когда легкие скручивались,

как горящая бумага, бронхи забивались пылью и пеплом, и народы харкали кровью. В эти периоды им было не до искусства, не до кино и глянцевого журналов. Хотя, конечно, это были разные вещи. Искусство было замедлением (торможением) на пути к смерти, попыткой остановить прекрасное мгновение, мысль или красоту. Глянцевый журнал был чем-то вроде зеркала, в которое человеку нравилось смотреться, когда он хорошо выглядит, и не очень нравится, когда — плохо. Но повседневная человеческая жизнь как раз и состоит из разных (несмешиваемых) вещей, которые каким-то образом не только смешиваются, но сливаются воедино, превращаясь в некое новое вещество. Господь, горько вздохнула А-Б, хотел разделить эти вещи, но подлое новое вещество научилось имитировать любые понятия, включая добро и веру.

Наверное, были «люди-глаза», которые все видели, и «люди-уши», которые все слышали. Но то, что видели «глаза» и что слышали «уши», далеко не всегда являлось руководством к действию для сознания.

«Люди-сознание» были слишком (запрограммировано?) слабы, чтобы принимать правильные решения. Над ними довлело тело. Они были растворены в теле, как хлорофилл в листьях, жили его жизнью, а потому мыслили и действовали его, тела, категориями.

Немалую часть человечества, полагала Альбина-Беба, следовало отнести к людям желудка, усваивающим и перерабатывающим пищу и все прочее, чем кормилось вселенское тело.

Немаловажной (точнее возрастающей), видимо, была роль людей прямой кишки. Альбина-Беба была склон-

на отнести к ним сотрудников правоохранительных органов, социальных работников и частично (особенно занятых в отцовском бизнесе) врачей, помогающим отбросам общества двигаться предназначенным им путем, а именно — на выход. Альбине-Бебе казалось, что с каждым годом пищеварительный тракт и система выделения занимают в теле цивилизации все более важное место. Тело отяжелело и отупело до такой степени, что уже было неспособно даже отойти на сколько-нибудь безопасное место от извергающихся непрерывными потоками нечистот.

Тело, таким образом, нуждалось в серьезнейшей, выражаясь современным языком, хирургической коррекции.

Но кто (кроме самого тела?) мог ее осуществить?

Образ вселенского тела не на шутку увлек Альбину-Бебу. Она всегда старалась мыслить концептуально, а потому решила достроить этот образ до логического (насколько это было возможно) завершения.

Скелетом, позвоночным столбом, хребтом виртуального тела, по мнению А-Б, являлись люди ушедших поколений. Когда память о них слабела, а опыт выветривался из сознания живущих, кости становились вялыми и слабыми, как гнилые побеги. Если же, напротив, опыт прошлого чрезмерно довлел над современниками, скелет, как скала, твердел, так что вселенское тело не могло без боли в позвоночнике нагнуться или распрямиться.

Несбалансированная сбалансированность — так определила А-Б основополагающую идею человеческого существования. Главное же противоречие этого существования, фундаментальный его порок увиделись ей в том, что тело не могло управлять самим собой, точнее, могло,

но исключительно в худшую (к разрушению) сторону — то есть тело могло только примитивно функционировать, подчиняясь своим внутренним органам и — одновременно — разрушая их. Разве, усаживаясь за богатый стол, человек думает о своей печени или почках? Паролем к ним, следовательно, было слово «смерть», но никак не слово «бессмертие». Бог не хочет, чтобы мы жили вечно, отстраненно, как будто была в этом вопросе на стороне Бога, а не людей, подумала Альбина-Беба. И еще (это было вообще необъяснимо) подумала, что Бог прав.

Универсальность принципа тела продолжалась в том, что в него легко вмещались даже такие (для многих чисто умозрительные) понятия, как рай и ад. Праведники попадали в рай, то есть прямиком в сознание — в верхний мир чистых мыслей, где отсутствовало земное (плотское) притяжение. Грешники — в ад, в горячую, зловонную, влажную тьму работающих по заведенному порядку внутренних органов.

Внутренние органы на протяжении тысячелетий делали одну и ту же работу, в то время как мысль куда хотела, туда и летела, как птица. Альбина-Беба не сомневалась, что попасть в рай означало превратиться в свободную мысль, а в ад — в простейшую клетку, обреченную делать одну и ту же работу, то есть вечно находиться (другой смысл слова) в клетке и в итоге исчезнуть.

Альбина-Беба собиралась стать хирургом, отважно работающим скальпелем, потому что единственным чего (пока еще) боялось тело — была боль. Оно ложилось под скальпель, когда боль становилась нестерпимой, то есть телу нечего было терять. В этом смысле скальпель

был сродни Богу, про которого тело вспоминало тоже, как правило, когда нечего было терять, то есть было потеряно все, кроме... Бога.

Но тело, даже пребывая в безнадежном состоянии, далеко не всегда хотело ложиться под скальпель, потому что научилось само себя анестезировать, генерировать внутри себя антидепрессанты, наркотики, обезболивающие средства, взнуздывающие потенцию и вызывающие галлюцинации ферменты. Тело само себя воспроизводило и само себя уничтожало, питалось собой и восстанавливало себя. Тело можно было уподобить коварному хищнику, прикидывающемуся жертвой, поджидающему, смежив очи, вознамерившегося ему помочь доброхота, чтобы со вкусом его растерзать, сожрать с веселым костяным хрустом. А можно — раковой опухоли, которая изничтожала то, что давало ей жизнь. Тело было одновременно (индивидуально) смертным и (коллективно) бессмертным, конечным и бесконечным. Все, сочетающее в себе взаимоисключающие признаки, как известно, непредсказуемо, опасно и вне Божьего попечения.

Альбина-Беба отдавала себе отчет, что тело в любой момент готово продиктовать ей свою волю, да так, что она, Альбина-Беба, и не пикнет. Вот и сейчас, подумала она, оно продиктовало мне свой виртуальный образ, не сама же я придумала?

С телом следовало держать ухо востро. Излечить его, сделать коррекцию было столь же сложно, как обезвредить в полевых условиях атомную бомбу, поставленную на электронный ультразвуковой таймер. Как и всякий больной, тело не желало лечиться. Оно предпочитало

уничтожить врачей. «Нет врача — нет болезни» — таков был девиз тела.

Альбина-Беба с грустью подумала, что тело может провозглашать любые девизы, потому что никому еще не удалось опровергнуть основной его девиз: «Нет тела — нет жизни». Она, как и всякий идеалист, не хотела быть телом, но при этом хотела его вылечить. То есть хотела (проклятое тело скрывалось и в этом, выражающем волю, глаголе) одновременно быть вне и над, жить и при жизни и после смерти, что было, в принципе, невозможно. Альбина-Беба отдавала себе отчет, что напоминает некогда отличившегося своей любознательностью еврейского мальчика, оставившего предсмертную записку: «Ужасно хочу знать, что там, на том свете». Он наверняка узнал, подумала А-Б, да только не успел ни с кем поделиться своим знанием.

Тот свет был коллективным бессознательным тела. Вылечить его можно было, не просто проникнув туда, но еще и вернувшись (во всеоружии приобретенного опыта) обратно. Это было все равно что исполнить песню молча, да так, чтобы зал заплодировал стоя, не вставая из кресел и не шевеля руками. Альбина-Беба подумала, что если есть люди, олицетворяющие собой сознание, то, вероятно, есть олицетворяющие душевную болезнь.

Она была явно из их числа.

Единственно, было неясно, кто, собственно, определял, что есть (душевная) болезнь, а что (душевное) здоровье? Альбина-Беба подозревала, что здесь и скрывается та самая бездна, в которую, само того не сознавая, падает тело.

Альбина-Беба заметила, что в иные моменты время обретает новое (неизвестно, какое по счету) измерение, протекает не столько внутри пространства, сколько внутри человеческой сущности. Время становилось чем-то неизмеримо большим, нежели просто временем — тиканьем часов, прыганьем цифр на электронном экране, появлением на лице морщин, менопаузой (для женщин), угасанием потенции (для мужчин), переменой покроя одежды (изменением моды), массовой заменой моделей компьютеров, телевизоров и автомобилей, истечением тюремных, больничных, жизненных, а также любых других, включая пребывание у власти, сроков. Время вмещало в себя что-то такое, что было вне, то есть сильнее, первичнее его. А что могло быть сильнее, первичнее времени?

Только бессмертная душа.

А-Б вдруг открылось, что Господь Бог — высшая и последняя сила во Вселенной — составлен (соткан) из бессмертных душ, как человек из смертных клеток. Господь был донором душ, которые курсировали на манер космических челноков от Бога к человеку и обратно. По возвращении отдельные души выбраковывались. Остальные регенерировались и снова шли в дело. Таким образом, Бог являлся «гарантом» (очень популярный в России термин) души. Душа — частица Бога — существовала вечно и, следовательно, находилась вне времени.

Собственно, как иначе могли (жизнь изобиловала примерами) общаться между собой разноумершие (такой

«объединительный» для мертвых и живых изобрела Альбина-Беба термин) люди? Сплошь и рядом к живым являлись покойники из давнего прошлого, «грузили» их своими нерешенными проблемами, дикими и изуверскими хитросплетениями своих судеб. Наверное, подумала А-Б, у Господа опускались руки, и Он оставлял этих несчастных людей вне своего суда, то есть вне основных (для живых и мертвых) категорий времени.

А еще она подумала, что люди по возможности тщательно подсчитывают число (на данный момент) живущих, но никто никогда (даже приблизительно) не пытался сосчитать число (за все время существования человечества) умерших.

Между тем на каждого живущего (существующего во времени) приходилось по меньшей мере тысячи умерших ранее (существующих вне времени). Следовательно, субстанция «вне времени» была неизмеримо могущественнее субстанции «во времени». Она проецировала собственные миры, наподобие рентгеновского излучения пронизывала сознание существующих «во времени». Иначе как можно было объяснить дар предвидения, которым мертвые иногда делились с живыми, равно как и знаменитое «*déjà vu*», то есть «уже виденное», когда человеку кажется, что то, что с ним в данный момент происходит (вплоть до произносимых слов, жестов, а главное физических ощущений), уже было? Единственно, Альбина-Беба не вполне понимала, почему именно мертвым открыто будущее (при том, что они не испытывали к нему особого интереса), в то время как живые понятия не имели, что случится с ними через минуту?

Вот и сейчас Альбина-Беба вроде бы находилась в России, а точнее, в ее столице Москве, двигалась по Кутузовскому проспекту, то есть была (как муха в янтаре) вклеена в реальное — линейное — время, а также в пространство и свое молодое тело. Однако же ее мысли (сущность, душа) находились вне этих категорий, описывая вокруг (и возможно, сквозь) них бесконечный по своей орбите эллипс. При этом А-Б переживала не какое-то примитивное «*déjà vu*», связанное с малозначащим ощущением, что эту черную с хвостом-веером из страусиных перьев, так что казалось, что она тянет за собой театральный занавес, собаку она уже видела, а... некое всеобъемлющее «*déjà vu*», как если бы ей вдруг открылась некая (какой не знал никто, за исключением, быть может, Иисуса Христа), невыразимая (как мысль Божья) в словах правда о человеческом племени — о том, что оно есть и что его ожидает. Как если бы она уже прожила разом все (и за всех) человеческие жизни.

Это ложная глубина, самокритично подумала А-Б, я — рыба, плавающая над ложными глубинами. Самое удивительное, что она (если бы кто-нибудь попросил) не смогла бы ясно сформулировать — о чем, собственно, она думает, плавая над этими ложными глубинами? Душа не столько мыслила (обнажала скрытую внутри предмета логическую конструкцию), сколько скользила по поверхности вещей на манер ладони, лишь прикасаясь к ним, но не вникая в их сущности. Вещи были теплыми и холодными, твердо- и жидкокристаллическими, мягкими, как мох (или мех), излучающими добро, равнодушие или что-то напоминающее ненависть. Но не совсем ненависть, по-

тому что в чистом виде в том мире ненависти не существовало, как в земном (человеческом) мире, к примеру, не существовало в чистом виде добра. Ненависть и добро в том виде, в каком они существовали в человеческом мире, на девяносто процентов состояли из человеческих же «примесей». Люди были настоящими изобретателями и рационализаторами по части ненависти и кустарями-самоучками по части добра.

У Альбины-Бебы возникло ощущение, что ладонь ее души покрыта тонким слоем любви, как светящейся амальгамой, и что вот эта ее ладонь и есть единственно точный инструмент познания мира. Альбине-Бебе вдруг показалось, что она во всем объеме (хотя это было совершенно невозможно) поняла, что именно хотел сказать людям Иисус Христос, предоставивший каждому шанс познать мир так, как познал его Он, а именно посредством любви и... на кресте.

Потом она ни с того ни с сего подумала о двух запретах, будто бы тайно (корпоративно) налагаемых на выходящих в открытый космос космо- (астро)навтов. Первый заключался в том, что космонавту ни в коем случае нельзя было отрываться от специальных, тянущихся вдоль борта корабля поручней. Видимо, предполагалось, что руки космонавта должны находиться в постоянном контакте с творением человеческих же рук, а именно: космическим кораблем. Похоже, что все сделанное человеческими руками выступало в роли связующего звена между космонавтом и миром живых посреди мира мертвых (космического вакуума), где тот в данный момент находился. Второй запрет состоял в том, что космонавту нельзя вглядываться в кос-

мическую даль, в особенности смотреть на солнце, ибо в этом случае его душа может самовольно оставить тело, уйти в открытый космос, где летали другие (умерших людей) души. Чем-то вроде домашнего гуся, стало быть, была душа в живом теле, а души умерших, стало быть, были гусями дикими (свободными), летающими иными маршрутами. И домашняя душа (вздумай космонавт во все глаза уставиться в космическую даль или на солнце), могла, подобно домашнему же гусю (если, конечно, у него не были подрезаны крылья), сняться с птичьего двора и досрочно улететь вослед свободе, одним (и, похоже, главным) измерением которой, оказывается, была смерть.

9

Об этих (истинных или выдуманных) запретах Альбине-Бебе поведал друг отца — писатель с простой, как сама жизнь, фамилией Иванов.

Отец и Иванов вместе учились в медицинском институте, но потом Иванов сделался (не первой руки, но все же известным) писателем, а отец так и остался прозябать в кардиологическом отделении больницы.

В советские времена писатель Иванов, как рассказывал отец, процветал, каждую весну и осень отправлялся в дом творчества в Коктебель, где непременно требовал комнату с видом на море, наслаждался на балконе крымским мускатом, в то время как отец работал с девяти до шести, получал сто пятьдесят плюс двадцатка в месяц за ноч-

ные дежурства. Иванов за десять последних советских лет сменил двух жен, дважды побывал в Париже, был награжден орденом «Знак Почета», выпустил «Избранное», за которое получил астрономический (по тем временам) гонорар. А-Б (она тогда училась во втором или третьем классе и имела дело в основном с мелочью, которую ей давали на школьные завтраки) даже запомнила сумму — двенадцать тысяч рублей. А запомнила потому, что отец тогда впервые при ней громко и отчетливо выругался матом.

«...твою мать! — сказал отец на кухне. — Это больше, чем я заработал за пять лет! Неужели его произведения важнее государству, нежели... кардиология? И ведь, — задумчиво посмотрел на мать, — не сказать, чтобы в магазинах за ними выстраивались очереди...»

«Ты-то сам читал?» — спросила мать.

«Читал», — неуверенно ответил отец.

«И что скажешь?»

«Не знаю, — пожал плечами отец, — я... на стороне кардиологов».

Отец с матерью за все советское время выбрались за границу один-единственный раз — в Болгарию, которая показалась им раем.

Но вот грянула горбачевская перестройка, и все изменилось.

Иванов мгновенно обнищал. Он, как и большинство советских людей, верил в незыблемость сберегательных касс и не верил, что деньги могут обесцениться. Ценники, выбитые на алюминиевых ложках, на свинцовых тисках и подставках электромоторов, казались ему вечными, как сама советская власть.

В перестроечные годы Иванов перешел с водки на спирт (дешевле), ходил с красным носом по коммунистическим митингам, пописывал в оппозиционные газеты, которые в ту пору плодились, как бесплодные (в смысле гонораров и воздействия на реальность) грибы.

Отец же теперь пил виски и французское вино, не знал, куда девать деньги и не вылезал из-за границ.

А-Б вспомнила, как Иванов сидел у них на кухне, во-няя носками, и рассматривал новую пятитысячную купюру, которую отец вместе с запиской домработнице прилепил магнитом к холодильнику.

«Надо же, — заметил Иванов, — наверное, это новая, я еще не видел... Как-то не попадались мне выше тысячной, — развел руками. — Какого-то она... сумеречного цвета, — продолжил после паузы. — Цвета бессилия, алкоголя и напрасных надежд. Эти деньги, — презрительно отвел взгляд от холодильника, — не принесут народу счастья».

«Вот как? — удивился отец, который куда-то опаздывал, а потому не был склонен к философским разговорам о цвете денег. Отец их зарабатывал, а потому ему было плевать, какого они цвета, главное, чтобы их было много. — А какие принесут?»

«Трудно объяснить, — торопливо допил и быстро наполнил снова свой стакан Иванов, — но в этих деньгах нет... души. Есть деньги, как бы излучающие спокойствие и солидность, а есть — разорение, нищету и беду. Сейчас у нас в России именно такие деньги».

«Не знал, что ты такой специалист по внешнему виду денег, — извлек из-под магнита купюру отец и протянул Иванову, — для пополнения твоей коллекции».

«Ты не поверишь, — похлопал себя по карману Иванов, — но вся моя коллекция при мне. Знаешь, сколько ходит сейчас по стране таких коллекционеров? Раньше Россия была страной читающих людей, а сейчас это страна коллекционеров! За нее и выпьем... — посмотрел на этикетку на бутылке, — коллекционного вискаря», — опорожнил стакан.

Иванов сдавал некогда полученную по линии Союза писателей СССР квартиру каким-то торговым (они продавали компьютеры и закупали раскладушки) индусам, сам с женой обитал на даче.

Отец не только купил сразу две квартиры в доме на Кутузовском проспекте, так что получилась одна семикомнатная, но еще и стахановскими темпами выстроил в ближнем Подмоскovie похожий на небольшой замок коттедж с высоким кирпичным забором, охраной, вспомогательными службами и всем тем, что полагается при таком коттедже.

Иванов же развелся с уставшей от безденежья женой, был изгнан взрослыми сыновьями с дачи и очутился в однокомнатной квартирке где-то на окраине.

Но все равно их дружба с отцом продолжалась, хотя это уже не была дружба равных. Оказывается, в советские (наверное, еще до появления на свет Альбины-Бобы) времена Иванов не чинился тем, что он писатель, а отец — рядовой врачиска, давал отцу в долг, в частности, на подержанный «жигуль», а когда их с матерью не хотели пускать в Болгарию, даже позвонил то ли в райком, то ли в горком — поручился (как партиец) за (беспартийного и, стало быть, не вполне благонадежного) от-

ца. За эти прошлые благодеяния отец, как джинн из восточной сказки, воздавал в новой реальности другу-писателю сторицей.

В данный момент Иванов считался главным редактором глянцевого медицинского журнала, который издавался при отцовской фирме. Журнал в автоматическом режиме делали на компьютере две траченных (рыночно-издательской) жизнью девицы. Иванов, хотя и получал немалую зарплату, в редакции (комнате, где находились компьютеры и девицы) появлялся редко. Он по-прежнему поносил российскую власть, на полном серьезе утверждал, что она была сконструирована... в аду, а потом, как «антиград-Китеж», как зловонный пузырь, поднялась с его дна, крайне сожалел, что народ больше не ходит на митинги, продолжал сочинять статьи в пересыхающие, как текущие (в... ад, дабы его охладить?) реки, теряющие периодичность оппозиционные издания.

Одно из них под пугающим (видимо, газета делалась на паях с воинствующими батюшками) названием «Гнев Божий» со статьей Иванова на первой полосе Альбина Беба приобрела в метро и в метро же прочитала. Иванов доказывал в этой статье, что все надежды народа, мол, власть (под благотворным влиянием любимого народом президента) наконец-то исправится и начнет думать о его, народа, благе, в сущности, иллюзорны. Этого не случится никогда, утверждал Иванов, потому что нынешняя власть сплошь состоит из людей, которые разбогатели и пробрались в нее именно на разграблении народного достояния (природных ресурсов, нефти, газа, леса, заводов и фабрик и так далее). Они делали это не просто ос-

мысленно, а с яростной (адской?) энергией, а потому наивно ожидать, что они в одночасье изменят свои убеждения. Эти люди никогда не будут отстаивать государственные интересы России, делал вывод Иванов, потому что их деньги находятся в западных банках, а дети живут в западных странах. Неужели они осмелятся выступить против своих денег и своих детей? Поэтому, подводил неутешительный итог Иванов, Россия (при нынешней власти) обречена. Единственная возможность спасти страну — срезать, как дерн бульдозером, соскоблить, как черный нагар со сковородки, всю нынешнюю элиту, запустить во власть новых людей, для которых слова «государство» и «Россия» не пустой звук. Но кто это будет делать? — вопрошал Иванов и сам же отвечал: никто, потому что ничто так не ослабляет народ, как предательство власти.

Наверное, помнится, подумала, прочитав статью, Альбина-Беба, новая власть должна спуститься в Россию из... рая. Люди, тем не менее, разбирая газету «Гнев Божий», читали статью, свирепо вцепившись в газетный лист глазами. Им нравились простые, как жизнь, а потому легко входящие в сознание мысли. Но, попадая в сознание, эти мысли не трансформировались в волю. Знание — не есть действие, подумала, Альбина-Беба, отдавая газету сидящему рядом с ней сердитому старику, который, скосив глаза, читал статью вместе с ней, обдавая А-Б нехорошим дыханием. Действие — не акт знания, продолжила мысль А-Б, но акт мужества, точнее, мужественного отчаянья. Действие... пришла она к совершенно неожиданному выводу, — это готовность рас-

статься с жизнью, бездействие — неготовность, точнее готовность влачить ее на любых условиях и в любых обстоятельствах.

Часто, выпивая с отцом, Иванов говорил тому, что он (отец) гад и сволочь, вошь, сосущая кровь трудового народа.

Иванов, хоть и жил всю жизнь в городе, почему-то считался писателем-почвенником.

Он писал про несчастных, страдающих от нищеты и тотального бесправия «маленьких» людей, проклинал ТВ и массовую культуру, одним словом, не имел ни малейших шансов хоть как-то преуспеть в новой жизни, если бы не помощь отца. Иванов исправно выпускал (понятно, на чьи деньги) толстенные тома, за которые (как он с обидой говорил отцу) не получал ни копейки.

Впрочем, он отнюдь не был свихнувшимся на почве социальной справедливости предпенсионным митинговым придурком, этот Иванов. Альбине-Бебе нравилось с ним общаться. Он говорил о вещах не то чтобы неожиданных, но о каких Альбина-Беба понятия не имела, как, к примеру, о тайных инструкциях космонавтов.

Иванова странно тревожило все, что касалось души. Покушение на тело, говорил он, карается законом, если поймают. А покушение на душу остается безнаказанным. Это происходит потому, продолжал Иванов, что тело конкретно и единично, а душа, при том, что она сугубо персональна и неповторима, как бы растворена в некоем духовном пространстве, и вот это-то пространство как раз и атакует разная сволочь с помощью новейших информационных технологий. Альбина-Беба была девочкой впе-

чатливой. Ей тут же увиделись перепончатые, изрыгающие адский огонь ящеры, оскверняющие смердящим огнем хрустальный покой растворенных в атмосфере душ.

Иванов рьяно протестовал (правда, не в медицинском рекламном журнале, который редактировал) против тестов на СПИД, штрих-кодов на упаковке продуктов, ИНН и почему-то Интернета, усматривая в этих прогрессивных новшествах покушение на бессмертную душу, как если бы душа была птицей, которую хотели окольцевать, или скотинкой, которую хотели заклеить.

«Девочка, неужели ты не понимаешь, — горячился Иванов, — сатана там, где цифры, бесконечные и бесчисленные комбинации цифр — его среда. Почему люди несчастны? Потому что в мире нет справедливости. А почему в мире нет справедливости? Потому что одни забирают себе все, не оставляя другим ничего! Люди несчастны из-за денег. А что такое деньги? Деньги — это цифры. Что такое цифровые технологии? Это технологии ада. Заметь, любые цифровые технологии так или иначе связаны с распространением информации, то есть так называемого сигнала. Теперь, надеюсь, ты понимаешь, откуда к нам идет этот сигнал?»

России, утверждал Иванов, предельно необходим УК по защите души. Его должна разработать церковь. Но церковь, к сожалению, занималась в основном земными — цифровыми! — делами. Иванов категорически не соглашался с мнением, что для того чтобы сохранить душу в чистоте, достаточно выдернуть из розетки штепсель телевизора, не подключаться к Интернету, не слушать радио и не читать газет и журналов. Это все равно что

сказать человеку: не дыши, усмехался Иванов, человек не может не дышать, если он не будет дышать, он умрет!

«И так умрет, и эдак умрет?» — поинтересовалась Альбина-Беба.

«Что? А... Да. Получается, что так», — как-то вдруг сразу поскущел Иванов.

«Тогда о чем мы?» — поинтересовалась А-Б.

«Не знаю, — пожал плечами Иванов. — О вечном. А что вечно?» — спросил вроде бы у Альбины-Бебы, но ответил сам: — То, чего нет. Точнее, чего мы не знаем. Вся так называемая высшая нервная деятельность человека, — усмехнулся Иванов, — есть не что иное, как болтовня, домыслы, сочинение статей и трактатов о том, чего никто не знает. Так сказать, заведомо ложные размышления на недоступную пониманию тему».

Иванову, как и отцу, было немного за пятьдесят. В отличие от отца, который, хоть и пил, но пока еще выглядел относительно прилично, Иванов был похож на гнома — лысоватый, в белой бороде, маленький, но с живыми хитренькими глазками.

Альбина-Беба однажды спросила его, почему он не сочиняет новых художественных произведений, а в основном брызжущую слюной публицистику. В последней попавшейся ей на глаза статье Иванов утверждал, что беспредельное терпение — это, собственно, и есть сопротивление народа реформам. Да, писал Иванов, его называют пассивным. Но это пассивность ускользающей из-под фундаментов почвы. Рано или поздно все здания, поставленные на сопротивляющейся таким образом почве, рухнут.

Иванов признался, грустно глядя на А-Б прозрачными, как водка, глазами, что ему... скучно писать, потому что нет смысла писать о том, о чем (теоретически) можно вообще не писать, потому что нет разницы между тем, напишешь ты или не напишешь. Абсолютно ничто в мире от этого не изменится.

«В прежние годы, — продолжил Иванов, — я сидел за столом по десять часов в день. Сейчас могу просидеть от силы... двадцать минут. Это смертельное для писателя ощущение — что то, о чем ты собираешься написать... изначально никому не нужно и... никому не интересно, главным же образом, — пробормотал себе под нос, — тебе самому».

«А как вы это чувствуете? — удивилась Альбина-Беба. — Ведь речь, если я не ошибаюсь, идет о ненаписанном тексте? Это все равно что отказаться лечить больного, потому что он... от природы смертен».

«Именно так, — подтвердил Иванов, и в прозрачных — водочных — его глазах даже мелькнуло что-то вроде уважения, точнее, удивления, что А-Б ухватила его мысль. — В сущности, настоящая литература — это и есть соревнование ненаписанных текстов. Видишь ли, то, что становится известным читателю, что попадает в учебники — это всего лишь верхушка... айсберга, — Иванов поморщился от заезженного сравнения. — Остальное растворяется в сознании, отравляя, — вздохнул с тоской, — существование несостоявшимся творцам. Все мы, — вдруг весело подмигнул Альбине-Бебе, — чемпионы дистанций, которые никогда не пробежим».

«Ну, одну-то, — возразила А-Б, — от пеленки до гроба, пробежим совершенно точно».

«Знаешь,— сделал вид, что не расслышал Иванов,— когда мы обновляли в редакции технику, я уволок домой самый современный компьютер с огромным плоским дисплеем, на нем фильмы хорошо смотреть. Якобы для работы. Почему-то,— усмехнулся Иванов,— я решил, что мне нужен именно такой. Вот, мол, будет у меня такой современный, и... полетит работа, как птица-тройка. Но...— покачал головой,— когда я увидел на этом огромном экране слова, которые написал, я понял, что они никому не нужны, в особенности же мне и... этому компьютеру. Он терпел их на экране, но они раздражали его электронную душу. Я понял,— задумчиво продолжил Иванов,— что мои слова наполнены пустотой,— каким-то образом этот проклятый компьютер мне это продемонстрировал. Наверное, многие люди,— вздохнул он,— на определенном этапе жизни, как правило, после пятидесяти, теряют внутреннее содержание. По мере приближения к такому могучему магниту, естественному пределу, как смерть, воображение слабеет. Мир перестает быть цветным, становится черно-белым, предстает во всей своей несокрушимой неизменности. Его не изменить и... сдвинуть, а значит...»

«Значит, остается одно,— весело подмигнула писателю А-Б,— зарабатывать деньги и радоваться остатку жизни!»

«Я бы так сформулировал основной конфликт современности,— не поддержал эпикурейского захода Альбины-Бебы Иванов,— цифра против слова. Война цифр и слов. Цифра,— прошептал он одними губами, как будто она была где-то здесь рядом и могла услышать их разго-

вор, — убивает слово. С тех пор, — внимательно посмотрел на Альбину-Бебу, — как изобрели компьютеры, ни один писатель не написал ничего стоящего... Да, слово выходит из души, но, проходя путем цифры, оно теряет... душу».

«А вы пишете ручкой», — предложила А-Б.

«Поздно, — вздохнул Иванов, — моему слову уже не вырваться из цифрового плена. Оно перестало быть словом, но так и не стало цифрой. То есть провалилось в трещину между мирами. Я пишу... иероглифами, одинаково противными как тем, кто оперирует цифрами, так и тем, кто хранит верность слову».

Так что непрост, очень даже непрост был певец нравственности и умеренности, одинокий писатель-почвенник Иванов, проживавший после развода в однокомнатной квартире не то в Выхино, не то в Бибирево, похожий на маленького заиндевшего Деда Мороза.

Вот только подарков он никому не носил. Зато сам исправно получал у отца А-Б в виде издания своих произведений и не соответствующей затраченному на редактирование корпоративного журнальчика труду зарплаты, которую он почему-то предпочитал пропивать, а не прикапывать для улучшения жилищных условий.

Одиннадцатого сентября, когда серебристые, как смертная печаль (а может, печать), «боинги» протаранили в Нью-Йорке башни Всемирного торгового центра, Иванов оказался у них дома. Кажется, он привез отцу на его же, отца, деньги изданный том своих сочинений.

Отец, как водится, запаздывал.

Некоторое время Иванов задумчиво смотрел в огромный — домашнего кинотеатра — (цифровой) экран,

а потом заметил: «Они срезали эти башни, как ножницами. — После чего щедро налил себе в толстый стакан виски, не забыв положить туда льда. — Притом, — уточнил, подумав, — что сами были этими ножницами».

«Вы много пьете», — сказала Альбина-Беба. Ей не нравились пьяные мужчины, в особенности пожилые пьяные мужчины, которых алкоголь ослаблял умственно и физически гораздо стремительнее, нежели молодых.

«Ты не поверишь, — как из сугроба глянул на нее из белой бороды прозрачными, как льдинки, глазами Иванов, — но, в сущности, жизнь — это neverending, но everlasting повод для выпивки. Видишь ли, — продолжил он, — алкоголь смягчает и отчасти нивелирует момент осознания, что твоя обыденная повседневная жизнь превратилась в трагедию. Человек не всегда это осознает, продолжает жить, как будто ничего не изменилось, хотя сам уже, как крот внутри земли, внутри трагедии. А так как моя жизнь давно и окончательно превратилась в трагедию, я просто вынужден растворять понимание этого в алкоголе».

«Трагедию, — не без брезгливости уточнила Альбина-Беба, — которая очевидна лишь вам одному?»

«У нее бесконечно много горизонтов и уровней, как в необъятной пещере, — ответил Иванов, — и жизнь — это всего лишь перемещение по ним без надежды увидеть свет. В данный момент я одновременно присутствую в трех трагедиях: моей личной, их... — кивнул на экран, — и... твоей. Разве это не повод, чтобы выпить?»

«Не повод», — твердо, как разрубила тупым ножом сухую корку, заявила Альбина-Беба.

«Конечно, нет, — с легкостью бывалого алкаша согласился Иванов. — Знаешь, за что я в данный момент пью? Не за плавное перемещение из жизни в трагедию или обратно. За продолжение жизни!»

«Чьей?» — удивилась Альбина-Беба. Телевизионная картинка решительно не наводила на мысли о продолжении жизни. Напротив, наводила о массовом ее пресечении.

«Всего лишь своей», — поставил на стол стакан с виски Иванов.

Некоторое время они молча смотрели друг на друга сквозь сгущающиеся сумерки, принизываемые рвущимися с телевизионного экрана огнем и дымом.

Альбина-Беба вдруг поняла, что Иванов не врет. Логика происходящего была такова, что, в принципе, ему нечего было делать в этой жизни. Никому он был не нужен, как и его, издаваемые за деньги отца, сочинения. Правда, то же самое можно было сказать о подавляющем большинстве людей. Но, в отличие от них, Иванов мог осмыслить ситуацию, сконструировать некую умственную схему и, следовательно, прийти к каким-то выводам. А через выводы, точнее череду выводов, к решению.

А-Б подумала, что люди крайне редко приходят к правильному решению. Гораздо чаще растекаются по плоскости этого самого решения (алкогольными) слезами и (мысленными) соплями. Правильные решения всегда просты. Но человек изначально лишен воли свободно уйти из жизни. А-Б недавно прочитала, что человеку достаточно трудно покончить с собой, пока его половая система функционирует нормально и он, следовательно, способен к размножению. Когда в силу каких-то причин

(старения, травмы, болезни и так далее) функция исчерпывается, слепая природа перестает цепляться за человека, что кардинальным образом упрощает досрочный исход. А-Б подумала, что если верить этой теории, она вшита в жизнь, как золотая нить в гобелен, а Иванова держит на гобелене одна лишь сила статического электричества, того самого, которое похабно влепляет юбку в бедра. Но мысли почему-то ей (золотой нити) и Иванову (нити практически перетертой и оторванной) приходят в голову одни и те же.

Она вспомнила, как однажды пришла домой и наткнулась на рыдающую мать.

«Что-то случилось?» — испугалась Альбина-Беба. Она почему-то сразу подумала, что убили отца.

«Я не могу, не могу... — широко мотала она головой (А-Б как медик отметила, что у матери нет остеохондроза шейного отдела позвоночника), заливаясь слезами, — мы все, все умрем! Все до одного! Какие это были великие люди, — кивнула невидящими глазами на книжную полку, где стояли жизнеописания Александра Македонского, Ганнибала, Ницше, Сталина и неизвестно как затесавшегося в эту компанию поэта Саши Черного, — но они все, все умерли! На них молились тысячи людей, они повелевали судьбами государств, определяли ход истории, и где они сейчас? Их нет...»

А-Б попыталась утешить мать, стала говорить, что да, те люди умерли, а многие другие, к примеру, сама мать и она, Альбина-Беба, живы, так что...

«Даже этот... в черном пальто, — вдруг перебила ее мать, — ну, с сизой мордой, который всегда стоял с клю-

кой у магазина, и тот... умер, мне вчера Зина, продавщица, сказала... Прямо в пальто умер, стоя. Знаешь, — схватила А-Б за пуговицу мать, — когда ему стали делать искусственное дыхание, давить на живот, они расстегнули ему штаны. У него стоял! Сам умер, а ... у него стоял. Зина сказала, что она такого огромного не видела. Ты же врач, скажи, разве так бывает?»

А-Б явственно учуяла исходящий от матери запах алкоголя. Они сопьются, с грустью подумала она про родителей, Господи, ну почему так несовершенен мир? Ей показалось, что она плавно и незаметно перемещается в трагедию, переходит с одного горизонта бытия в другой. Но тогда она еще не могла отчетливо это сформулировать, а потому просто... расплакалась. И уже мать, забывшая про смерть великих людей и странную стоячую (во всех смыслах слова) смерть бомжа в черном пальто с клюкой у магазина, рассеянно гладила А-Б по голове, приговаривая, что та молодая и все у нее впереди.

«Знаешь, почему я решил задержаться?» — спросил Иванов у продолжавшей наблюдать по CNN прямую трансляцию из Нью-Йорка Альбины-Бобы.

Трансляция без конца перебивалась снятыми ранее сценами. Крохотный человечек вылетал из окна горящего небоскреба и по длинному эллипсу летел вниз, конвульсивно дергая руками и ногами, как неустойчивый знак препинания.

«Потому что я понял, что каждая отдельно взятая человеческая жизнь — это... разговор с Богом. Ну, не прямой, конечно, диалог, а так сказать, перемещение шкалы настройки мысленного транзистора в диапазоне радио-

волн Божественного присутствия. Что-то там иногда удастся поймать и даже расслышать. А иногда — полнейшее, стопроцентное радиомолчание, которое тоже... разговор. Не в воле человека его прерывать, произвольно ставить точку. А если нет сил длить, — посмотрел на экран Иванов, — Господь дает знак...»

«Какой знак?»

Летащий по длинному эллипсу из окна небоскреба человек не был похож ни на один знак и одновременно похож на все знаки сразу.

«Хотя бы такой, — вздохнул Иванов, длинно отпив из стакана с виски, — что нет никакого знака».

...Альбина-Беба не знала, зачем и почему она вспоминает писателя Иванова, произведения которого ей не нравились. Ей было не отделаться от чувства, что она — космонавт, нарушивший сразу две (если верить Иванову) заповеди. Она не только оторвалась от поручней корабля, но еще и выставилась прямо в самое лицо холодного космического, в змеях-лучах солнца, и солнце, как магнитом, вытянуло, как... крылатый коктейль, выпило ее душу.

Во всяком случае, Кутузовский проспект, по которому А-Б в данный момент шла, его могучие дома, редкие, задыхающиеся в выхлопном смоге лысые деревья, похожие на освенцимских (если такое, с поправкой на газовую камеру, сравнение применимо к деревьям) узников, карминные (выкрашенные суриком) и ослепительные (оцинкованные) крыши, воткнутые в небо шпили и башни, и даже мертвые от бензина и грязи водяные кольца Москвы-реки с перекинутыми через них модернистскими стаканистыми

мостами, — все вдруг, включая упругое тело Альбины-Бебы, осталось внизу, в поздней по-летнему жаре.

Душа же Альбины-Бебы, легко оборвав нити прежних привязанностей, оставила (отряхнула с себя) земной мир, узрела с невозможной сумеречной высоты суть вещей, и нельзя было сказать, чтобы обрадовалась, удовлетворилась ею. Ибо отделенная и отдельная от вещей суть не сильно отличалась в смысле суетности, необязательности и ложности от оставшихся внизу вещей, являлась как бы их слегка облагороженным отражением. А-Б читала в какой-то книге, что в старину были зеркальных дел мастера, которые изготавливали зеркала, в которых люди выглядели значительно лучше, чем были на самом деле. А были мастера-хулиганы, изготавливающие зеркала, глядя в которые люди постепенно сходили с ума, не в силах выносить собственное уродство. Этих, с позволения сказать, мастеров частенько сжигали на кострах, что, однако, не вразумляло других, которые продолжали делать аналогичный продукт.

Прощально (и прощающе) поднявшись над сутью, Альбина-Беба мимоходом все же отметила, что, пожалуй, есть внизу (в суете) люди, с которыми ей было не то чтобы жаль распрощаться навсегда, но которым она хотела бы сказать (а может, услышать от них) что-то такое, что... Альбина-Беба сама не знала. Но почему-то полагала, что этим людям будет важно сказать (услышать) то, что она им скажет (от них услышит).

Не так-то много было этих людей. Отец, мать, еще почему-то... белобородый, заиндевевший от виски и заледеневший от одиночества и тоски писатель Иванов.

А дальше пошли совсем странные люди — два парня, которых А-Б видела у отцовского «мерседеса», предполагаемый И-Х, умчавшийся прочь на приземистой красной иностранной спортивной машине и... Ильябоя, про которую Альбина-Беба что-то мучительно вспоминала, но никак не могла вспомнить. Какая-то очень важная подробность была связана с горизонтальным белым бантом. Она могла все разом изменить, но не меняла решительно ничего, потому что А-Б не могла ее вспомнить.

Альбина-Беба поймала себя на мысли, что ей не жаль этой жизни. До сего времени она совершенно не помнила мгновения своего рождения, когда она вышла из пузыря с плацентой и задышала легкими. А тут вдруг она ясно (как будто уже тогда, в первый день рождения, у нее были память и сознание) вспомнила это знаменательное мгновение и, более того, поняла, что точно так же, как она ничего не помнит про ту — внутри темной, как ночное небо, плаценты — жизнь, так (весьма вероятно) она в свое время не будет помнить и эту, которую в данный момент оставляет. Тогда с нее схлынула плацента, внутри которой была растворена ее жизнь. А сейчас — схлынуло тело, внутри которого была растворена ее душа. И еще она поняла, что...

Альбина-Беба чудом ухватила душу за хвост (если, конечно, у души, как у птицы, рыбы или зверя имелся хвост), вернула ее на место. Однако нюхнувшая (если, конечно, у души был нос) свободы душа вернулась во (временно) родное тело немного иной — надменной, горделивой и сумрачной, как бы опаленной космическим ледяным огнем. Альбине-Бебе было не отделаться от ощущения, что душа ее треснула, как чашка, что она еще

может стоять где-нибудь на кухонной полке, допустим, закрывая пятно на штукатурке, но вот пить из нее уже нельзя, нет, нельзя. Хотя при этом Альбина-Беба не вполне понимала, чем, собственно, она (душа) вздумала гордиться и отчего решила так капитально грустить?

И еще Альбине-Бебе вспомнились слова Иванова, что в момент отрыва (выхода, исхода, отлета и так далее) души из (от) тела в угасающем сознании обязательно вспыхивает, как лампочка (светящаяся реклама, лазер, неоновый светильник и так далее)... цифра. Причем не просто так, неизвестно откуда взявшаяся, а та, которая всю жизнь сопровождала человека.

Иванов продолжал пить виски, а потому уже не мог вразумительно объяснить, что это за цифра. Впрочем, это и так было ясно из его предшествующих объяснений.

«А вас, наверное, — помнится, с отвращением посмотрела на него, в очередной раз тянущего руку к бутылке, А-Б, — на тот свет проводит буква?»

Преследующие людей как апокалиптические железные птицы цифры были, вне всяких сомнений, проявлением той самой странной, склонной к утрюмому юмору силы, которая не есть добро (Бог) или зло (сатана), но есть что-то третье, что, собственно, управляет миром. Что некогда создало мир, а теперь неуклонно его разрушало. Вся человеческая жизнь, в принципе, укладывалась в цифры: когда родился, умер, сколько прожил, сколько заработал, скольких родил детей, сколько было жен (женщин) и так далее.

Вернувшись в мир, управляемый силой, Альбина-Беба подумала, что главные беды людей проистекают от

двух вещей. Во-первых, человек склонен все усложнять, а не упрощать. Во-вторых же, он очень редко был абсолютно искренним, в особенности перед самим собой. Ибо искренность (в особенности перед самим собой) была чем-то вроде бесстрастной медицинской карты (истории болезни), куда записывалась (сама собой писалась) истина, а люди во все века любили читать чужие медицинские карты и не любили читать свои. Отчего-то человеку (мужчине или женщине, не важно) было невыносимо трудно, практически невозможно признаться себе: «Да, я трус» или «Увы, я блядь». Тут же к делу подключалось суетно-лживое усложнение, которое уводило (маскировало) горькую истину в неправильный, виртуальный, в смысле существующий исключительно внутри конкретного сознания мир. Видимо, это происходило потому, что вопросы эти (иногда) задавала слепленная из истины, как из Божественного пластилина, душа, а отвечало на них сознание, точнее, сознание плюс тело, то есть сугубо смертная (расходная) часть человека.

Альбине-Бебе вдруг открылось, что в виртуальном (лживое сознание плюс смертное тело) мире истина невозможна, что этот мир, в сущности, и есть бегство от истины в мнимое, выполняющее роль анестезии, усложнение. Особенной анестезии, которая не готовит к исцеляющей операции, но, напротив, делает ее изначально невозможной. Следовательно, подумала Альбина-Беба, искусство клипа — последнее и самое правдивое на земле искусство, потому что оно несет конечную истину о человеке. Истину, заключающуюся в том, что человеку не нужна истина, а нужны бессмысленные вир-

туальные усложнения, в какую бы сторону ни двигался разум, а следом тело. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней, вдруг вспомнилась А-Б странная русская поговорка. Именно здесь, поняла Альбина-Беба, и расходятся две прямые линии, задуманные некогда как параллельные, а именно: человека и Бога. Здесь теряет волну, настроенный на улавливание Божественных радиоволн транзистор. Знать, потому, сделала она неожиданный вывод, человек и смертен, точнее, бесконечно, абсолютно и, в конечном счете, исчезающе смертен.

10

А-Б было не отделаться от ощущения, что время не просто замерло, но бесконечно раздвинулось даже не столько в пространстве проспекта, по которому она в данный момент двигалась упругой девичьей походкой, сколько в ее сознании. Альбине-Бебе доводилось почитать эзотерических писателей, которых, к примеру, застиранная временем до костного свечения сквозь пергаментный абажур кожи старушка-философия полагала шарлатанами и агентами ЦРУ.

Она сказала А-Б, что шум вокруг Кастанеды был поднят исключительно для того, чтобы легализовать такой наркотик, как мескалин. А движение так называемых хиппи в семидесятых годах придумали... транснациональные фармацевтические компании, разрабатывавшие новое поколение транквилизаторов. Им было необходимо

провести ряд биологических экспериментов на больших массах людей разных национальностей, для чего они запустили в среду хиппи галлюциноген ЛСД.

А-Б поинтересовалась у старой коммунистки, зачем транснациональным фармацевтическим компаниям надо было экспериментировать с большими массами людей разных национальностей?

«Я думала, ты умнее, — грустно покачала та седой, воздушно-пушистой, как одуванчик, головой. — Неужели тебе никогда не казалось странным, что люди во всем мире употребляют одни и те же лекарства?»

«Нет. Что здесь странного?» — удивилась А-Б.

«Люди разные, — сказала старая коммунистка, — разный климат, разные традиции, разное питание, а лекарства одинаковые. Мир управляется посредством... медицинских препаратов, — выдала она Альбине-Бебе страшную тайну. — В каждую, слышишь, в каждую таблетку, в каждую жевательную резинку, не говоря о всяких там витаминах, кока-коле, чипсах и прочей дряни, подмешивается что-то такое, что делает людей покорными и слабыми, то есть неспособными к сопротивлению. А если, — горько вздохнула помешавшаяся старушка, — надо уничтожить какую-нибудь страну, например СССР, то для нее разрабатывается специальная таблеточная программа, и тогда такие слова, как “демократия” и “свобода” активизируют в массовом сознании агрессивно-положительные эмоции, а такие, как “социальная справедливость”, “порядок”, “государство” — исключительно пассивно-отрицательные. Может быть, ты не помнишь, но я-то совершенно точно помню, что накануне первого

голосования за Ельцина, запомнила, куда его избирали, кажется, в Моссовет, когда он набрал девяносто девять, что ли, процентов, в Москве была эпидемия гриппа, и все как сумасшедшие жрали какие-то импортные таблетки. В мире нет, слышишь, нет ни одной, я подчеркиваю, ни одной чисто национальной фармацевтической компании, все — транснациональные, с засекреченным капиталом! Одни китайцы еще сопротивляются, держатся за тибетский медицинский канон, — при воспоминании о сопротивляющихся китайцах голос преподавательницы потеплел, — но и их скоро дождут», — не стала, впрочем, строить иллюзий она.

«А как вы лечитесь?» — спросила Альбина-Беба.

«Я уже двадцать лет не принимаю никаких таблеток, — ответила старушка, — а потому не болею».

«Вы преподаете в медицинском институте, — возразила А-Б, — и отлично знаете, что так не бывает».

«Бывает, — не согласилась упрямая старушка, — недопомогания, которые я испытываю, носят не физический, телесный, а духовный характер. Я лечусь... голодом, движением и холодной водой. Поверь, девочка, это очень эффективное лечение. Особенно для массового, так сказать, пациента».

А-Б вспомнила, как недавно простудилась: не ходила в институт, лежала с книжкой под пледом на диване, а мать носила ей микстуры, горячий чай с медом и лимоном, протертую малину с сахаром и непрерывно кормила. Лечение голодом, движением и холодной водой показалось ей варварским. Лучше умереть, чем так лечиться, подумала А-Б, массовый пациент не выдержит.

Альбина-Беба знала, что подобного рода странные состояния называются у эзотерических писателей «перепросмотр» жизни. Предполагалось, что «перепросматривающий» прежнюю свою жизнь человек находится на пороге очередной инициации. Альбина-Беба не подписывалась под очередную инициацию, а потому неуместное раздвижение рамок бытия показалось ей не вполне обоснованным. Как если бы она вдруг увидела летящего по небу благовещающего ангела или вылезающего из развершейся адской бездны матерящегося беса. А-Б даже попыталась вспомнить, не принимала ли она сегодня или вчера какие-нибудь таблетки?

В этот самый момент сквозь витринное стекло компьютерного магазина «Белый ветер» с самого большого (цифрового) экрана неожиданно грянул рекламный ролик банка «Прицел».

«Сердце мое,— задушевно произнес бархатный баритон,— это память,— на экране появились ухоженные лубочные дедуля и бабуля, усевшиеся на скамеечку в осеннем парке,— это дело всей жизни,— энергичный дядя за столом богатого офиса в дорогом костюме лихим росчерком золотого пера подписал весьма выгодный, надо думать, контракт,— это надежда,— на зеленой, райской, не иначе, лужайке возникли играющие детишки,— это вера и любовь,— белокурая тетя с трогательными морщинками под глазами шла, улыбаясь, мимо церкви под ласковый колокольный звон.— Вклад в “Прицел”,— продолжил отвердевающий, как суперклей, баритон,— это вклад в жизнь, которая, как и великий Пушкин, наше все!»

На экране вдруг грянул какой-то уж слишком натуральный взрыв.

Альбина-Беба даже отпрянула от витрины, сквозь которую звук рекламного ролика проходил как сквозь воздух, как будто и не было никакой витрины.

Деловитый дядя, только что подписавший золотым пером выгодный контракт, вдруг разлетелся по кабинету (и одновременно по осеннему парку, райской лужайке и в виду церкви) фрагментами, как если бы был составлен из картонных «пазлов», перемешанных чьей-то злой рукой. Далее пошли (что еще?) похороны — безутешная красавица (трогательных морщинок под глазами заметно прибавилось) в трауре, горестно склоненные нежные головки детей, мужающиеся дед и бабуля, сосредоточенный батюшка в черной скуфейке. Красивый лакированный гроб уже почти опустился в яму, как вдруг кадры двинулись назад: гроб, как гриб, выпростался из ямы, пришедшие на похороны люди спинами вперед ввинтились в машины, которые задом унеслись сквозь кладбищенские ворота, разметанный на «пазлы» дяденька чудесным образом собрался. На экране обнаружили ряды замороженных стеклянных реторт, внутри которых в ледяном азотном дыму пульсировали сердца. Нет, не натуральные (донорские) мясо-красные, в прожилках, страшные на вид (как все внутренние органы) сердца, а символические, напоминающие карточную масть «черви», какие пронзает стрелой кудрявый Эрот. Такое сердце, вдруг вспомнилась А-Б картинка из книжки про волшебника из Изумрудного города, было вложено в грудь Железному Дровосеку. И вот деловитый дядя — помолодевший, на-

бравший умными глазами дополнительной синевы, так что все бабы будут падать штабелями (насыщенный цвет глаз, как известно, свидетельствует о высочайшем жизненном тоне и могучей потенции), снова подписывает уже не золотой, а платиновой с бриллиантами ручкой новый — еще более выгодный — контракт. «Он сделал вклад в “Прицел”. Ему пришла на помощь “Прохлада”. “Органайзер” сохранил и вернул ему жизнь. И увидел Бог, — пронзительно (как иглой в душу) прошептал баритон; на экране замелькали филиалы “Прицела” и “Прохлады” в разных городах, не только в России — возле “Медного всадника” в Питере, у памятника партизанам, которые, если верить песне, “штурмовали города”, во Владивостоке, — но и у Эйфелевой башни в Париже, возле Тауэра в Лондоне, — что это хорошо. А что хорошо Богу, то хорошо всем нам!»

«Хорошо ли?» — миновала, почти не касаясь ступнями асфальта компьютерную витрину, Альбина-Беба. Ей показалось, что ее поднял и понес, как скомканную газету или полиэтиленовый пакет, этот самый непонятно какое отношение имеющий к компьютерам «Белый ветер». Не так-то много, если вдуматься было в компьютерах белизны (разве что в цвете экранной заставки «Microsoft Word») и ветра (разве что в теплой вентиляционной волне из прорезей в корпусе).

А-Б поднял в воздух и понес другой «Белый ветер».

Ей сделалось грустно оттого, что если Бог что-то и увидел на огромном цифровом экране, так это обман. Она подумала, что мир — вместилище, переплетение энергий, как переплетение мышц под кожей. Перелива-

ющаяся через край цифрового экрана, как вино из переполненного стакана, энергия была энергией обмана, и прежде всего Бога, поскольку происходила из предложения (за деньги) несанкционированного продолжения жизни тем, кому (по воле Божьей, как иначе?) было предназначено с ней расстаться, вроде того распавшегося на «паззлы» дяденьки.

Почему так нехороша жизнь в России? — подумала Альбина-Беба.

И сама же ответила: потому что те, кому надо жить, умирают, а кому не надо — не просто сами живут, но еще и убивают тех, кому надо жить. Все наоборот и в геометрической прогрессии. Новая формула: «деньги—жизнь—товар» разрушала старую: «жизнь—смерть—Бог». А-Б показалось, что эту мысль вполне можно причислить к «длинным», то есть объясняющим суть вещей. А еще показалось, что каждая «длинная» мысль — это как перо в ее (умозрительных) крыльях. Что, оперившись длинными мыслями, она взмахнет крыльями и полетит... куда?

Но как это сделать?

Альбина-Беба отдавала себе отчет, что Бог тут ей не помощник. Не для того Бог заключил людей в тела, чтобы они по своему разумению выходили (вылетали) оттуда, как из накуренных помещений, опостылевших интерьеров. Не вполне устраивал А-Б также путь голода, движения и холодной воды, ведущий в тупик мирового заговора. Помочь в этом деле могла только склонная к угрюмому юмору управляющая миром сила.

Вообще-то, это понимали многие. Здесь болезненно вибрировал столбовой (стволовой?) нерв мировой литера-

туры, лежал ее краеугольный камень, придушенно дышал основной инстинкт. Немало достойных парней истощили (задушили?) в этой борьбе свои души, проиграли сражения, капитулировали (в лучшем случае) обратно в тело.

Альбине-Бебе было бы бесконечно грустно и одиноко в Божьем мире, если бы не присутствие в нем безымянной силы, которую она наблюдала как зачарованный зритель в театре, билет в который, в принципе, можно было и не покупать, потому что он был везде. Театр в полном составе (режиссеры, драматурги, труппа, осветители, рабочие сцены и гардеробщицы, выдававшие бинокли) ходил по пятам за Альбиной-Бебой, как если бы она была той самой вешалкой, с которой начинается театр, единственным зрителем, ради которого он существовал. Вот только Альбина-Беба не понимала, почему именно она удостоена такой чести? За какие такие заслуги ей выпало счастье воочию видеть то, чего нет, что правит миром, не существуя?

Неужели только потому, что меня... Она не успела додумать мысль до конца, потому что выезжающая из подворотни машина неожиданно ослепила ее пронзительным светом фар. Перед глазами возникла настоящая стена белого света, в которую А-Б храбро, как... в холодную воду?.. шагнула. Но машина с ревом свернула на проспект, обдав А-Б горячей железной волной.

— Урод! — заметила притулившаяся у входа в аптеку с пластиковым стаканчиком (для милостыни) в руке пенсионерка в круглых очках. — Он чуть тебя не убил. Под Богом ходишь, доченька. А может, — добавила, задумчиво посмотрев на Альбину-Бебу, — это была летающая тарелка?

Альбина-Беба жила в Москве — столице России, странном пепельно-синем городе с недолговечными (построенными на скорую руку из некачественных материалов) небоскребами-новоделами (А-Б своими глазами видела объявление о продаже в одном из них двухуровневых квартир по миллиону долларов), сияющими в ночи стеклянными мостами-галереями, незаполненными (по причине дороговизны) ресторанами, калейдоскопичными витринами, где выставлялись очень дорогие и очень непрактичные товары.

Альбина-Беба подозревала, что синий свет — это угарный, наркотический смог (в Москве было ненормально много машин), а пепельный — несбывшиеся надежды населяющих этот город людей. Но улицы были присыпаны и пеплом живым — лишенными крыши над головой существами, перемещающимися в пространстве со своими пожитками.

Концентрация несбывшихся надежд в московском воздухе настолько превосходила предельно допустимый уровень, что порождала новую (наркотическую) реальность. Даже люди, у которых не оставалось никаких надежд, вдыхая синий пепельный воздух, начинали фантазировать, что жизнь продолжается, что еще не все потеряно, что есть еще порох в пороховницах, соль в солонках, а сахар в сахарницах так просто некуда девать.

Смог, как часть (проявление) силы, отравлял сознание людей.

Силе нравилось взаимодействовать с человеком в наркотические моменты, когда тот что-то планировал,

что-то пытался предпринять, когда тому казалось, что жизнь — глина, а он — скульптор, придающий ей нужные ему, скульптору, формы. Иногда, впрочем, сила помогала вгонять жизнь в замышляемые формы, но делала это столь грубо, что наполняла душу человека (если тот не был законченным идиотом) не радостью, но отвращением и ужасом. Однако гораздо чаще сила убедительно демонстрировала человеку, что он — ничто и ему — никак. В этом смысле сила как бы стояла на страже бороды Господа Бога (если, конечно, у того имелась борода), за которую так и норовил ухватиться тот или иной мечтатель. Сила, мрачно посмеиваясь, отгоняла от бороды жадные тянущиеся ручонки, как надоедливых мух.

Альбина-Беба не знала, почему, проходя вечерним сине-пепельным Кутузовским проспектом у сине-пепельной же, вознесшейся овальным столбом в небо «Башни-2000», перед которой, воздев клинок, сидел на коне князь Петр Багратион, она вдруг ни с того ни с сего подумала о тайном правительстве, якобы управляющем миром, о том, что все в жизни человечества предопределено и известно наперед, но не всем, а лишь причастным к делам мирового правительства. Видимо, странный, замаскировавшийся тонированным (как шпион черными очками) стеклом, растянувшийся вдоль улиц шикарными витринами, с бомжами, как вшами на изысканном вечернем наряде, город Москва располагал к размышлениям о заговоре. Альбина-Беба подумала, что, в сущности, Россия управляется по принципу заговора, которому (в процессе достижения результата) придается соответствующая (приемлемая для населения) форма. В этом

смысле Россия была похожа на остальной мир, а заговор — на ту самую силу, которая, не существуя, управляла миром. Если где и заседать мировому правительству, решила Альбина-Беба, так только на верхнем этаже «Башни-2000», откуда мир кажется синим пеплом.

Еще она подумала, что в принципе миром невозможно управлять, не познав природы разлитой в воздухе силы. Нынешние управленцы ошибочно полагали, что это золото, деньги. А-Б подумала, что, пожалуй, миром управлять можно, если мысленно допустить, что он ничто, с которым можно сделать все. Но ведь в этом случае и деньги — ничто. Мир был управляемо неуправляем. Или наоборот — неуправляемо управляем. А-Б пожалела, что рядом нет тонкой, как пергаментный лист, преподавательницы философии. Ей, вероятно, понравились бы эти мысли. А вот мысли, что нет принципиальной разницы (результат один), как управлять миром — деньгами или идеями, вряд ли бы ей понравились. Она считала, что неизбежная массовая нищета (при денежной схеме управления) хуже неизбежного массового страха (при «идейной» схеме управления). А ведь в чьей-то гениальной голове, не сомневалась А-Б, наверняка зреет идея синтеза нищеты и страха. Видимо, вздохнула она, за этой — универсальной, на все времена, точнее, до скончания времен, — схемой — будущее.

Не следовало забывать, что сила играла только в те (в том числе и социально-общественные) игры, правила которых определяла сама. Человеку было не отвертеться от игры, как бы он к тому ни стремился, каким бы ненавистником игры ни являлся. Другое дело, что кому-то здесь могло

здорово повезти. Но если человек должен был ставить на кон собственную жизнь (иных ставок сила не признавала), сама она выступала в роли крупье, который никогда не проигрывал и вряд ли чем-нибудь рисковал. А может, проигрывал и рисковал, но никто не мог знать этого доподлинно, потому что (для человека, по крайней мере) все (в назначенное время) заканчивалось именно здесь и сейчас, на рубеже, где поставил его часовым Господь Бог, наказав не только: «Ни шагу назад!», но и «Ни шагу вперед!»

А-Б подумала, что ее пост — странный, пепельно-синий, утопающий в деньгах и идеях, нищете и страхе город под названием Москва, частью которого она является точно так же, как смог частью силы. Она потащит его за собой, как хвост, в иные измерения, размышлять о которых было столь же бессмысленно, как размышлять об электронах внутри электромагнитного излучения, параллельных мирах или инопланетянах.

Альбина-Беба давно обратила внимание, что летняя жара в Москве непереносима. До полудня солнце раскаляло асфальт и фасады домов. После полудня асфальт и фасады работали по принципу обогревателей, превращая воздух в нечистую, горячую, с дымным запахом подушку, которая давила (душила) оказавшихся в этот час на улице людей. Вечерняя прохлада была ликвидирована как класс. А-Б вдруг вспомнила, что именно в страшные летние месяцы московское отделение страховой фирмы «Прохлада» заключает максимальное количество договоров. Город существовал в нездоровом декадентском режиме затяжных, как экзамены по окончании одиннадцатого класса, сумерках, которые длились с полудня до утра.

Июльская жара в Москве свидетельствовала об исчерпанности и конечности (разве можно существовать в таких условиях?) цивилизации, но занятые своими делами люди этого не замечали. Некоторым из них определенно казалось, что самое лучшее в их жизни еще впереди, хотя это было совсем не так.

Альбина-Беба подумала, что так не возбраняется думать в восемнадцать, как ей сейчас, лет. Но отчего-то грядущее «лучшее» не выстраивалось в ее сознании, как если бы ей вечно должно было оставаться восемнадцать. Она не знала, чего конкретно хотела от жизни во времени и пространстве, а потому не хотела от нее ничего, как если бы у нее не было в запасе ни времени, ни пространства или была в запасе вечность. Но ведь известно, что, если человек ничего не хочет от жизни, она предлагает ему свои варианты — помещает в другое — необъяснимое — время и пространство.

Альбина-Беба остановилась у витрины спортивного магазина.

Вечернее солнце уже закатилось за крыши, и пепельно-синий воздух сгустился, как если бы городу в глотку лили расплавленный свинец, а он, город, без видимого для себя ущерба этот свинец употреблял да посмеивался. Тренировочные (почему-то тоже все больше пепельных тонов) костюмы, похожие на огромных железноногих насекомых тренажеры, кроссовки и бейсболки утонули в расплавленном свинце, а отражение Альбины-Бебы, напротив, отпечаталось на стекле изумительно четко, как на старинном (свинцовом же, но твердом) дагерротипе.

Я прекрасна, подумала без ложной скромности Альбина-Беба, рассматривая свои русые волосы, темно-зеленые глаза, длинные стройные ноги, тугие, нестесненно разместившиеся под фиолетовой с серебряными вкраплениями футболкой груди. «Как набухшие почки», — сделал ей сомнительный комплимент проходивший мимо восточного вида мужчина. В исступленную летнюю жару он думал о весне. А потом, значит, будут как... опавшие листья?.. с грустью подумала А-Б. А вдруг, мысль, как мячик, прыгнула в сторону, он имел в виду... другие, какие пересаживают в отцовских клиниках, почки? Неужели он хочет меня похитить?

Очевидная красота Альбины-Бебы мужественно противостояла уродству перегретого мира. Альбина-Беба даже подумала, что у человеческой цивилизации и России, в частности, есть шанс и этот шанс — юность (распускающиеся под футболками весенние почки), точнее новые подходы к старым вещам. Но юность, как известно, была товаром расходуемым, а в России расходуемым мгновенно и безрезультатно, точнее, с отрицательным результатом. Страна владела уникальной технологией ускоренного превращения почек в опавшие листья, стремительного и вредоносного (для окружающей среды) истребления физиологического ресурса.

А-Б вдруг вспомнилась ночная бабочка, незаметно присевшая на сушившееся на веревке на даче пляжное полотенце со сложным темным рисунком. Она была неразличима на нем, как капля на поверхности воды. Но когда Альбина-Беба стала снимать полотенце, ушастая коническая бабочка обозначила свое присутствие, мазнув Аль-

бину-Бебу по лицу невесомым тельцем, как колонковой кисточкой. И пока Альбина-Беба разворачивала на траве огромное, как парус, полотенце, бабочка упорно старалась воссоединиться с ним, не понимая, что полотенце, пусть даже в один цвет с ее крыльями, — это не то место, где следует укрываться.

Альбина-Беба подумала тогда, что и она, как ночная бабочка с полотенцем, тщетно хочет слиться с жизнью, точнее с тем ее измерением, которое можно обозначить как «тихая радость бытия», хотя, в отличие бабочки, понимает, что на этом полотенце надолго не спрячешься.

А сейчас А-Б подумала, что, собираясь лечь на полотенце, она выступала (по отношению к бабочке, по крайней мере) в образе той самой управляющей миром, склонной к угрюмому юмору силы, относящейся к тихой радости бытия, как к какому-то недоразумению. Хотя, конечно, трудно было понять, какой такой юмор (для бабочки) заключался в том, что Альбина-Беба должна была раздавить ее невесомое тельце своим пружинистым юным телом.

Она явственно (как если бы и впрямь была бабочкой) ощутила порыв ветра, то ли сгоняющий ее с полотенца, то ли срывающий с веревки само полотенце. Глупо, подумала Альбина-Беба, прятаться на полотенце, которое уносит ветер. Это было все равно что строить дом на льдине. Но с другой стороны, ведь окружающий человека мир как раз и был полотенцем (льдиной), а человек — прилепившийся к ним бабочкой, взыскующей тихой радости бытия.

Ей хотелось оставаться невидимой (то есть живой) вечно, но она понимала, что это невозможно. В любой момент жизнь (сила) могла лихо вытереть полотенцем

(на котором подобно глупой ночной бабочке укрывалась Альбина-Беба) жирные волосатые чресла.

Отчего-то жизнь (сила) иногда представляла перед Альбиной-Бебой в образе жирного волосатого мужика, определенно восточной наружности, вроде того, который только что сравнил ее груди с весенними (она надеялась) почками. Наверное, это был какой-то фрейдистский комплекс: она боялась таких мужчин, но... почему-то часто (и нескромно) о них размышляла. Они представлялись ей элементарными носителями мужской сущности без поправок на разного рода умственные комплексы. Эти мужчины знали толк в торговле, а потому легко и просто (как дышали) реализовывали свои половые инстинкты. В иные (редкие) моменты А-Б были по душе эта простота и эта легкость.

В остальные же (за вычетом редких) моменты ей не нравился мир, в котором она жила. Этому миру не было дела до ее мыслей, ее предполагаемых талантов, ее остро чувствующей несовершенство и несправедливость души, зато было — до ее длинных ног, упругих грудей, блестящих темно-русых волос и зеленых глаз. Мир хоть сейчас был готов пустить в расход ее тело, но решительно не нуждался в ее душе. Альбина-Беба сделала вывод, что у мира нет души. После двух с лишним тысяч лет христианства мир вернулся в языческие времена, когда критерием гармонии между людьми и управляющей ими силой служили приносимые в жертву (как правило, молодые и красивые) тела. По крайней мере, столица России Москва удивительно походила на огромный алтарь для жертвоприношения этих самых тел.

Альбина-Беба шла по проспекту едва ли более получаса, но ей уже трижды развязно (грязно) подмигивали из припаркованных машин. Кавказец, а может, араб с широкими, как обувные щетки, усами под носом, пригласил ее присесть рядом с ним за столик в кафе, отведать редкого, но очень ценимого восточными людьми блюда — жареных бараньих кишок. Худошавая интеллигентная дама у витрины спортивного магазина, внимательно оглядев Альбину-Бебу, плотоядно облизнула губы: «Хочешь, я куплю тебе купальник?» Наконец, промчавшийся встречным курсом скейтбордист в размазанных на ветру льняных штанах успел бросить на ходу (лету?): «Если у тебя есть деньги на пиво, я покажу тебе такую штуку...»

Послав его куда подальше, Альбина-Беба, тем не менее, отметила, что его предложение, хоть и примитивное, но, пожалуй, наиболее забавное из всех прозвучавших (и не прозвучавших) в эти полчаса.

Однажды писатель-почвенник Иванов спросил у нее, знает ли она, какая в мире главная, а главное (извинился за тавтологию Иванов) вечная, то есть неизменно воспринимаемая с живейшим откликом новость?

А-Б пожала плечами.

«Обнаженное женское тело,— усмехнулся Иванов.— Когда я оказываюсь в местах, где много людей,— продолжил он, понизив голос,— в метро, в больших магазинах, на улице, оно смотрит на меня, как огромный глаз... точнее, я его вижу... практически отовсюду. С экранов, журнальных обложек, рекламных стендов. Где бы ни находился. Я часто думаю,— как будто даже с удивлением, что ее тело спрятано под одеждой, посмотрел

Иванов на Альбину-Бебу, — почему именно женское тело? Наверное, потому, — сам же и ответил, не дав собраться с мыслями А-Б (а может, он полагал, что ее мысли не имеют большой ценности), — что из женского тела бьет родник, нет, вытекает река жизни...»

«Но разве кто-то думает об этом в минуту похоти?» — спросила Альбина-Беба.

«А мир как раз и существует по закону... похоти, — ответил Иванов. — Видишь ли, похоть — обратная сторона не только импотенции, но и самой жизни, — сформулировал Иванов. — Ее невозможно реализовать, потому что она не цель, но состояние. Мир-импотент хочет, — продолжил Иванов, — а красота женского тела его оскорбляет, точнее, оскোпляет, потому что она выше похоти. Но мир не может перестать хотеть, потому что реально он существует только до тех пор, пока хочет. Точно так же и человек, как только перестает хотеть, природа немедленно сбрасывает его в отвал, как мусор. Я думаю, — задумчиво произнес Иванов, — мы еще застанем моду на уродливые, ущербные, увечные женские тела. Еще на нашем веку красоту уравнивают со смертью».

12

...Однажды во сне А-Б увидела себя старухой, бродящей вдоль выгнуто-вогнутой прозрачной сферы, напоминающей невероятно широкую ленту Мебиуса, с поверхности которой, как известно, невозможно соскользнуть. Она

пыталась заглянуть внутрь сферы, но не могла ничего рассмотреть. Иногда ее отражение буквально растворялось в сфере, и о том, что она (во сне) существует, свидетельствовало только ее пульсирующее, светящееся в лазерном абрисе неразтворимое сердце. Его не могла поглотить никакая темнота. Оно было невероятно красиво, ее светящееся сердце — двухцветное, как бы составленное из двух равных хрустальных фрагментов — темно-фиолетового, как ночь, как экран перетруженного (в самый канун сгорания) монитора и — ослепительно белого, как день, как одежды Господа, в которых Он (рано или поздно) спустится на землю, чтобы утвердить окончательную и бесповоротную справедливость.

А-Б пыталась разглядеть свое старушечье морщинистое (какое же еще?) лицо, но вместо него видела одно лишь прекрасное в своем совершенстве хрустальное сердце.

Сны, числа, прозрения, предсказания, неясные мысли и странные совпадения, которые ничего не могли изменить и исправить, — все это были несуществующие, точнее существующие по ту сторону сознания миры. Но, существуя по ту его сторону, они одновременно существовали и по эту, зачастую организуя и направляя это самое сознание. Получая импульсы с «той» стороны, сознание руководствовалось ими в своей деятельности на «этой» стороне мира. Здесь выстраивались странные цепочки, раскладывались странные пасьянсы, объявлялись проводники, обеспечивающие (за деньги) переход (пустого) сознания через границу действительности и (с контрабандными знаниями) обратно. Видит Бог, некое противоречие заключалось в том, что за путешествие

в нематериальный мир приходилось платить деньгами материального мира, но о таких мелочах никто не думал. Ходили слухи, что и в отцовской фирме есть штатный астролог, нумеролог, алхимик и медиум в одном лице, но А-Б ни разу его не видела. Она спрашивала у отца, где он его прячет, но тот не понимал (или делал вид, что не понимает), о чем речь.

Возможно, многие странные вещи, происходящие в мире, объяснялись именно этим. Сумасшествие, подобно радиации, невидимо пронизывало ткани мира. Управляющая миром сила, как могла, развлекала человека, раскладывала перед ним рубашкой вверх колоду карт, предлагая выбрать любую. Самое лучшее было — не выбирать, не загадывать. Но человек, как известно, был слаб, внушаем, а главное — податлив в «ту» сторону. Ибо сторона эта (теоретически, по крайней мере) приоткрывала дверь туда, куда каждый человек должен был войти, чтобы навсегда там остаться.

Многие люди начинали искать замочные скважины (чтобы заглянуть, а то и проникнуть с помощью отмычки) в эти двери еще при жизни, сообщая ей (жизни) тем самым ложную иллюзию непрерывности. Эта иллюзия, впрочем, нисколько не мешала жизни быть жизнью, потому что жизнью было все, что длилось во времени, истекло, двигалось к естественному или неестественному завершению и тем самым приближало человека к смерти. Даже такие непродуктивные, в общем-то, вещи, как нежелание умирать, поиски вечной жизни.

Альбина-Беба подумала, что тайна человека заключается в том, что, что бы тот ни задумал, какую бы оше-

ломительную мысль ни затаил, она не тайна для управляющей миром силы, потому что сила знает о человеке все и даже то, чего человек сам о себе не знает.

Альбина-Беба подозревала, что главная тайна (как и положено настоящей тайне, лежащей на поверхности) — это отпущенный человеку срок. Если люди в семнадцатом, скажем, веке понятия не имели о космических летательных аппаратах, не знали компьютеров, не ведали о ядерном оружии и жили в среднем шестьдесят лет, то сейчас им все это было известно, однако жили они ненамного больше. Получалось, что так называемый прогресс (почти) не распространялся на такую бесконечно волнующую человека проблему, как возможность жить если и не вечно, то очень долго. Более того, налицо был определенный регресс: библейские старцы (видимо, тогда Бог еще окончательно не разочаровался в людях) жили не в пример дольше современных людей. Стало быть, главная тайна человека заключалась в том, что век его был раз и навсегда отмерен, и ничего-то он (человек) не мог с этим поделать. Альбина-Беба вновь подумала, что это и есть неопровержимое доказательство существования Бога. Люди искали Бога в компьютерных схемах, космических просторах, в цепочках ДНК, генах и клонах, но в упор не желали видеть в раз и навсегда определенном для себя сроке, сколько-нибудь существенно продлить который был бессилён любой прогресс.

Да, по ТВ иногда показывали долгожителей, но выяснялось, что эти морщинистые, напоминающие черепах (иногда даже казалось, что под одеждой у них панцири) существа держались от прогресса как можно дальше —

не ходили к врачам, не смотрели ТВ, не интересовались компьютерами и не соблюдали никаких диет. Они не могли сообщить о себе ничего существенного, и интервьюирующие их телевизионные люди не могли скрыть своего разочарования.

Альбина-Беба совершенно неожиданно подумала, что так называемая политика есть не что иное, как осмысленные (циничные) плевки на белоснежные края одежды Господа, но не поняла: зачем, для чего, почему она так подумала? Какое отношение имела в данный момент к ее жизни политика? А еще ей открылось, что бессмертие бессмертию рознь. Лично ее не прельщала возможность бесконечно перемещаться по повторяющейся поверхности (даже и с двухцветным наборным светящимся сердцем), ничего не узнавая и не открывая, но лишь бессмысленно продлевая собственное (черепашье) существование. Она подумала, что человек устроен так, что рано или поздно устает от всего, в том числе и от жизни. Даже и с лазерным двухцветным, которому, видимо, нет износу, сердцем. Этот момент, по всей видимости, искатели вечной жизни тоже не учитывали.

Еще немного пройдя вперед, Альбина-Беба обнаружила, что расположившийся в доме номер 22 магазин носит название «Предел мечтаний». Это было странно, потому что Альбина-Беба часто ходила здесь, но не помнила магазина с таким, свидетельствующим о мании величия хозяина, названием. Кажется, здесь был какой-то другой магазин. Вообще, у магазинов на Кутузовском проспекте был стремительный (в этом они были похожи на людей) век.

Интересно, подумала Альбина-Беба, что продают в магазине с таким названием?

Там могли продавать судьбоносные (но с просроченным сроком использования) идеи, суицидальные принадлежности, посохи и сумы, от которых не след отказываться. А также так называемые книги (или скорбные листы?) судебных, где о человеке написано все единственно правильными (абсолютными) словами, потому что их (вынужденно) пишет самый совершенный писатель на свете, а именно Господь Бог в соавторстве с повелевающей миром, склонной к утрюмому юмору силой. А-Б долго пыталась разобраться, Бог ли часть силы или сила часть Бога, пока не поняла, что, в сущности, это не имеет значения, от перемены мест этих слагаемых сумма (конечный итог любой человеческой жизни) не меняется.

Она вдруг вспомнила одну чрезвычайно полную пожилую женщину, трудно вылезавшую из автобуса на остановке «Больница». Она делала это так медленно, что люди в автобусе начинали возмущаться, сетовать, что они опаздывают. «Не волнуйтесь, — сказала женщина, — на свидание со смертью еще никто не опоздал. И никто, — добавила при общем гробовом молчании, — от него не отвертелся».

Вот только найти нужную книгу, единственный скорбный листок в этом магазине непросто, подумала Альбина-Беба, иначе туда бы с утра выстраивались очереди. Одним словом, там (в магазине) должны были продавать вещи, необходимые людям, только что потерявшим все. Да, потерявшим все, но при этом отнюдь не стремящимся немедленно восполнить утеранный запас.

Что вообще можно прихватить с собой в путешествие, откуда, если верить Сальвадору Дали, «письма идут слишком долго»? Альбина-Беба подумала, что это могут быть самые разные, иногда даже весьма неожиданные вещи. Ибо у человека, потерявшего все и еще не решившего, оставаться ему здесь или тронуться в путь, несколько иной взгляд на то, что ему нужно. И расплачиваются, подумала Альбина-Беба, в этом магазине не деньгами, хотя, конечно, и деньгами тоже, точнее тем, чем (если это можно выразить в словах) они были для человека до того момента, как он потерял все.

Однако от немедленного захода в магазин Альбину-Бебу отвлек ящик с мороженым. Он выглядел странно — как перемещающийся в пространстве макет замка с башенками, надстройками (выдвижными ящичками) и даже перекидным мостом (наверное, это был ящик новейшей конструкции) в ходящем волнами, как желе, сиреневом вечернем воздухе. Внутри прозрачного сиреневого желе вспыхивали и гасли золотые и зеленые искорки. У Альбины-Бебы возникло ощущение, что окружающий мир превратился в один большой глаз и она каким-то образом оказалась внутри этого глаза — соринкой, но, быть может, и крохотной составной частичкой его радужной оболочки. Если я соринка, подумала Альбина-Беба, то сейчас обязательно пойдет дождь и смоев меня...

Но дождь не шел, из чего Альбина-Беба заключила, что она — частица радужной оболочки смотрящего (куда?) сиреневого глаза-мира.

Мороженое в ящике было в необычных, невероятно насыщенных, как будто в них были спрессованы, заархи-

рованы тонны света, цветов обертках. Альбина-Беба подумала о такой непроверяемой величине, как скорость света, выше которой будто бы в природе ничего нет. Так вот, из этой самой скорости света определенно были изготовлены обертки. Альбина-Беба решила, что если она снимет обертку, мороженое (свет) подхватит ее и унесет в пределы (мечтаний?), где все другое. Ящик с мороженым, вне всяких сомнений, относился к магазину «Предел мечтаний», являлся его, так сказать, вытянутым на асфальт осьминожьим щупальцем.

Еще больше удивили Альбину-Бебу причудливые формы мороженого и вытесненные на обертках названия сортов. «Реб» напоминал спеленатое дитя. «Член» — естественно, член, и ничего, кроме члена. «Сирохо» — рыбий хвост, произрастающий из женской талии. «Зап» — бутылку с широким, похожим на раскатанный скалкой блин днищем.

Какой-то бред, подумала Альбина-Беба, бред и рекламное извращение за пределами... не мечтаний, а здравого смысла.

Она была образованной девочкой. Недавно как раз познакомилась в Интернете с работой товарища Сталина по проблемам языкознания. Сайт назывался «Stalin» и, судя по обилию на нем рекламы, был весьма посещаемым.

Это случилось после того, как преподавательница философии сказала им на лекции, что не все так просто со сталинским языкознанием. Мол, товарищ Сталин, уже тогда, в сорок девятом, что ли, году провидел грядущее утверждение английского языка в качестве мирового информационного, а потому, мол, и возвысил голос в защи-

ту национальных языков, чтобы каждый маленький народец мог познавать мир и делиться радостью (и, вероятно, горем) от его узнавания на своем собственном язычишке. «Вы ведь и сами прекрасно понимаете, — обвела пронзительно синими (выстиранными в синьке) глазами аудиторию старушка, — что сегодня не на английском языке, то в мировом масштабе не новость».

Сообщение преисполнило Альбину-Бебу трепетом по отношению к товарищу Сталину.

Мгновенная симпатия к усатому, с рябым лицом, человеку вошла в ее сердце легко, ибо пуста была в сердце А-Б политическая, скажем так, ниша. Все, что легко, то истинно, подумала Альбина-Беба, следовательно, товарищ Сталин достоин любви. Но тут же она вспомнила, что самые чудовищные, глупые и необдуманные поступки в своей жизни она тоже совершала с удивительной легкостью. Стало быть, легкость была истиной в той же степени, в какой — обманом, ложью и преступлением. Но как бы там ни было, ни один из управляющих в данный момент миром (и страной) вождей не занял в ее сердце политическую нишу. Да, собственно, и не мог занять в силу какой-то массовой ничтожности современных (сами себя они так называть опасались) этих вождей.

Какие-то это все были случайные людишки.

Один был похож на мышонка, которого вытащили за хвостик из норки да и назначили директором сырного завода. У другого было широкое круглое, абсолютно ничего (кроме физического самочувствия) не выражающее лицо. Страна, таким образом, была в курсе — с похмелья ли он, хорошо ли выспался, как там у него с почками, но по-

нятия не имела, каким образом он руководит народным хозяйством, какие собирается вводить налоги, какие отнимать льготы, на что повышать цены? Третий напоминал перепуганного небритого бобра, не в том месте затеявшего строительство плотины. Четвертый был как будто сплетен из предназначенных к сожжению сухих сучьев. Если из первых трех слова, в принципе, вытекали легко, то этот молчал, как камень. Был еще один — плотный, лысый, напоминающий статуэтку золотого Будды. Он был самым богатым, жил в персональном (отгороженном от прочих стеной и охраной) раю, но был вынужден что-то бубнить по ТВ про прибавки к пенсиям, бесплатный проезд в общественном транспорте для военных ветеранов и пособия для матерей-одиночек.

Альбина-Беба, помнится, решила, что время великих (как со знаком плюс, так и минус) вождей прошло. Отныне каждый восходящий на вершину власти в любом государстве как бы «процеживался» через телевизионный экран, «протряхивался» сквозь информационно-аналитическое сито, «прощупывался» на предмет исполнения неких не до конца понятных возлагаемых на него обязательств. Все сколько-нибудь крупное, нестандартное застревало в этих фильтрах, разъедалось кислотой, «перетиралось» в информационную пыль, чтобы в итоге так и не выйти на оперативный простор борьбы за власть. Случайным людям, подумала Альбина-Беба, легко принимать чудовищные решения, ибо они не сознают, что творят. Ибо их сознание «замкнуто» не на страдающее большинство, а на заставляющее его страдать меньшинство.

Товарища Сталина можно было любить уже только за то, что он интересовался вопросами языкознания. Альбина-Беба подумала, что товарищ Сталин сам не знает, какой ренессанс ожидает его в России, а может быть, и в остальном, пока еще опутанном англоязычной информационной паутиной мире.

«Бер», «Сол», «Йон», «Ёш», — вспомнились Альбине-Бебе символы мифического праязыка, открытые академиком Марром, с которым как раз и полемизировал в своей работе великий вождь и учитель. Названия мороженого из замка-ящика некоторым образом их напоминали. Наверное, подумала Альбина-Беба, это новые — уточненные и усложненные — символы нового праязыка. Единственно, несколько выпадал из этого ряда «член».

— Я бы порекомендовала вам «Риб», — подала голос продавщица. — Это очень хорошее, а главное, сытное мороженое. Но... развела руками. — Не могу вам его продать. Как говорится, не все в нашей власти. Это не страшно, — наклонилась к Альбине-Бебе, как будто та и впрямь дрожала от страха. — На каждую штуку, даже такую, как «Риб», существует альтернатива.

Альбине-Бебе показалось странным определение «сытное». Не для того люди покупают мороженое, чтобы «насытиться». Она внимательно посмотрела на продавщицу. Та была невыразительна, какой только и может быть продавщица при нестандартном, скажем так, мороженом. Иначе будет перебор — те самые роковые двадцать два, которые все портят. У Альбины-Бебы даже мелькнула мыслишка, что не живая это женщина вовсе, а некий биоробот, до того сглажены, усреднены, а главное, обезду-

шены были ее черты. Если названия мороженого можно было уподобить прабукам мифического праязыка, то продащицу мороженого — представительнице неведомой расы пралюдей, то есть людей до того самого момента, как у них появилась душа, а именно... мертвых людей.

13

Мертвые люди однажды так удивили Альбину-Бебу, что с той поры ее больше ничего не могло удивить. До сих пор она не могла забыть тот день, точнее вечер, еще точнее, осенние сумерки, когда оказалась на Пироговке в Медицинской академии, в зале, где были выставлены стеклянные сосуды и колбы, сквозь которые смотрели на редких посетителей всевозможные — крохотные (родившиеся мертвыми) и немаленькие (то есть успевшие пожить) — уроды.

Последние солнечные лучи по косой (как скорбный взгляд Господа) входили сквозь окна под потолком в зал, и казалось, что не в формалине, а в расплавленном прозрачном золоте плавают кошмарные тела, двух- и трехликие черепа, конические, как еловые шишки, костяные головы, а также головы, прикрепленные пуповиной к позвоночнику, существо, неотличимое (если бы не зажавшие, полные ужаса глаза) от жабы, и существо — сплошной живот, внутри которого, как горошина, помещалась крохотная голова. Они плавали в жидком золоте, как будто даже медленно поворачивались внутри тесных

стеклянных сфер, как бы осмысленно демонстрируя свое уродство, которое в столь концентрированном количестве (сотни сосудов) уже переходило в совершенно иное качество, и не сказать, чтобы это качество свидетельствовало в пользу человека как венца творения и конечной точки цивилизации.

Являлся ли этот материал однозначным браком, так сказать, каменным крошечком в мастерской скульптора?

Альбина-Беба не сомневалась, что именно таким образом — вплавляя их, как бриллианты, в закатное золото, Господь являл милость этим (своим?) загадочным тварям. Впрочем, там были не только цельные тела, но и фрагменты тел, отдельные внутренние органы, отличившиеся какой-то совсем уж запредельной патологией.

Альбину-Бебу немало изумили плавающие в формалине, утыканные шерстью (волосами), как дикобраз, легкие парикмахера. И — в соседнем сосуде — цветные, как косынки цыганок, легкие фотографа. Но не выглядело безобидным это веселое косыночное разноцветье. Приглядевшись, можно было рассмотреть, что цветная химия проела легкие насквозь, что, собственно, не столько это легкие, сколько радужная, переливающаяся в формалине сплошная язва.

Немало озадачила Альбину-Бебу и родившаяся... (иначе как она оказалась среди новорожденных уродов?) жуткая трехпалая рука. Она представляла себе, какой ужас охватил акушеров, когда из разверзшегося лона им навстречу вытянулась эта, покрытая какими-то наростами и волдырями, рука. Альбина-Беба подумала, что не иначе как сам дьявол вторгся в виде этой руки на экстремальную

территорию любви Господа к малым (и страшным?) сим. А может, подумала она, это «рука-приватизации», «невидимая рука рынка», так славно похозяйничавшая (да и сейчас отнюдь не унявшаяся) в несчастной России?

Помнится, она не заметила, как осталась в зале почти одна.

Закатный свет более не золотил сосуды и колбы.

Альбина-Беба ощутила сладкую вонь, тянущуюся по холодному плиточному полу из морга, который находился там же, только чуть подальше. Уборщица, как ни в чем не бывало, шаркала тряпкой по полу, бормотала что-то себе под нос.

В зале включили свет.

Часть ламп располагалась за стеклянной стеной, поэтому получилось, что уроды в колбах и сосудах как бы участвуют в некоем иллюминированном действе.

Альбина-Беба поспешила на улицу.

Там было тепло.

В вечернем воздухе летали осенние листья.

Она подумала, что да, она знала, что человек несовершенен. Но она не знала, что он несовершенен до такой степени. Она как будто заглянула в пропасть, причем у нее было такое ощущение, что она смотрит не вниз, а... вверх, при том, что одновременно летит... вниз. То есть пропасть была без дна. И падала в нее не одна Альбина-Беба.

Не случайно товарищ Сталин взялся реформировать языкознание, подумала она. Он понял, что язык для человека — возможность выразить его мысль, а человек для Бога — возможность выразить Его мысль. И что в это товарища Сталина общее понимание неким образом

входило более частное понимание того, что каждый человек, даже внешне идеальный и совершенный, несет в себе отражение тех, что навсегда остались в стеклянных сосудах, точно так же как всякий язык несет в себе отражение «Сол», «Бер» и «Йош».

Альбине-Бебе вдруг открылось, что история еще далеко не закончилась, точнее, что история — дорога в оба конца и что странным образом люди движутся по ней сразу в обе стороны: к невообразимым научным успехам, суперкомпьютерам и... к уродству, к первичной глине, к «Бер», «Сол» и «Йош».

Всякая мысль Бога, дерзнула домыслить А-Б прозрачным осенним вечером среди летящих по Пироговке, как осиротевшие души, осенних листьев, несет в себе отражение мысли его вечного антипода и противоречивца.

Она задумалась о модном нынче термине «разграничение полномочий», в частности, о разграничении их между Богом и властителями народов, такими, какими были Александр Македонский, Чингисхан, Гитлер и товарищ Сталин. Зачем-то же Бог делился с ними полномочиями, отдавая им власть над людьми? А вот со своим возлюбленным сыном он отчего-то не поделился полномочиями, позволив людям прибить его гвоздями к кресту.

Альбине-Бебе показалось, что истина, как в американском сериале «Секретные материалы», где-то рядом. Она была сродни носящимся в вечернем воздухе на Пироговке осенним листьям (осиротевшим душам), эта истина. Альбине-Бебе казалось, что она вот-вот ее ухватит, но в то же время она прекрасно понимала, что точно такие же чувства испытывал первый неандерталец (или пи-

текантроп, а может, кроманьонец?) вскрывающий кремниевым (или каким там?) ножом тело (череп?) погибшего (убитого из любознательности?) товарища в надежде разгадать тайну жизни.

Она подумала, что слова (товарищ Сталин был бесконечно прав!) иногда сами мыслят за людей, и это является абсолютным доказательством того, что все языки — от Бога. К примеру, само словосочетание «анатомический театр» исполнено безразмерного философского смысла, ибо неясно, кто, собственно, артист, а кто зритель в этом театре? Хирург ли со скальпелем, объясняющий столпившимся у стола студентам, как устроена, допустим, поджелудочная железа (Pancreas) или поперечно-ободочная часть толстой кишки — никогда не проветриваемое замкнутое пространство, предоставленное в полное распоряжение миллионам разновидностей бактерий гниения и разложения (Colon transversum), сами эти студенты или лежащее на столе тело, которому в любом случае известно на одну тайну больше? Может быть, подумала А-Б, ему известно, что ад (если уподобить строение Вселенной человеческому телу) как раз и есть непрветриваемая толстая кишка, особенно если учесть, что после смерти во власть обитающих там бактерий поступает все тело целиком, если, конечно, его не кремируют?

— Так что «Реб» тебе не светит, — констатировала продавщица как о решенном деле. — А жаль. У тебя бы это могло хорошо получиться. А главное, не раз.

— Стало быть, мне светит только «Член»? — осведомилась Альбина-Беба. Она сама не знала, зачем разговаривает с этой невыразительной, как текущая из крана

вода, женщиной. И еще, дрянная какая-то мелькнула мыслишка, что член и в самом деле похож на... фонарь. Вот только светят все эти фонари по-разному, подумала Альбина-Беба, не каждый свет, скажем так, приятен...

— Логично, — ответила продавщица. — Сначала «Член», потом «Реб» и прочие сорта. Но в твоём случае будет по-другому.

— Как именно, по-другому? — уточнила Альбина-Беба. Она вдруг ощутила радостный и тревожный подъем, какой испытывает человек, делая что-то первый раз в жизни. Ей показалось, что она — тот самый неандерталец (питекантроп, кроманьонец?), вскрывающий кремниевым ножом тело товарища, чтобы познать тайну жизни. Продавщица — кремниевый нож. А окружающая действительность — скрывающее тайну жизни тело. Такое вот странное ощутила А-Б триединство. А еще — что тайна жизни открывается один-единственный раз, да так, что при всем желании никому ее не выдашь.

— Сначала «Член», — ответила невыразительная, как вода, женщина, — потом «Сирохо», потом...

— Конеч? — предположила Альбина-Беба.

— Увы, — вздохнула продавщица мороженого. — Ты не поверишь, девочка, — вдруг заговорщически подмигнула Альбине-Бебе, — но конеч, даже самый захватывающий, как в твоём случае, всегда скучен.

— Почему? — удивилась Альбина-Беба.

— Потому что, каким бы неожиданным он ни был, — ответила женщина, — кто-то его придумал. И не просто придумал, а сделал так, чтобы он состоялся именно так, а не иначе. Куда от этого денешься? — добавила

философски. — Кто еще способен чему-то удивляться в этой жизни? — И сама же ответила: — Мы да вы.

— Неужели, — спросила А-Б у продавщицы, — мы, я имею в виду людей, все еще кому-то интересны? Неужели на каждого из нас составляется... — задумалась над термином, — полетное задание? — Почему-то именно из авиации явился термин, хотя к авиации Альбина-Беба не имела ни малейшего отношения.

— Не на каждого, — с грустью посмотрела на нее та, — только на тех, кто привлекается... к соучастию в Его скорби.

Альбина-Беба увидела свое отражение в стекле. Она была прекрасна. Белое, как фарфоровая тарелка лицо, светящиеся зеленые глаза, темно-русые, падающие на плечи стрелы волос, бесконечно длинные ноги, которые в сложенном виде, к примеру, с трудом помещались в «Жигулях». Чего нельзя было сказать о продавщице. Если Альбина-Беба была живая вода, то та — вода мертвая.

Альбине-Бебе вдруг показалось, что, если ей (в анатомическом театре) представится возможность провести вскрытие этой женщины, скальпель утонет в ее теле, как в реке.

Неужели судьба, подумала А-Б, и есть мертвая река, соединяющая всех со всем, река, течение которой не перегородить никакой плотиной и от которой не получить никакого электричества, чтобы осветить темные углы отдельно взятой души и всего «человеческого общежития»? Она снова вспомнила про заспиртованных уродов и решила, что судьба — укрепленная, выражаясь библейским языком, река. А управляющая миром, склонная к утрю-

мому юмору сила — местоблюститель этой реки. И как бы человек ни куражился на берегу этой реки, ни стегал ее прутьями или (как царь Дарий Геллеспонт) цепями, ни демонстрировал ей свой срам, у него один удел — раствориться в этой реке, утечь в никуда.

Альбина-Беба с весельем и отвагой идущей на смерть посмотрела в глаза продавщицы, ибо единственное, что могло поставить человека над смертью и, следовательно, над судьбой было победительное веселье, сведение (концентрация) безмерно широкой сущности (души) до размеров точки (исчезновения), в какую (теоретически) не страшно уходить. Особенно когда выбора нет. Перед уходом, подумала Альбина-Беба, надо вести себя так, как будто точки исчезновения не существует вовсе, как будто жизнь и смерть едины. Это единственно правильное поведение. Сильные духом, подумала А-Б, умирают красиво.

— Вы — возможно, — Альбина-Беба почувствовала, как что-то кольнуло ее в сердце и — одновременно — ниже пояса. — Мы — нет. Наш конец не будет скупен. — Мороженое, конечно же, по двадцать два рубля?

— По двадцать два рубля и двадцать две копейки, — указала на ценник продавщица.

— Беру по три штуки каждого сорта! — дерзко объявила Альбина-Беба.

— Ну да, — подтвердила продавщица, — для быстрой заморозки должно хватить.

За единственным столиком перед магазином под названием «Предел мечтаний» сидели два молодых человека. А-Б с изумлением узнала парней, мелькавших недавно на площади у «Башни-2000». Вид у них был немного

ЗАКРЫТАЯ ТАБЛИЦА

растерянный, как если бы они не вполне понимали, где находятся и что делают. А-Б посмотрела по сторонам, но не увидела ни предполагаемого И-Х, умчавшегося куда-то на красной спортивной машине, ни Ильябои, похитившей (если, конечно, они не работали вместе) у бомжи-хи завернутого в пеструю тряпку младенца.

— Как насчет мороженого, amigos? — подмигнула молодым людям Альбина-Беба. — Неужели вы забыли, что Вечный Холод, он же Великий Лед, делает нас людьми?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

14

— Честно говоря, мы мечтаем не о мороженом, а о пиве, — ответил один.

— Да в общем-то, уже даже и не мечтаем, а пьем, — продолжил второй.

— Так сказать, мечтательно пьем. Делаем сказку былью. Штурмуем вершинную точку мыследействия, наслаждаемся триумфом воли. Ну, — внимательно посмотрел на Альбину, — ну... я думаю, вы понимаете, какой именно воли... Эта воля движет миром, но мир делает вид, что ее не существует.

— Воля пола, — мрачно пояснил первый. — Или... пол воли... Хотя... — покрутил в неожиданно прозрачном, как только что поставленный на белую банкетную скатерть фужер, воздухе пальцами, — воля — слово женского рода. Суть ясна. Я вас только что увидел, а уже... это... мечтаю... понятно о чем.

— Трагедия языка, — задумчиво произнес второй. — Язык сам решает, что унижить, а что возвысить. А заодно до Киева, где дядька, довести.

— В трагедию языка, как арматура, вмонтирована воля, — возразил первый. — Воля языка.

— Лезущего частенько, — свойски подмигнул Альбине-Бебе второй, — не туда, куда надо.

— Путь человека, его, так сказать, ломаный, прихотливый, червячный, он же червивый, маршрут по карте бытия можно отметить языком, как фломастером, — продолжил первый товарищ. — Есть три обязательные и, я бы заметил, неминуемые точки. В детстве — каждый примерзал языком к металлу, если, конечно, он не негр и не живет в Африке. В младом, зрелом и преклонном возрасте — сквернословил и лгал. И, наконец... в разном возрасте... залезал языком куда не след.

— Роман с языком, — пробормотал второй. — Neverending, no everlasting love affaire.

А-Б подумала, что где-то уже слышала про бесконечное, но всегда завершающееся любовное приключение, вот только не вспомнила, где именно и при каких обстоятельствах.

Ей вдруг показалось, что она давно знает этих ребят и что они не просто так здесь сидят, а собираются принять некое решение. А потому им тревожно и весело, как обычно бывает людям, готовым рискнуть. А-Б пыталась мучительно разобраться, что это за решение и в чем заключается риск, но из прошлого ее новой (где она знала этих ребят) жизни, как из прихваченного торопливой рукой мешка, ничего больше не вываливалось.

— Который иной раз пресекался путем усекновения языка, — закончил первый.

Альбина-Беба подумала, что она с ними не соскучится.

Мешок непрожитой жизни вновь приоткрыл драную пасть.

Что-то ее с ними объединяло. И оно, это что-то, было сильнее того, что их (по жизни) разъединяло. А разъединяло их, в сущности, очень многое. Начать (и не продолжать) можно было с того, что они не были знакомы. Следовательно, то, что их объединяло, было сильнее жизни. Альбина-Беба на мгновение задумалась, что может быть сильнее жизни? И была вынуждена ответить себе, что сильнее жизни может быть только смерть. Ей не хотелось думать, что с этими симпатичными ребятами ее объединяет... смерть.

— Что ты решила? — вдруг спросил у нее первый.

— Я сделаю это, — твердо произнесла Альбина-Беба, хотя не имела ни малейшего понятия, что именно она должна сделать. — Я сяду в машину и оставляю там эту штуку.

— И ген вечной жизни, таким образом, будет утрачен, — вздохнул второй.

— По крайней мере, до полета на Марс, — уточнил первый. — Ведь этот метеорит, если не ошибаюсь, прилетел к нам с Марса?

— В нынешнем своем состоянии человечество недостойно бессмертия, — сказала Альбина-Беба.

Из мешка (не)прожитой жизни вываливались странные (не имеющие места быть) разговоры. А-Б было интересно узнать, слышат ли их (участвуют ли в них) ребята, но как-то странно было спрашивать незнакомых, попивающих пиво людей про бессмертие и Марс. И еще более странно было спрашивать их, разговаривала ли она уже с ними на эти темы.

Наверное, я схожу с ума от жары, решила Альбина-Беба.

Она подумала, что есть что-то еще, что сильнее жизни и смерти, а именно — Бог.

Неужели ее и ребят объединяет... Бог?

Альбина-Беба подумала, что Бог — всего лишь последняя инстанция, куда человек обращается, когда больше некуда. Когда все прочие варианты исчерпаны и выхода нет. Она живо вообразила некоего, лежащего во тьме и одиночестве человека, ожидающего не то несправедливого суда, не то назначенной казни. И — одновременно — другого человека, ясно осознающего, что его болезнь смертельна. Оба эти человека легко и почти что слитно вошли в ее сознание, как будто для них там было приготовлено место. Получалось, что человек отчаяннее всего взывал к Богу, когда ощущал пресечение своего земного пути, но во что бы то ни стало хотел длить этот путь.

Двуетным, таким образом, было обращение к Богу. Сначала человек просил оставить его в земной жизни. А когда понимал, что это невозможно, заводил речь о жизни вечной.

Невообразимая сила Бога, последняя, так сказать, неоткрытая карта бытия (или небытия?) заключалась в том, что люди доподлинно не знали, что там — за гранью, именуемой смертью. В смысле, догадывались, что там ничего нет, но отказывались в это верить, потому что сознание (в отличие от тела) было ориентировано на вечную жизнь. А потому до последнего вздоха (каждый) человек (вопреки всему) надеялся, что в этой игре Бог сыграет на его стороне и каким-то образом выбросит именно ему, единственному в своем роде, неоткрытую и непознанную карту.

Это было противоречие летящего к звездам, свободного, как космическая пыль, сознания и не отрывающегося от земли, находящегося во власти гравитации, тела.

Единственно, было непонятно, что первично, а что вторично — обида людей на Бога или — Бога на людей?

Бог, вспомнила Альбина-Беба старинную (а может, новейшую) мудрость, относится к людям точно так же, как они, люди, относятся к Нему.

Но люди, как известно, с самого начала отнеслись к Богу крайне плохо.

Альбина-Беба понимала, что эти ее рассуждения сродни рассуждениям ребенка о том, что было вначале — яйцо или курица?

Бог ли относился к людям так же, как они к Нему?

Люди ли, как сканеры, воспроизводили это Его к себе отношение?

Вначале было слово, вспомнила Альбина-Беба.

Но это было неправильно.

Вначале была мысль.

А потом... тело, неизвестно с какого раза исторгнувшее из себя вопль-слово.

Трагедия (естественно, в человеческом понимании, потому что Бог был над и вне любого человеческого понятия) Бога, подумала Альбина-Беба, не в том, что Он вынужден поступать с людьми точно так же, как люди некогда поступили с Ним. Как и... (Альбина-Беба с изумлением обнаружила, что ей придется употребить здесь еще более легкомысленное слово «комедия») Его не в том, что Он вынужден (как-то некрупо: через явления Богородицы малым детям, вещие сны святым старцам, ус-

тами блаженных и юродивых, мироточением на иконах и так далее) демонстрировать людям, что Он относится к ним иначе (без уточнения, как именно). Трагедия и комедия одновременно в том, мрачно (как отрезала) заключила Альбина-Беба, что «момент Х» (в значении «икс»), когда человеку не остается надеяться ни на что, кроме Бога, Бог посылает его... на Х (не в значении «икс»). Неужели это и есть, с грустью подумала Альбина-Беба, вечная расплата человека за вечные муки Бога?

Каким-то образом эти ее в высшей степени нелепые размышления лежали в контексте ее нынешней непрожитой жизни. У А-Б возникло ощущение, что обо всем этом она давным-давно переговорила с ребятами и что сейчас (вскоре?) они совершат нечто, что позволит им предотвратить некую беду. Контуры этой беды смутно прорисовывались в разбалансированном сознании Альбины-Бебы, и были эти контуры злоеци, как свинцовая, свешивающая на землю ногу смерча, туча посреди ослепительно чистого неба.

Она подумала, что «грязный старик» Фрейд был не прав (точнее, частично прав), объявляя «сердцем жизни» пресловутый Эдипов комплекс. Сердцем жизни был Божественный комплекс neverending, но everlasting отмищения за муки.

И это было справедливо.

Хотя, на мгновение сбилась с мысли Альбина-Беба, ведь все это имело место и до Рождества Христова. Но она быстро утешила себя тем, что Бог не знает времени. В смысле, что Бог — вне времени. Так что временная (в человеческом понимании) последовательность Его

действий не имеет решительно никакого значения. Тогда как у человека — напротив. У человека последовательность действий служит свидетельством его вменяемости, в смысле — нормальности.

А что такое нормальность?

Нормальность — всего лишь принадлежность к большинству, принадлежность, вынужденно признала А-Б, к неизбывному и неискупаемому греху богоубийства, а следовательно, принадлежность к той самой гека-томбе, которой назначено искупать этот самый грех самим своим существованием, квинтэссенция, контрапункт, апогей которого — тот самый (вечный), обращенный к Богу вопль во тьме и X (не в значении «икс») — Божественный ответ.

А-Б подумала, что она выпала из времени, как ее непрожитая жизнь из прорвавшегося мешка... жизни прожитой? А все выпавшее, как известно, до поры не имеет хозяина. А выпавшее, но быстро поднятое вообще не считается выпавшим. Стало быть, А-Б в данный момент была свободной, как никогда, бесконечно и абсолютно свободной.

Но зачем мне эта свобода, вздохнула Альбина-Беба, разве я о ней просила?

А может, все было проще?

Человек всю жизнь относился к Богу, как к другим людям. Никак, равнодушно, с ненавистью и лишь в редких случаях, но, как правило, на короткое время — с любовью, отягощенной ревностью, бесстыдством и прочим набором сугубо человеческих страстей. А когда приходила пора помирать, вспоминал про Бога, потому что имен-

но Бог был тем последним, чего, в принципе, у (не иначе как — опережающе — в наказание) ориентированного на бессмертие сознания невозможно было отнять. Бог, таким образом, был всего лишь последней несбывальной надеждой.

Получалось, что не патриотизм, как неустанно твердили в политических передачах на ТВ, был последним прибежищем негодяев, а... Бог?

Воистину, противоречиям не было числа.

Бог не совпадал с человеком не только во времени и пространстве, но и в логике.

Альбине-Бебе сделалось грустно, как и всегда, когда она воочию созерцала очередное звено в длинной (как ДНК) цепи человеческого несовершенства. Земля была, как Лаокоон змеями, опутана этими цепями. Так, что собственнo самой земли уже и не видно.

Бессмертие было несовместимо (совместимо) с несовершенством в той же степени в какой Бог был несовместим (совместим) с человеком.

В нашем мире у бессмертия шансов нет! — твердо, как о решенном деле, подумала Альбина-Беба.

А еще она почувствовала, что ей легко и хорошо с этими ребятами, как будто и впрямь ее общение с ними протекало вблизи... Бога. Что, впрочем, нельзя было ни подтвердить, ни опровергнуть. Если не считать за подтверждение странную внезапную чистоту и какую-то пронзительную прохладность еще недавно смутного и разогретого воздуха. А за опровержение — упругую самодвижущуюся стену ветра, заменившую грязный воздух на чистый. Неужели, подумала Альбина-Беба, Бог — это

порыв чистого освежающего ветра, разгоняющего смог человеческой мерзости?

В чистом прохладном воздухе собеседники А-Б смотрелись очень даже неплохо.

Первый был высок, строен и гибок, как удилище, с удлинённым (готическим) лицом и невероятно густыми русыми волосами, бьющими из его головы на манер гейзера. Подобная густота волос (на голове), вспомнила А-Б, свидетельствует о бьющей через край жизненной энергии, как если бы человек — кружка, жизненная энергия — пиво, а волосы — пена над кружкой. И глаза у него были в цвет с волосами — серые с золотыми искорками. Единственная, впрочем, странность его глаз заключалась в какой-то их (необычной при избыточной жизненной энергии) заторможенности, остановленности, как если бы мысль не развивалась, но цементировалась в его взгляде, превращаясь в памятник самой себе.

Второй был, что называется, «широкая кость» с круглым (как у кота) лицом и живыми темными глазами. Вот только нос у него выпадал из геометрии лица — был каким-то остреньким, птичьим. Волосы у второго были подстрижены предельно коротко, отчего голова его напоминала шар, мяч, а может (лунный?), глобус. Некая сила угадывалась в его приземистой фигуре.

Если первого чья-то рука как будто тянула вверх, то второго та же самая (или другая?) рука как будто вбивала на манер гвоздя в мать сыру-землю.

Если в серых, с золотыми блестками глазах первого мысль обретала черты высокой (готической) архитектуры, то в темных глазах второго — приземистой, пузырча-

той (византийской). В готической архитектуре концентрация устремленного вверх пространства была слишком высока, чтобы человек мог чувствовать себя внутри нее счастливым. В византийской же наблюдалось слишком много однообразных, переходящих в катакомбы помещений, чтобы человек ощущал себя в них уверенно, точнее непотерянно. Из-за любого каменного угла, темного заплесневелого закоулка мог появиться скрывающийся недруг. Или не появиться (зачем ему появляться?), а просто выбросить руку из тьмы и перерезать ножом горло. Гармонии, таким образом, не было нигде. Но везде имелись свои достоинства и свои же недостатки.

Одним словом, каждый из парней был хорош по-своему, и пока что Альбина-Беба затруднялась отдать кому-то из них предпочтение. В этих делах она придерживалась мнения, что хорошего не может быть много, а потому вполне могла разделить это свое предпочтение пополам.

Вроде бы пришла пора знакомиться, но Альбина-Беба совершенно не стремилась форсировать этот процесс. Какую-то она обрела пернатую легкость, как если бы средней ее обитания была не только земля, но и воздух, точнее, земля и воздух одновременно, и она вознеслась вверх, чтобы очертить в воздухе вокруг представшей плоской, как раскатанный блин, земли круг, чтобы узнать... что? Альбина-Беба пока не знала, но чувствовала, что нечто очень интересное, такое, в сравнении с чем имена парней, в сущности, ничто.

Лицешпиль, так она про себя нарекла первого — готического. А второго — из-за торчащего посреди круглого лица клюва — Птицекот.

Альбина-Беба подумала, что ребята правы насчет языка. Он — воистину neverending, но everlasting love affaire. В данный момент язык отвечал ей взаимностью, как живая жемчужная плацента, обнимал любую ее мысль, как резвый мальчуган, бежал впереди нее по темной и путаной дорожке, освещая ее дурной путь фонарем собственного смысла. Конечный, так сказать, неразменный смысл всякого понятия, поняла Альбина-Беба, как раз и содержится в слове, выражающим это самое понятие, то есть в языке, который, как известно, без костей. Как и неразменный смысл.

Интересно, подумала А-Б, что происходит с языком после смерти? Где складываются последние метафоры, образы и сравнения? В каких (из языка) одеждах предстает сама смерть.

Рука А-Б вдруг ощутила холод, как будто она ухватила эту самую одежду за краешек.

15

Однажды она обсуждала схожую тему — в другом, правда, (хирургическом?) разрезе — с писателем Ивановым, которого неожиданно встретила в парке — одинокого и неприкаянного, как крохотного недотаявшего Деда Мороза посреди лета. Дед Мороз утолял жажду (холода?) пивом, окуная белую бородку в белую же, протестно (но кратковременно) вставшую над пластиковым стаканом пену. Совсем как русский на-

род, с грустью подумала, глядя на быстро опадающую пену, А-Б.

«Справляете поминки по русской литературе? Или отмечаете издание очередного произведения?»

Альбина-Беба считала, что напрасно отец дает Иванову деньги на публикацию его сочинений. Во-первых, никто эти произведения не читает. Во-вторых, вне рыночные, оседающие в подсобках и на складах тома дезориентируют Иванова, насильственным образом вытаскивают его из закономерного забвения, внушают ложные надежды. Ведь каждый идиот, глядя на книгу, украшенную своей фамилией, надеется на чудо.

Была, была, догадывалась, глядя на Иванова, Альбина-Беба, некая особенная — сладкая — горечь в печали по несовершенству мира, когда ты сам, в принципе, реализовал все свои желания по максимуму. В случае Иванова — издал в превосходной типографии с красивыми иллюстрациями все, что сочинил за всю свою жизнь, включая никому не нужную переписку с другими, еще более забытыми советскими писателями, которым Иванов писал из Дома творчества в Ялте в Дом творчества Переделкино под Москвой. Эта горечь была сложнее горечи того, кто что-то сочинил, но не имел возможности издать. Над базисом — первичной реализацией желания — простиралась неуловимая (виртуальная) надстройка, умножающая реализованное желание на ноль в огромнейшей степени.

Дело в том, что по несовершенству мира было лучше всего скорбеть, когда у тебя самого дела идут лучше некуда. Как шли они у Иванова, выпускающего книгу за книгой, в то время как другие писатели спивались и бед-

ствовали. Тогда (в общем-то, правильная) мысль, что миру не нужны ни твои сочинения, как бы красиво они не были изданы, ни ты сам, а жизнь (твоя и вообще) не имеет ни малейшего смысла, казалась почти что справедливой. Она естественным образом замыкала круг, из которого не было выхода, ибо в том-то и трагедия (комедия?) человека, что он презирает и ненавидит окружающий мир, но при этом жаждет от него признания. Ибо слава и все что к ней прилагается находится внутри презираемого мира, блестит там, как золотая монета посреди дерьма. И человек тянет, тянет к ней ручонки. То есть доподлинно знает, что мир — дерьмо, но хочет быть прославленным внутри этого дерьма, потому что других (при жизни) критериев признания нет. Или есть, но Бог, как и толпа, немой (а может, никакой читатель).

Хотя Альбина-Беба не сомневалась, что все великие произведения мировой литературы написаны под патронажем Бога. Правда, великими они становились не сразу, а по прошествии некоторого, иногда весьма значительного, времени. То есть Бог принципиально не совпадал с человеком во времени и пространстве. Оттого-то, зная, мир Божий и представлял несколько смещенным относительно основных осей бытия. Как если бы на руке у Бога были часы, каждая секунда на которых оборачивалась для человека когда месяцем, когда годом, а когда и вовсе ничем. Человек успевал прожить жизнь, нагрешить сверх меры, благополучно (или неблагополучно) умереть, но так и не пересечься, точнее не совпасть с Господом.

На Бога, следовательно, роптал писатель-почвенник Иванов, окуная в летнем парке седую бороду в пив-

ную пену, идя (прорастая) путем ошибки, как путем зерна, усматривая доказательство небытия Бога в отсутствии справедливости (при жизни), а бытия — в присутствии (торжестве) справедливости (после смерти). Обольстительная прелесть вечной ошибки заключалась в том, что картина мира приобретала математическую стройность. Всем (точнее двум) сестрам — жизни и смерти — доставалось по серьгам. А если оставались некие, не вмещающиеся в формулу «хвосты», то для их «зачистки» существовали рай и ад.

«В сущности, это одно и то же,— усмехнулся Иванов и махнул рукой девушке в павильончике, чтобы она принесла еще пива — ему и Альбине-Бебе.— Но в данном случае, я прощаюсь с...»

«Надеюсь, не с любимой женщиной?» — поддела его Альбина-Беба.

«Если бы,— ответил Иванов.— В этом прощании всегда есть горизонтальная, скажем так, прелесть. В том смысле, что, может быть, что-то еще возникнет за преодоленным горизонтом. Но я прощаюсь с великим и могучим русским языком.— Он посмотрел ей прямо в глаза, так что Альбине-Бебе сделалось неловко от столь тесного соприкосновения взглядов, напоминающего неуместное соприкосновение разнополюх тел, допустим, в вагоне метро в час пик.— Это довольно долгий процесс. Его можно сравнить с болезнью, вроде бы дающей шансы на выздоровление. Но на самом деле их нет. Великий и могучий уходит от меня...»

«Куда?» — полюбопытствовала Альбина-Беба.

«Не знаю, — мрачно пожевал губами воздух (не пивную же пену?) Иванов. — Или знаю, но не хочу признаваться. Куда, куда? Туда же, куда и любимые женщины. К другим».

«Наверное, вот так же уходит музыка от композитора, — предположила Альбина-Беба. — А от живописца... цвет?»

«Скорее, перспектива или композиция, — возразил Иванов. — Блеклый, вялый взгляд его, отлепившись (точнее, отскочив, как мячик от стены) от насыщенного, упругого взгляда Альбины-Бебы, уныло скользнул в глубь тенистой летней аллеи, где блестела пешеходная брусчатка и влажно темнели сквозь футболки спины двух велосипедистов — парня и девушки, — согласно налегавших ногами на педали. Как будто Иванов увидел уходящий по аллее... язык. — Но хуже всего то, — продолжил он, — что язык... уносит с собой... все, что составляло суть творчества и... мою суть, как личности. Разве это справедливо? Ладно, я не могу больше хорошо писать, но почему он забирает мои мысли, мои переживания, наконец, мою... волю, а в итоге... мою жизнь?»

А-Б подумала, что язык уходит от писателя Иванова по аллее не с пустыми руками. А еще подумала, что если язык (вакуумно) высосал из Иванова содержание, то что осталось? Неужели один лишь разрушающийся резервуар (бурдюк), который тот будет (до конца жизни) наполнять спиртным?

Язык вдруг представился А-Б в каком-то странном (вихревом) образе. Растрепанные, шелестящие на ветру страницами словари, мегафонный ор, тихий любовный

шепот и любовные же, горячащие непотребные слова, невнятное хмельное бормотание, железные политдогматы, сладкая, как мед, но пустая внутри, как патока, лесь, мат-перемат, отрывистый военный лай, витиеватое ученое плетение, наконец, звонкая и печальная, просачивающаяся в самую (бессловесную) душу песня, а также тускло скользящие, ничего не выражающие, как утюгом проглаженные и продезинфицированные слова власти, летящие подобно механическим уткам над виртуальной водой.

Все это как будто слепилось в подобие невозможного смерча, изогнулось в виде некоего гипер- (парадоксально напоминающего какой у человека во рту) языка и двинулось в глубь аллеи, втягивая в свою непознаваемую сердцевину (око тайфуна) обозначения чувств и предметов, сдирая с мира словесные покровы сущности, оставляя позади себя пустоту, которую (теоретически) можно было одеть во что-то новое, что будет после языка. Альбина-Беба вдруг ощутила, что и ее сущность, сотканная из атомов слов, вытягивается из нее неведомым пылесосом. Она ощутила немоту, невозможную в земной жизни. Ей на мгновение приоткрылся мир вне языка, но тут же и закрылся, потому что испуганная душа Альбины-Бебы рванулась назад, как из ледяного космического холода в теплую, наполненную запахом (благоуханием и смрадом) слов, нагретую языком жилую (или живую) комнату. И уже там, в комнате, переведя дух, вернувшись сознанием в привычную (словесную) операционную систему, Альбина-Беба подумала, что, когда язык перестает ощущать вкус и аромат слов, ему остается только ощущать вкус и аромат... еды и алкоголя.

...Она не могла понять, почему однозначно оставшийся в прошлом эпизод (встреча с белобородым елочным дедом — писателем Ивановым в парке) вдруг как золотой (или какой там?) шерстью обрастает иным содержанием, как если бы жизнь Альбины-Бебы вдруг оказалась вне (над?.. или под?) времени (-ем) и пространства (-ом)? Как если бы ей вдруг представилась (кем?) невозможная возможность довести до (какого?) конца все разговоры, получить ответы на все вопросы.

Как можно дополнять и, следовательно, переигрывать, тот или иной эпизод из прошлого мыслями (действиями?) из настоящего? Альбина-Беба прекрасно понимала, что это невозможно, что время необратимо, но это происходило, и она пока не могла определить своего к этому отношения.

«Язык — это верный друг, надежная — косая сажень в бедрах — жена, — продолжил между тем как бы тоже выпавший из времени и пространства (но не из сознания А-Б) писатель Иванов, — сладкая, как сексуальный сон, любовница, а то и... отец и мать, сын, дочь и дух одновременно. Утрата языка — это смерть и ссора с жизнью. Собственно, что такое жизнь человека? Всего лишь неостановимое движение к смерти через непрерывные ссоры с близкими людьми. Более того, человеческая близость как раз и есть стопроцентная гарантия неминуемой ссоры. Я был когда-то близок с языком, — вздохнул Иванов, — но он... предает, покидает меня. А может, — добавил задумчиво, — это я его предал? Впрочем, это не важно. Язык, как Бог, всегда жив и изначально прав! — жадно отхлебнул пива, как если бы этим можно было удержать язык или там —

в пиве — притопить его, чтобы не ушел. — Он не виноват, что вынужден оперировать с человеком человеческими же понятиями. На данный момент, — отодвинул в сторону пустой пластиковый стакан, — я разведен, в ссоре со всеми, кого знаю, кроме, естественно, твоего отца, — подмигнул Альбине-Бебе, — меня оставила любовница, у меня в одночасье скончались отец и мать. И дети... — прошептал Иванов, блеснув в случайном, пробившемся сквозь листву солнечном луче, слезой, — они как будто... не мои. Чужие».

«Чьи же?» — удивилась Альбина-Беба, догадавшись, что под этими самыми «детьми» Иванов подразумевает не прогнавших его с дачи сыновей, но свои литературные произведения.

«Наверное, его, — с беспокойством покрутил головой Иванов. — Языка... И он... уводит их от меня за собой».

«Но ведь это невозможно, — возразила А-Б. — Они подписаны вашей фамилией».

«Я помню, — пробормотал Иванов, — но... совершенно не помню, как я их писал».

Альбина-Беба поняла, что для Иванова утреннее пиво в парке — всего лишь эпизод в неизвестно сколько длящемся романе с алкоголем, а говоря по-простому, запое. В последнее время вокруг Альбины-Бебы появлялось все больше и больше тоскующих, оторвавшихся от жизни, возжелавших неведомо чего, а в результате оставшихся наедине со своей тоской и... алкоголем людей.

«А разве, — помнится, возразила Альбина-Беба, — в случае с языком, как и в случае с Богом, или, если совсем просто, смыслом жизни, невозможно возвращение, воскрешение?»

«Не думаю, — покачал головой Иванов, — язык странным образом отражает жизнь — на своем, естественно, уровне. Когда я был молод, полон сил, когда мне казалось, что я все могу, я... и впрямь мог все. Он был со мной. Но вот пришла старость. И он уходит от меня, его остается со мной все меньше и меньше, как самой жизни. Сначала это неряшливость в выражении мысли, спешка в ее завершении. Некое спрямление, упрощение сознания, выходящего, так сказать, на финишную прямую. Непонятно откуда возникающий запах тлена и мочи. Своим дыханием я как будто оскверняю воздух, и он начинает смердеть. Я еще пытаюсь что-то писать, но все мои герои говорят, а главное, мыслят... совершенно одинаково. Они... как будто как я... на пути к смерти. А он, чем ближе, тем прямее и проще, то есть примитивнее. Было время, я мог писать, где хотел, как хотел, о чем хотел. Да хотя бы на скамейке в парке! А сейчас... благодаря твоему отцу, — скользнул взглядом по лицу Альбины-Бебы, — я создал для себя райские условия, какие не снились ни Пушкину, ни Стендалю, снимаю апартаменты на Кипре, где меня никто и ничто не может побеспокоить. Но я уже не могу ничего... Без разницы — ради денег или для души. Я окончательно понял, — неожиданно, как (скверный, отметила про себя Альбина-Беба) фокусник, извлек из кармана плоскую початую фляжку дешевого виски, — что в литературе я умер раньше, чем в жизни. Я... — обезоруживающе улыбнулся Альбине-Бебе, — просто не знаю, что мне делать. У меня вроде бы еще есть здоровье и... даже кое-какие деньги, но, — отвинтив крышку, отпил из фляжки, — душа отлетела от меня вместе с языком. Я не знаю, зачем живу...»

Иванов вдруг показался Альбине-Бебе таким стареньким ребенком, плачущим по отнятой игрушке. Ей захотелось по-матерински обнять, приласкать отцовского друга и своего (хоть она и не понимала, в чем, собственно, это проявляется) крестного. Но как-то нелепо было восемнадцатилетней, упругой, как белоснежный каучук, и сладкой, как белоснежный шоколад, с глазами цвета листьев фикуса Альбине-Бебе утешать пятидесяти-с-чемто-летнего, белобородого, с выцветшими от спиртного слезящимися глазами писателя Иванова, плачущего неизвестно о чем, точнее, очень даже известно — об уходящей опережающим темпом (так что сознание за телом не поспевало) жизни. В А-Б, как в сжатой пружине, была сконцентрирована жизнь. В Иванове — не было сконцентрировано ничего, кроме остаточного дрожания этой самой (не просто распрямленной до предела, но еще и растянутой сверх меры, то есть потерявшей всякую возможность к дальнейшему использованию) пружины. Сущность Альбины-Бебы была сжата как кулак готового к поединку бойца. Сущность писателя Иванова дрожала как хвостик перепутанного жертвенного животного.

Наверное, это невозможно, подумала Альбина-Беба, чтобы жизнь уходила, а... язык оставался. Он кажется неистрачиваемым и неисчерпаемым в молодости, потому что такой же кажется и жизнь. Но потом все, что, собственно, составляет жизнь, сворачивается, сохнет, вянет и гниет, пока наконец не ужимается до самого последнего — на смертном одре — слова.

Альбина-Беба задумалась о так называемом (точнее не называемом) «Словаре смерти», в котором предполо-

жительно были собраны самые разные предсмертные слова. Поскольку людей в мире успело умереть много больше, чем существовало (во всех языках) слов, то получалось, что не было такого слова, которое не было бы произнесено кем-то на смертном одре, разве что за исключением каких-нибудь совершенно запредельных и непроизносимых научных терминов.

А еще Альбина-Беба вдруг поняла, что в мнимом ухе языка Иванов винит не себя, не исчерпанность своих скромных (Альбина-Беба с трудом заставляла себя дочитывать до конца его произведения) способностей, сколько... ее отца, который из жалости и странного каприза богатого человека, дав деньги, доказал своему лучшему другу, что он пуст не потому, что мир вокруг дерьмо, а потому что пуст, независимо от того, что представляет из себя мир.

«Впрочем,— вдруг произнес Иванов, посмотрев на А-Б прозрачными, как вода, глазами,— твой отец хочет дать мне последний шанс вернуть язык... Наверное,— понизил голос,— твой отец — бог. Он осыпает меня милостями, которые выше моего разума».

«Неужели... — брезгливо поморщилась А-Б, — он собирается дать денег, чтобы вы наняли кого-то, кто будет писать вместо вас?»

«Нет, — рассмеялся Иванов, — он всего лишь предложил мне... физическое бессмертие. А что такое физическое бессмертие для писателя? Это шанс, — с ненавистью посмотрел в глубь аллеи, где предположительно скрылся тяжело нагруженный похищенным добром язык, — ухватить его за хвост, вернуть гада домой! Надеюсь, ты слышала про так называемый ген вечной жизни?»

«Если вы будете так пить с утра,— сказала А-Б,—
ген вечной жизни вам не поможет»,— и пошла прочь.

16

...А-Б по-прежнему стояла перед столиком, за которым сидели парни, которых она собиралась угостить мороженым, в то время как в параллельной (языческой, а может, язычной?) жизни она успела просуществовать целую вечность, которая, как подозревала Альбина-Беба, принципиально не имела завершения. В линейном измерении должно было пройти много времени, но, похоже, прошло всего ничего, потому что в стоящих перед парнями на столике кружках пена несколько не опала, а сами они продолжали с неубывающим интересом смотреть на Альбину-Бебу. Но если долгую пену еще можно было объяснить отменным качеством пива, то неубывающий интерес — только смещением временного цикла, ибо давно и всем известно: нет ничего более недолговечного и невозполнимого, нежели интерес одного человека к другому. Разность полов хоть и выступала в роли фактора, продлевающего этот интерес, решающего значения опять-таки не имела.

Единственно, А-Б показалось странным, что внутри временных смещений каким-то образом затесалось (натекло?)... пиво. Причем здесь пиво? Почему его пил (в параллельной жизни) писатель Иванов? Почему его (в линейной жизни) пьют эти мальчишки? «Пиво,—

вспомнились А-Б задушевные слова ТВ-рекламы, — это жизнь. Оно делает нас людьми». Неужели, испугалась А-Б, никакой реальной (единой и неделимой) жизни (мира) вообще не существует и человек, подобно мухе, бьется в многоярусной паутине параллельных миров и жизней?

— Назовите мне единственное вечно живое слово, — сразу взяла быка за рога Альбина-Беба, к чему было церемониться в паутинном мире? — То самое, какое никогда никем не произносилось в момент смерти. Мне кажется, — внимательно посмотрела на своих собеседников, — кто откроет это слово, тот будет жить... бесконечно.

У смещенного времени имелись свои плюсы. Можно было, пропуская второстепенное, сразу переходить к интересному, совершать лягушачьи прыжки через замедляющие эпизоды. Если бы А-Б обратилась к ребятам с таким вопросом во времени линейном, те бы подумали, что она пьяная, обколота или сумасшедшая. В смещенном можно было все.

— Даже если допустить, — несколько не удивился неожиданному вопросу Птицекот, — что такое слово существует, как можно быть уверенным, что кто-нибудь не произнесет его... да хотя бы прямо сейчас?

— И потом, — добавил Лицешпиль, — на каком языке? Я думаю, что такое слово, безусловно, существует, но оно известно одному лишь... Богу. Если допустить, что существует единый Божественный язык, на котором мыслит и разговаривает, если Он, конечно, разговаривает сам с собой, Бог, то это слово хранится там.

— Другое дело, — добавил Птицекот, — что кто-то может произнести его случайно в виде некоего немотиви-

рованного звукояда. Но это... все равно что, впервые в жизни посмотрев в телескоп, угадать, на какой из миллиардов звезд во Вселенной есть жизнь.

— Я думаю, что это слово — ген, вмонтированный в человека, но до поры, так сказать, заархивированный. Если, конечно, человек создан по образу и подобию, — сказал Лицешпиль.

— Кто его активирует, приобретет вечность, — продолжил задумчиво Птицекот.

— Это может произойти лишь случайно, в силу каких-то экстремальных обстоятельств, — уточнил Лицешпиль. — Но если все же произойдет, то будет немедленно исправлено...

— Всей мощью имеющихся в распоряжении Господа ресурсов, — вздохнул Птицекот.

— Но самое смешное, — с какой-то нечеловеческой тоской посмотрел на Альбину-Бебу Лицешпиль, так что у нее решительно не возникло желания смеяться, — заключается в том, что это уже произошло.

А-Б подумала, что они — идиоты, несмотря на то что весьма органично вписались в смещенную реальность, внутри которой она существовала. Непонятную реальность, состоящую из перемешанных в прошлом, настоящем и, возможно, будущем, а заодно и в пространстве (не могла же А-Б одновременно пить пиво в двух местах — с этими ребятами и писателем Ивановым?), эпизодов, разговоров, мыслей и, возможно (пока, впрочем, дело до них не дошло), дел.

Если народы, вспомнила Альбина-Беба цитату, часенько озвучиваемую застиранной временем фактически

до полного исчезновения старушки-философии, — это мысли Бога, то языки, продолжила мысль А-Б, — шифры Бога, который суть и часть повелевающей миром силы. Шифры силы и одновременно средства зашифровать силу. Выходило, что языки в режиме non-stop и on-line расшифровывали и зашифровывали мир, и не было этому процессу конца и начала, если, конечно, не принимать во внимание, что вначале было слово.

То самое, о котором они только что говорили.

Взять слово «клетка», как птица, перелетела на другую (мысленную) ветку Альбина-Беба. Это многозначное словечко не давало ей покоя. В биологическом измерении клетка — строительный материал организма, основа жизни. Но в то же время клетка — место заключения, железный скелет внутри пространства, из которого не вырваться, ограничение жизни, которое можно идентифицировать как... смерть. Клетка — основа жизни, таким образом, заключена в клетку — смерть.

Да, мир был зашифрован.

Все мы, подумала Альбина-Беба, — я, Лицешпиль, Птицекот и так далее — всего лишь знаки и символы этого шифра. При этом ключ к шифру лежит... во рту у каждого, точнее на языке, еще точнее — внутри самого языка, но мало кто обращает на это внимание.

В происходящем определенно наличествовал момент некоего «зависания». Не того «зависания», когда жизнь (книга, отношения с тем или иным человеком, мысли, планы и так далее) становится безнадежно скучной, а когда — не знает, куда двигаться дальше, как бы зами-

рает в неизвестности. Когда возможно все, но и ничего тоже отнюдь не невозможно.

— Вы меня разочаровываете,— сказала Альбина-Беба парням.— Это слово, в России по крайней мере, знает каждый ребенок. Это слово...

— Ты с ума сошла! — крикнул Лицешпиль.

— Если ты его произнесешь, нам кранты! — выразительно завернул (почему-то вблизи от собственного горла) эти самые «кранты» Птицекот.

— Но ты его не произнесешь,— тревожно рассмеялся Лицешпиль.

— Потому что ты не можешь знать этого слова! — торжествующе закончил Птицекот.

— Если, конечно, отвлечься от того, что ты его уже произнесла,— спокойно продолжил Лицешпиль.

— И, следовательно, мы обречены,— завершил бессмысленный диалог Птицекот.

После чего оба дружно окунули носы в пивные кружки, которые вдруг вспыхнули в вечернем воздухе, как... лезвия. Да, именно такое сравнение пришло в голову Альбине-Бебе. И еще ей показалось, что будто бы эти световые кружечные лезвия пронзили насквозь ее и парней, что уже было каким-то полнейшим абсурдом.

Хотя, собственно, почему?

Как будущий врач, как студентка медицинского института, собирающаяся стать хирургом, Альбина-Беба знала, что человека может убить все что угодно: лезвие, пивная кружка, свет, звук, радиация, булавка, укусы пчелы, летающая в воздухе пыль и так далее. Человеческое тело было безмерно хрупким. Жизнь теплилась

в нем, как огонек свечи в дрожащей руке посреди ночного сырого кладбища. Его мог загасить не только порыв кладбищенского ветра, но и случайное неосторожное дыхание. Но в то же самое время человека могло не убить прямое попадание свинцовой пули в голову, удар ножом в сердце, падение на асфальт с пятого этажа, килограмм стрихнина, запредельная доза радиации. Тайфун, объединившийся с торнадо, землетрясением и извержением вулкана, не мог загасить дрожащую в руке кладбищенскую свечку. В этом, собственно, и заключалась тайна жизни. Все, что могло убить или пощадить человека, вмещалось в склонную к угрюмому юмору, повелевающую миром силу, а может, как раз и являлось этой силой.

У Альбины-Бебы возникло ощущение, что она погружается в эту силу, входит в нее, как купальщица в море без одежды, (и надежды) вернуться на берег. А-Б растворялась в море силы, как если бы была из сахара или соли. Тайны жизни нет, подумала она, но есть нечто, от чего невозможно скрыться, и это справедливость — конечная истина мира. Человек, подумала она, не хочет знать истину точно так же, как не желает смириться с тем, что смерть неизбежна и неотвратима, что в нее следует уходить, как... в справедливость. На этом, собственно, и стоит, по крайней мере была изначально поставлена, так называемая цивилизация.

Но может ли смерть быть ключом к шифру, моментом истины, точнее, моментом конечной истины, задумалась Альбина-Беба. Или она — всего лишь (как в компьютере) переход в новую систему символов, когда

вместо привычных букв появляются какие-то странные не то иероглифы, не то руны?

Но тогда как быть с содержанием, разве может быть старое содержание переложено на новые символы? Неужели здесь действуют законы математической лингвистики? То или иное содержание должно оставаться в предназначенных исключительно для них системах символов. Иначе все нарушается.

Зачем снова и снова искать ключ к шифру?

Куда девать багаж накопленных в одной системе символов грехов и добродетелей?

К чему этот бесконечный поиск?

Кем, зачем, для чего зашифрован мир?

Какой во всем этом смысл?

Разве не предпочтительнее — гениальная простота, единая для всех шкала ценностей и как следствие, — единый, справедливый, суд?

Почему был расформирован, разогнан, как... убыточный колхоз... рай? — вдруг в непонятном гневе задумалась Альбина-Беба.

А в общем-то, устало подвела она итог собственным мыслям, какое все это имеет значение?

Все, что прежде ее волновало, что, собственно, составляло ее жизнь, сейчас было где-то далеко, как будто она была птицей и летела в последний раз над своей оставленной внизу жизнью, перед тем как раствориться... где?

Уже не в море, а в небе?

Или в... справедливости?

Альбина-Беба посмотрела по сторонам. Город переживал вечерний (или предвечерний) час массового возвращения людей с работы. Движение на двух сливающихся в одну магистралах напрягалось, как перетруженная жила. В месте слияния у Дорогомиловской заставы образовался длинный, коптящий выхлопными газами тромб. Город определенно испытывал сложности с верхним (на проезжей части улиц) и нижним (в общественном транспорте) давлением, был близок в этот час к инсульту или инфаркту.

Но жизнь длилась, как она длилась везде, где только появлялась возможность и даже там, где никакой возможности для этого не было.

Это был час красномордых (выпивших) мужчин, готовых к продолжению пьянства. Час их зарождающейся агрессии против неудавшейся жизни, но главным образом — час протеста против ее застывших, как бетон, рамок: семья (постылая жена и проблемные дети, безденежье и отсутствие перспектив). Гнев мужчин, как правило, обращался на вторичные (семейно-бытовые) рамки, тогда как надо было раздвигать первичные (общественно-социальные), воспроизводящие в массовых масштабах эту самую неудавшуюся жизнь.

— В преддверии революций, — как будто прочитал мысли А-Б Птицекот, — всегда резко возрастает так называемая бытовая, немотивированная преступность.

— Умная власть никогда с ней всерьез не борется, — добавил Лицешпиль, — напротив, поощряет ее,

запуская запредельную коррупцию в милицию, прокуратуру и суды.

— Это клапан, позволяющий сбрасывать излишнее давление, — сказал Птицекот, — а заодно изолировать от активной деятельности активных людей. Сегодня у нас в России каждый четвертый мужчина или уже сидел, или еще сидит.

Час замученных — с сумками в руках — женщин, занырывающих в продовольственные магазины. По причине жары многие женщины были без чулок, и их синие вылезшие вены на ногах были в один цвет с сумерками. Именно такими длинными синими или сетчато-раскидистыми штемпелями на ногах помечались ускоренно уходящее время, красота и молодость.

Женщины мрачно несли на своих ногах, как на конвертах, сумеречные символы отправленных (они знали куда) писем. Далеко не все из них могли раствориться в детях и внуках, а потому на их гладких (наморщенных, со складкой, морщинистых, под челками и открытых) лбах читалась мысль о так и не найденном (утраченном, потерянном, ушедшем неведомо куда, растворившемся неведомо в чем) понимании собственного предназначения в этой жизни, обернувшейся вдруг сплошной, растянутой во времени болезнью и борьбой, в которой невозможно было одержать победу.

— Умная, стремящаяся сохранить себя власть обязательно должна разрушить систему здравоохранения, — заметил Птицекот, проследив скользящий по ногам взгляд Альбины-Бебы. — В первую очередь систему женских консультаций и роддомов. Ну, на худой конец,

запустить туда случайных, купивших дипломы, людей, желательно из других краев. Женщины не должны думать, влиять на мужей, воспитывать детей и так далее. Они должны мучительно и безнадежно сражаться за собственное здоровье.

— Естественно, власть ни в коем случае не должна платить врачам,— продолжил Лицешпиль.— Умная власть должна создать такие условия, чтобы врачи вымогали деньги из больных, ставили их, так сказать, на конвейер: анализы, консультации, диагноз, специалисты по кругу. Все, естественно, за деньги, но... без эффективного лечения.

— И это правильно, это разумно,— отхлебнул из кружки Птицекот,— заболевший человек, как птенец из гнезда, выпадает из элементарной общественной жизни. Ему не нужна справедливость. Его не волнует величие страны. Ему нужна всего лишь его собственная жизнь. Он не способен ни на что, кроме бесконечной сдачи анализов. Поэтому таких людей должно быть как можно больше.

— Для этого,— по-свойски пододвинул свою кружку А-Б Лицешпиль,— желательно наладить разветвленную, чтобы доходила до каждого жалкого медпункта, сеть распространения фальсифицированных лекарств. Опять же, неплохие деньги можно заработать.

— Неплохие,— согласился Птицекот,— но несравнимые с пенсионными. Ты представляешь, как здорово придумано! У людишек с каждой зарплаты идут туда отчисления, а сами людишки до пенсии не доживают! Это же настоящее, а главное, неисчерпаемое Эльдорадо!

А-Б подумала, что ребята (в своем измерении бытия), видимо, правы, но существуют и другие измерения.

Профессор, читавший в институте курс хирургии, к примеру, объяснял, что варикозное расширение вен — это болезнь, вызванная... гравитацией. Мать сыра земля (опережающе?) втягивая в себя пульсирующую в женских ногах живую кровь, не пускала ее вверх, отчего кровь застаивалась в ногах, лишая вены упругости, завязывая их в узлы, перечеркивая (в прямом и переносном смысле) женские ноги, как треснувшие оконные стекла клейкими синими лентами. Скальпелем, помнится, сделал тогда неожиданный вывод профессор: невозможно победить силу земного притяжения.

Равно как и давление атмосферного столба, подумала сейчас Альбина-Беба, обволакивающее голову невидимым мягким свинцом, исключаящее всякое (в том числе и социальное) сопротивление судьбе (власти). Или кровавое давление, рано или поздно (но неизбежно) разрывающее сосуды, заливающее (гасящее) кровью мозг (сознание) и тем самым отключающее человека от того, что принято называть жизнью, прерывающее его связь с судьбой и властью.

Жажда социальной справедливости и разумного государственного устройства — это тоска по раю, подумала А-Б, извечное стремление крови (жизни) победить земное притяжение (смерть). Рай невозможен, вздохнула Альбина-Беба. Скальпелем революции (революционным скальпелем) не победить гравитацию несправедливости, или, усмехнулась она, вспомнив старушку-философиню (та, кстати, почти что победила гравитацию, достигла не-

совместимой с жизнью невесомости), «царяющего зла», как говорили в девятнадцатом веке.

Человек был удивительно приспособленной к жизни биологической машиной, но при этом был не менее удивительно несовершенен. Такой вывод сделала Альбина-Бeba после многих часов, проведенных в прозекторских, а также в поликлиниках и больницах, где они — студенты — вживую наблюдали мертвых и больных (то есть находящихся в процессе умирания) людей. Все в мире было основано на смерти и воспроизведении, и этот круг человеку было не разорвать ни с помощью медицины, ни (хотя верить в это не хотелось) с помощью религии.

...Почему-то перед глазами Альбины-Бебы вдруг возникло лицо матери — белое, гладкое, почти атласное, но с выраженными следами увядания: черепашьей сеточкой морщин вокруг глаз, поникшей, как бы уставшей линией губ, металлической сединой, которую мать иногда закрашивала, а иногда зачем-то на какое-то время оставляла. В ее лице и теле наличествовало странное смешение черт, как будто старость с размаху врезалась в молодость. Как будто мать по странному недосмотру слишком долго оставалась молодой, но высшие силы спохватились и бросили ей в лицо горсть праха, который растворился в нем, в принципе ничего не нарушив, но подсветил лицо изнутри тленом, наложил на него печать старения и угасания.

Впрочем, жизнь матери отличалась от жизни большинства, идущих по улице женщин. Как и ее ноги, над которыми сила притяжения земли пока была невластна. У матери были без единой вены (как у мраморного

изваяния) ноги и удивительно легкая (для мраморных ног) походка, как будто внутри ног были крылья. Иногда Альбине-Бебе казалось, что мать почти летит над землей, не касаясь этой самой земли ногами. Наверное, подумала А-Б, существует иная, неподвластная земному притяжению, а точнее, подвластная иному, диаметрально противоположному притяжению кровь. Эта кровь гнала вверх (в астрал?) жизненные и умственные силы, абортировала человека из чрева матери сырой земли. А говоря по-простому, сводила с ума, превращала в отродье.

Но при всей своей астральной крылатости мать сутулилась, что свидетельствовало об усталости от жизни, а также о том, что внутри общих для всех законов возможны послабления, но совершенно невозможны исключения. Хотя не существовало в мире человека, вопреки очевидности не мечтающего, не греющего себя (до самого последнего мгновения) мечтой об этом самом невозможном исключении. Просто одни волокни старость, хрипя, как тяжелый сундук, другие же (как мать) — как легкий рюкзачок за плечами. От которого тем не менее сутулились плечи. И это перечеркивало полет, подводило мать под некий общий знаменатель, которым являлась мать сыра земля. А может, вдруг вспомнила про индуистов А-Б, отец горяч огонь. Или их многочисленные кровные родственники — мать глуха вода, мать свинцова пуля, мать жестка петля, отец холод клинок и так далее.

Альбина-Беба подумала, что медицина как наука и врачи как специалисты изначально бессильны против таких вещей, как гравитация, скорость вращения Земли,

электромагнитные аномалии, регулируемые лунными циклами приливы и отливы.

Точно так же любое социальное действие, мысленно обратилась она к парням, не может победить изначальную социальную несправедливость, а может лишь перевести ее в другой, так сказать, формат.

Но человек, подумала А-Б, никогда с этим не смирится.

Как и со смертью.

18

А-Б подумала, что любая наука, любая, так сказать, отрасль знаний — в принципе тупик, упирающийся в смерть. Суть любой науки — абсолют (итоговое, объясняющее суть, открытие). Наука — сражение с тайной, общевойсковой (если уподобить человечество армии) штурм тайны. Абсолютом (сутью) медицины, таким образом, являлось постижение тайны бессмертия.

Но странность прогресса заключалась в том, что человек доводил практически каждую науку (физику, химию, баллистику, биологию и так далее) до той степени развития, когда с ее помощью можно было легко уничтожить мир, но крайне затруднительно — продлить собственную жизнь. Каждый раз, вторгаясь в сердцевину мира природы (отправляясь в волшебный мир знаний), человек возвращался оттуда не с эликсиром бессмертия, но очередной технологией, способной разнести к чертовой

матери всю землю, то есть уничтожить не только себя, но жизнь вообще.

А-Б снова вспомнила просветительский канал «Discovery». Там часто показывали ученых, которые всю жизнь занимались изучением торнадо или цунами. Эти ученые лезли в самую душу зарождающегося торнадо (с цунами это было не так просто), чудом оставались в живых, а некоторые и погибали, но других это не останавливало. А-Б слушала их восторженные рассказы о пережитых внутри торнадо ощущениях, но при этом чувствовала, что этих людей как магнитом притягивает к себе сила, над которой они невластны. Иначе чем объяснить их очевидное восхищение и какое-то ненормальное влечение к смерчу, сдувающему с лица земли дома, дороги, машины, то есть все то, что (по идее) должно быть дорого человеку. Природа (пока?) была сильнее человека в деле разрушения и уничтожения, но человек не желал с этим мириться. А-Б не сомневалась, что итогом изучения торнадо и цунами станут новые виды оружия, способные уничтожить мир.

Какой-то тут стоял непреодолимый и универсальный ограничитель.

И назывался он, как догадалась Альбина-Беба, смерть.

Но это было только одно из возможных его названий.

У него было много измерений. Он был одновременно Вселенной, где вращались галактики, и — микромиром, где вращались элементарные частицы, из которых, собственно, и состоял мир.

Получалось, что единственной стихией, где было возможно бессмертие, являлась... смерть. Только там —

внутри абсолютного покоя — заключалась та самая вечность, которую, как догадывалась Альбина-Беба, однажды потревожил Дух Божий. И с тех пор носил ее в сердце Своем, как тот самый итоговый (конечный) символ (суть), который вмещает все, но не отдает ничего.

И главное, там не тесно, ни к селу ни к городу, несолидно как-то подумала Альбина-Беба, квартирный вопрос там никого не портит. Для каждого там предусмотрено местечко.

Она попыталась вспомнить, как зовут милых ребят, в обществе которых ей так легко и конструктивно думалось, но это было совершенно невозможно, как если бы их имена уже были там — на территории, где квартирный вопрос никого не портит и где для каждого предусмотрено местечко.

— Как меня зовут? — решила зайти с другого конца Альбина-Беба.

— Я знаю, — сказал Лицешпиль, — но... не скажу.

— Я тоже знаю, — быстро добавил Птицекот, — но тоже не скажу.

— Почему? — удивилась Альбина-Беба.

— Потому что твое имя — то самое слово, которое... — приложил палец к губам Лицешпиль.

— Нельзя произносить ни при каких обстоятельствах, — уточнил Птицекот, — если, конечно, не хочешь отправиться туда... где мы сейчас, — закончил фразу с невероятной тоской.

А-Б поняла, что их общение протекает в двух, так сказать, измерениях: словесном и мысленном (телепатическом). А вдруг мы... боги, с достоинством подумала

она, избранники высшей силы? Мысль была смелая, но непродуктивная. И, по всей видимости, ложная, потому что ребята никак на нее не откликнулись. Похоже, в голову А-Б все же был в аварийном режиме встроен некий фильтр, который не допускал до телепатической передачи заведомую чушь. А-Б подумала, что женщинам бредовые мысли почему-то приходят в голову гораздо чаще, чем мужчинам. Один ее знакомый аспирант-хирург объяснял это тем, что в теле женщины больше свободного пространства и устроено оно (если его предельно упростить) на манер полой трубы. А что происходит в полой трубе? — помнится, спросил этот аспирант у А-Б, которая замешкалась с ответом, поскольку там происходило много всего, и сам же ответил: в полой трубе, какой бы спокойной ни была атмосферная аэродинамическая обстановка, всегда воеет и бесится дурной ветер.

— Твое имя — пароль, — сказал Лицешпиль, — открывающий самодостаточную базу данных, альтернативную всем существующим почтовым службам.

— А вы, как я понимаю, — усмехнулась Альбина-Беба, — не торопитесь на альтернативное почтовое отделение?

— В принципе, — заметил Птицекот, — человек не может быть лишен права переписки. Но в нашем случае речь идет о том, что некое, достаточно немногочисленное сообщество людей намерено превратить переписку в бесконечный процесс. — Намерение тем более нетерпимое, — продолжил Лицешпиль, — что каждый человек, помимо того, что он пишет письма, еще и сам является письмом.

— Которое рано или поздно отправляется туда, откуда... ответ идет слишком долго? — спросила Альбина-Беба.

— А вот эти люди как раз и не хотят туда отправляться, — ответил Лицешпиль. — Они хотят, чтобы туда отправлялись другие, но только не они. Не хочется говорить о грустном вечером за пивом. Или, наоборот, именно о грустном и надо говорить вечером за пивом?

— В сущности, — в недоумении посмотрел на свою пустую кружку Птицекот, — речь идет об остановке времени. Или, если угодно, прекрасного мгновения. Вот только прекрасным оно будет не для всех.

— Почему? — спросила А-Б, хотя в общем-то знала ответ.

— Все предельно просто, — объяснил Птицекот. — Существующая реальность как бы консервируется с помощью технологии вечности. Те, кто в данный момент у власти и кому они позволяют, — живут бесконечно. А все другие, как прежде, умирают. В данный момент, — без улыбки посмотрел на Альбину-Бебу, — мы находимся в точке, где история человечества как некий солидарный процесс завершается. Одни получают вечное наслаждение, то есть рай. Другие — труд, страдание, тяготы, безутешные мысли о Боге — то есть ад.

— Разве труд и мысли о Боге — это ад? — удивилась Альбина-Беба.

— Вне социальной и высшей справедливости — да! — подтвердил Птицекот. — Видишь ли, — весело подмигнул он А-Б, — я открыл основной закон развития человечества. Это закон эволюции власти. Только идиоты

думают, что на власть можно влиять, побуждая ее к элементарной справедливости. Власть стремится не просто к самодостаточности, но к герметичной самодостаточности, то есть к бессмертию для себя, конвертированному в вечное и не подлежащее пресечению управление смертными людьми. Это абсолют, конечная точка развития. В сущности, власть стремится уподобить себя... Богу.

— Логично, — согласилась А-Б, — за исключением одной лишь малости. Бессмертие невозможно.

— Ошибаешься! — возразил Лицешпиль. — Еще как возможно. В данный момент оно находится в контейнере...

— Который, в свою очередь, находится в другом, с электронной системой защиты контейнере... — продолжил Птицекот.

— Ну да, — усмехнулась А-Б, — а там яйцо, в котором игла...

— И все это, — подвел черту Лицешпиль, — покоится в багажнике «мерседеса» твоего отца, который мы взорвем.

— Потому что как только он отвезет яйцо с иглой туда, куда ему велели, процесс выйдет из-под контроля, — объяснил Птицекот. — Мы делаем все это для тебя, — положил свою горячую руку поверх холодной руки А-Б. — Если твой отец не отвезет им яйцо с иглой, они могут похитить тебя и предложить ему обмен.

— Кстати, моя фамилия Хвостов, — сказал Лицешпиль, — звать Виталием. Я понимаю, звучит не очень эстетично, но что есть, тому и быть. Чем плохая фамилия? Не лучше и не хуже, чем скажем... Носов. Видишь,

я готов рискнуть ради тебя... хвостом, в сущности, единственным, что у меня есть.

— А я имею честь носить двойную фамилию и имя с лишней гласной, — церемонно поклонился Птицекот. — Димитрий Лекалов-Соннов к вашим услугам... Странно, — задумчиво добавил после паузы, — почему в классической литературе практически нет положительных героев с двойной фамилией, зато полно отрицательных?

— От зависти, — ответила Альбина-Беба, — сочиняли-то эту самую литературу люди с одинарными фамилиями.

— Полагаю, что в случае с моей фамилией речь идет о неких лекалах для... снов. Вероятно, имеется некий материал, из которого кроются сны, а раз они кроются, то, вероятно, в этой швейной мастерской имеются и лекала.

— Имя материала, из которого кроются сны, — подсознание, — заметила Альбина-Беба, — это написано во всех учебниках. Лекала же для него предложил, если не ошибаюсь, давным-давно один портной по имени доктор Фрейд. У тебя странная фамилия, дружок. Я думаю, второй такой в мире нет.

— Зато Хвостовых пруд пруди, — сказал Виталий. — Странно, вроде бы хвост для человека — атавизм, нет у человека хвоста, откуда же такая фамилия?

— А станция Хоботово в Белгородской области? — спросил Димитрий. — Не гневи Бога, Хвост. Бог не может ошибиться ни с фамилией, ни с именем, ни с названием станции.

— Будем считать, что познакомились, — сказала Альбина-Беба. — Зовите меня просто А-Б.

— Всего две буквы,— вздохнул Димитрий,— слишком мало пространства, чтобы разместить лекало.

— Тогда А-Я,— предложила Альбина-Беба,— в этом пространстве растворятся любые лекала.

— Если нам предстоит короткое знакомство, тогда да, А-Б,— предложил Виталий.— Если длинное, тогда А-Я. Выбирай сама.

— Я за длинное,— сказала А-Б.— Мое решение вам известно. Предлагаю перейти от слов к делу.

— Да мы давно перешли,— ответил Хвостов,— всего делов-то,— извлек из сумки миникомпьютер,— нажать кнопку и...

— Прощай, бессмертие! — воскликнул Лекалов-Соннов.

— «Мерседес» жалко,— сказал Хвостов.

— А ты не жалеешь,— подбодрила его Альбина-Беба,— у нас много «мерседесов».

— Значит, А-Я, на всю оставшуюся жизнь,— мечтательно произнес Хвостов.— Вот только,— растерянно посмотрел по сторонам,— сдается мне, оставшуюся — не означает долгую.

— А мне сдается, что она у нас получится какая-то единая, слитная какая-то жизнь,— добавил Лекалов-Соннов.— Хотя, в принципе, все это уже было.

— Ага, Маяковский, Лиля и Осип Брики, Ахматова, Судейкина плюс Лурье, или Лурья... и... многие другие трио,— подсказал Хвостов.

— Я не это имел в виду,— с тоской произнес Лекалов-Соннов,— я не знаю, откуда у меня эти мысли.

— От верблюда, — предположил Хвостов. — Верблюд и... Пушкин — два необъятных вместилища русского духа. Все непонятно откуда взявшееся — от верблюда, все не сделанное должен завершить Пушкин.

— Нет разницы между А-Б и А-Я, — сказала Альбина-Беба, — в нашей общей жизни, точнее, в нашем общем сне.

— Если только это сон, — сказал Хвостов.

— А что тогда? — с недоумением посмотрела по сторонам Альбина-Беба.

Она была уверена, что троллейбус, который она видела проезжающим мгновение назад, опять проехал мимо их столика. А-Б обратила внимание на странную даму с шляпе со страусиными перьями, стоящую у дверей. Перья на шляпе колыхались, из чего Альбина-Беба сделала спорный вывод, что дама полемизирует с контролером, квадратная спина которого в пропотевшей рубашке тоже промелькнула в окне, как матерчатая заплатка на стекле. А-Б узнала спину огромного бородатого контролера, не раз штрафовавшего ее за безбилетный проезд. И вот этот троллейбус опять проехал мимо их столика. И точно так же волновались протестующие страусиные перья на шляпе, и точно так же несокрушимо прела в окне спина контролера. Интересно, подумала А-Б, ангелам полагается брать билеты в троллейбусе? Она не сомневалась, что огромный контролер захомутил ее... ангела-хранителя. Но кто, подумала Альбина-Беба, кто может захомутировать ангела-хранителя? Только бес-искуситель. Но на беса-искусителя бородатый, воняющий потом, водкой и луком контролер определенно не тянул. Ему нечем бы-

ло искушать А-Б. К тому же она всегда исправно и беззвучно платила штрафы.

А-Б решила ничему не удивляться. Даже если увидит... Пушкина на верблюде.

— Это не сон, — вздохнул Лекалов-Соннов, — это... самая что ни на есть жизнь, точнее даже больше, чем жизнь. Ее квинтэссенция, сердцевина, средоточие, суть, смысл, сухой или мокрый, реальный или виртуальный, не знаю, какой там еще... остаток. Тот самый, как праздник, который... если, конечно, смерть — праздник, всегда с тобой.

— Который ты понесешь на главные весы? — кивнула в сторону неба Альбина-Беба.

— Экзаменационный билет, — словно не расслышал ее Димитрий, — ответ на который — ты сам, точнее все то, чего ты о себе не знаешь, но что есть истина о тебе. Слушай, если ты раздумала угощать нас мороженым, тогда мы угостим тебя пивом!

— Тем более, — заметил Хвостов, — что оно в одну цену с мороженым.

— Двадцать два рубля и... двадцать две копейки? — не поверила Альбина-Беба.

— Сдается мне, что и наши жизни в одну цену, — задумчиво произнес Лекалов-Соннов, — только ты хочешь угостить нас мороженым с какими-то непонятными названиями, — взял со стола вплавленный в пластик ценник, — «Реб», «Сирохо», «Член»... А мы тебя пивом под куда более романтичным названием...

— «Судьба. Темное». «Судьба. Светлое», — прочитала вслух Альбина-Беба. — Мне, пожалуйста, светлую «Судьбу», — распорядилась она.

До сего дня А-Б не встречала такого пива. Наверное, это был какой-то совсем новый, не раскрученный еще на ТВ сорт. Как бы там ни было, название показалось ей всеобъемлющим. Это было универсальное, на все случаи жизни пиво. Оно могло быть некачественным, но ведь и судьба у многих людей гораздо чаще некачественная, нежели качественная. Могло оказаться очень даже приличным. Так ведь и в судьбе не все однозначно плохо.

Альбина-Беба вдруг почувствовала ни с чем не сравнимую, неистребимую жажду, как будто только что вышла из пустыни, где ходили... верблюды? Она сама не заметила, как сначала осушила кружку Хвостова, а потом — Лекалова-Соннова. Самое удивительное, что она не запомнила вкуса пива, как не запоминает человек вкуса воды, когда судорожно и торопливо утоляет жажду. Альбина-Беба сделала знак рукой продавщице, у которой в одной половине холодильного ящика лежало мороженое со странными названиями, в другой — темное и светлое пиво с не менее странным названием «Судьба». Та с готовностью приблизилась, но не с бутылками, а с мороженым, которое буквально насильно всучила оставшимся без пива парням.

— Это вам не судьба, — усмехнулась, расплачиваясь за мороженое, Альбина-Беба.

— Конечно, не следует злоупотреблять «Судьбой», когда предлагают... «Реб», — с тоской посмотрел на мороженое Лекалов-Соннов. — А у тебя? — поинтересовался у Хвостова.

— И у меня «Реб», — отозвался тот.

— Другие тоже, — распорядилась А-Б.

— «Член» не обязательно,— заметил Лекалов-Соннов,— оставь себе.

— Два «Члена»,— уточнил Хвостов.

Они принялись за мороженое без малейшего энтузиазма.

Альбине-Бебе захотелось еще пива. Она даже начала слегка стесняться этого своего желания. Поэтому завела руку за спину и начала выводить в воздухе пальцем слово «пиво» в надежде, что смышленная продавщица поймет. И та поняла. В заведенную за спину руку Альбины-Бебы, как собака, ткнулась холодным носом бутылка. Альбина-Беба подумала, что незаметно получить бутылку проще, чем незаметно ее выпить.

— Женщины из системы питания,— проводил взглядом операцию Лекалов-Соннов,— это особые женщины. Близость к еде трансформирует их сущность. Подсознательно они начинают воспринимать себя и, соответственно, предлагать себя другим как провизию. В лучшем случае, как деликатес. В худшем — как способ быстро утолить голод.

— Сексуальный голод? — утвердительно предположил Хвостов.

— Когда женщина, как рыба в воде,— в системе питания, или, как Ленин, как рыба в чешуе,— в продуктах,— сказал Лекалов-Соннов,— секс выходит в ее жизни на второе место.

— Секс или любовь? — уточнила Альбина-Беба.

— Секс не может заменить женщине любви,— глубокомысленно произнес Лекалов-Соннов,— как, впрочем, и любовь секса.

Мысль была правильной, как, собственно, любое, даже на первый взгляд случайное или умышленно-абсурдное словосочетание. Альбина-Беба еще раз восхитилась изначальной самоценностью языка. В каждом слове заключался океан смысла, а океан, как известно, был именно тем местом, откуда на сушу, кажется, в виде гигантского уродливого тритона, вышла жизнь.

— Речь идет о полноценном обеде, — продолжил мысль приятеля Хвостов. — На первое секс, на второе любовь, а на третье...

— Дети, — завершила мысль Альбина-Беба.

— Некоторые, впрочем, — сказал Хвостов, — отказываются от третьего, от десерта.

— И уходят из-за стола голодными? — спросила Альбина-Беба.

— Разве что в высшем, так сказать, судьбоносном смысле, — уточнил Лекалов-Соннов. — Но человек — такая сволочь, что этот голод как раз его и не страшит. Напротив, он... вообще не считает его голодом. Вот если ему не удастся прорваться к котлу, где варят и перчат первое, то есть секс, он да, теряет сознание от голодного... скажем так, бешенства...

Сейчас скажет «матки», подумала А-Б.

— Не важно, матки или батьки, — строго посмотрел на нее Лекалов-Соннов.

— Не обращай на него внимания, А-Б, — махнул рукой Хвостов, — видишь ли, наш друг Лекалов, он же Соннов, грустит, потому что ему недоказанно изменила любимая девушка. Он может пойти путем Отелло. Может — путем князя Мышкина, которого, как известно,

эти проблемы вообще не волновали. А может... вообще никуда не пойдет, останется стоять на месте, что, на мой взгляд, будет самым правильным.

— Что значит — недоказанно? — поинтересовалась Альбина-Беба. Ее волновали житейские моменты, связанные с изменой и ревностью.

— Недоказанно — это значит вне соблюдения классического триединства: места, времени и действия, — охотно объяснил Хвостов. — Он не знает где, когда и с кем.

— А что же он тогда знает? — удивилась Альбина-Беба. Ревность в ее представлении была злобной тенью любви и секса. В зависимости от состояния атмосферы и преломления света тень могла быть устрашающей, а случалось, тени не было вообще, хотя предметы натурально должны были ее отбрасывать. Альбина-Беба еще давно сделала вывод, что ревность и подозрительность в любовно-сексуальных делах сродни алкоголю. Человек знает, что пьянство — зло, но почему-то пьет. Знает, что ревность непродуктивна, но изнуряет себя, ревнует, тратит не столь уж долгую жизнь на переживания. Как будет, спустя какое-то время, будет иметь хоть какое-то значение, изменила ему такая-то женщина с таким-то мужчиной или нет, если, конечно, при этом дело не кончилось СПИДом.

Но тени преследовали людей, затеняя разум. Так что вполне могло стать, что ревность как раз и являлась тенью разума, у которого вообще-то было много разных теней. Их было столько, что порой и сам разум было не разглядеть. Из чего наиболее отважные умы делали вывод,

что сам человеческий разум есть тень, а человек в свою очередь — не просто тень, но позорная, оскорбляющая Господа Бога, извращенно-куражливая тень.

— В общем-то, ничего конкретного, за исключением того, что обнаружил у нее на ляжках и на заднице синяки,— ответил Хвостов.

— Ну и что? — рассмеялась Альбина-Беба. — Разве вы не знаете, придурки, что синяки на ляжках и задницах девушек появляются от чего угодно, да хотя бы от ветра... Более того,— понизила голос, выдавая своим новым знакомым страшную девичью тайну,— случается, что девушки от ветра... беременеют!

— Это нам отлично известно,— почесал затылок Хвостов,— только ведь наш друг тоже не лыком шит. В процессе, скажем так, близости, он поместил пальцы на вышеупомянутые синяки, и что оказалось? — он строго взглянул на Альбину-Бебу, как будто на нее тоже падала тень вины за то, что оказалось.

— Что оказалось? — спросила Альбина-Беба, хотя и догадывалась.

— Именно так,— подтвердил Хвостов,— синяки совпали с местами наложения пальцев нашего друга. То есть получается, что кто-то занимался с его девушкой тем же, чем он, но в гораздо более, скажем так, интенсивном и, стало быть, страстном режиме. Вот это-то его и огорчило больше всего.

— Вот сволочь! — сердце Альбины-Бебы наполнилось состраданием к недоказанной изменнице и — за весь женский род — негодованием по отношению к мужчинам. — Сначала, гад, заметил, ничего не сказал, полу-

чил удовольствие, а потом стал выяснять! Какая сволочь! Да, может, он сам эти синяки и оставил!

— Увы,— развел руками Хвостов,— они перед этим не виделись две недели. А синяки — свеженькие, да, Дим?

Лекалов-Соннов только махнул рукой, с тоской глядя на бутылку пива, которую Альбина-Беба более не считала необходимым прятать за спиной. С какой стати она должна робеть перед какими-то подонками, оскорбляющими девушек непристойными подозрениями? Тем не менее ей было интересно, как события развивались дальше.

— И ты посмел что-то ей сказать? — Альбина-Беба посмотрела на Лекалова-Соннова с невыразимым презрением. Странно, успела подумать она, обычно фамилию человека узнаешь в последнюю очередь. Сначала кличку, потом имя, потом фамилию. А тут все наоборот. Зато, торопливо продолжила совершенно постороннюю мысль Альбина-Беба, в любом случае узнаешь последним отчество. А иногда так и вовсе не узнаешь.

— Не посмел,— Лекалов-Соннов скосил взгляд, из чего Альбина-Беба сделала заключение, что он врет.

— Что же ты сделал? — поинтересовалась Альбина-Беба.

— Надел штаны и ушел.

— Хлопнув дверью? — предположила Альбина-Беба.

— Там это... трудно было хлопнуть,— пробормотал Лекалов-Соннов.— Видишь ли, дело происходило в парке...

— Ну ты и скотина! — искренне возмутилась Альбина-Беба.— Занимаешься этим делом с девушкой

в парке и хочешь, чтобы не было синяков! Ты даже не извращенец. Ты — хуже. Извращенец издевается или сам терпит издевательства, но по крайней мере не примешивает к этому делу мораль.

— Это не мораль, — вступился за друга Хвостов. — Я тоже пытался объяснить Диме. Женщина сродни роднику. Или ты пьешь из него, или нет. Но, если пьешь, желательно иметь в виду, что нет таких родников, из которых всю жизнь пьет кто-то один. Обноси родник оградой, не обноси. Охраняй, не охраняй, всегда отыщется кто-то, кто сунет в него свой...

— Хобот? — предположил Лекалов-Соннов.

— Надо быть выше, — сказал Хвостов.

— Выше чего? — удивился Лекалов-Соннов. — Хобота?

— Да! — разозлился Хвостов. — Надо уметь подниматься в такую высь, откуда все эти родники и тянущиеся к ним хоботы... кажутся... ничем. Вся наша жизнь — сплошная измена. Людей, обстоятельств, денег, правительств, да хотя бы... собственного организма! Потому-то мы так часто и произносим это универсальное слово — «блядь». Блядь — это обобщенный образ мира. А женщина — сотоварищ в грехе, но никак не в добродетели! Неужели ты до сих пор не понял?

— Я хотел, — с грустью посмотрел на них Лекалов-Соннов, и Альбина-Беба вдруг поняла, что шутки шутками, но он действительно переживает, — я хотел предпринять что-то такое... необычное, чтобы она одновременно поняла, что я знаю и что я выше этого знания, потому что... Но... не получилось.

— Что ты сделал? — с подозрением спросила Альбина-Беба.

— Был вечер, точнее, уже ночь, — не стал скрывать Лекалов-Соннов. — Светила луна. Все в парке было в один цвет с этими проклятыми синяками. А под лунным светом как бы простиралось другое — желтое — пространство освещенной Москвы. Я, помнится, тогда еще подумал, что желтый цвет измены торжествует в мире. И еще эта железная колонна с ангелами была похабно устремлена в небо, как... хобот. Сквозь изменническую желтизну и лунную синеву в смертельную какую-то черноту. Что я сделал? Я... опустил перед ней на колени и стал... целовать эти синяки.

— А она? — изумленно уточнила Альбина-Беба.

— Она сказала, что я... идиот, — ответил Лекалов-Соннов, — что я опасный псих и она больше не будет со мной встречаться.

— Логично, — сказала Альбина-Беба, — если ты не можешь предложить ей ничего, кроме секса в вечернем парке и... скажем так, неадекватной нежности. Кстати, чем ты вообще по жизни занимаешься, дружок? Кроме того, что косишь от армии?

— Учусь на третьем курсе философского факультета, — рассеянно ответил Лекалов-Соннов. — В данный момент пишу курсовую работу об универсальной структуре гениальных художественных творений.

— Вот как? — заинтересовалась Альбина-Беба, вспомнив, что писатель Иванов, чьи художественные творения трудно было отнести к разряду гениальных, говорил ей, что они, как фантомы, материализуются из злого воз-

духа жизни. А на вопрос Альбины-Бебы, что же это за воздух, ответил, что он — воздух — везде: в образе собственной опойной морды в мутном утреннем зеркале, в кладбищенском вороньем грае, в воспоминаниях о брошенных женщинах и детях, в скользкой легкости мыслей о смерти. Иванов, помнится, еще восхитился каким-то американским офицером-путешественником, жившим в начале девятнадцатого века. Этот героический офицер, присоединивший к государству не то Оклахому, не то Огайо, покончил с собой в вашингтонской гостинице выстрелами сразу из двух пистолетов — в голову и сердце.

— Твой друг ведь объяснил, что эта универсальная структура содержится в волшебном слове «блядь», — сказала Альбина-Беба.

— Гениальные творения рождаются из пустоты, умноженной на красоту, — ответил Лекалов-Соннов. — Пустота и красота всегда ходят рядом, хотя мало кто это видит. Вот ты, к примеру, сплошная красота и не менее сплошная пустота.

— Бахаешься белым, — с отвращением поинтересовалась Альбина-Беба, — проклятый героинщик?

— Зачем? — пожал плечами Лекалов-Соннов. — Пустота и красота — вещи взаимодополняющие и самодостаточные. Третий, то есть белый, в данном случае лишний.

Между тем невыразительная, как вода, (универсальная?) женщина, которая наделяла прохожих из холодильного ящика то мороженым, то пивом, оказывается, стояла тут же, ожидая, пока Альбина-Беба возьмет у нее сдачу, и с интересом их слушала. Хотя никто ее в компанию не приглашал.

Тем временем Хвостов извлек из рюкзака гнутую тетрадь, на обложке которой было выведено фломастером «Хрестоматия снов».

— Молодец, сынок, — одобрила женщина. — Я расскажу вам историю, которая могла бы запросто угодить в твою хрестоматию, если бы не случилась на самом деле. У меня была подруга, не важно, как ее звали. Она была из Полтавы. Мы работали вместе на раздаче в столовой Госплана. Так вот, там был один молодой специалист, который каждый день говорил ей: «Ну какая красивая! Так бы и съел!» Потом они познакомились, а потом он ее, как водится, бросил. И больше не говорил: «Так бы и съел!» Вообще ничего не говорил, смотрел в сторону. А она все время спрашивала: «Уже не хочешь меня съесть?» Он отворачивался, делал вид, что это к нему не относится. Мы ей говорили, чтобы она не переживала, вся жизнь впереди, а она отвечала, что не переживает, что это другое. Ну а однажды утром она пошла в мясной цех, ну, где эти огромные мясорубки, куда закладывали целые туши, разделась догола, убрала одежду и... спряталась в мясорубке. А дальше по графику привезли мясо, загрузили, врубили на полную катушку. Все думали, она заболела, ушла, вон даже халат на вешалке оставила. А потом нашли в кармане халата записку. Она написала: «Передайте ему, что он все-таки меня съел. Он всегда берет полтавские котлеты».

— И... что? Передали? — спросил Хвостов.

— А самое смешное, — словно не расслышала его общепитовская женщина, — что и фамилия у нее была Полтавченко. Нет, — ответила она. — Следствие вело КГБ. Все засекретили, со всех взяли подписку о нераз-

глашении. Не один же этот гад ел в тот день полтавские котлеты. Это сейчас бы во всех газетах написали: «Людоеды в Госплане», а тогда с этим было строго. Как и не было ничего. Как и не съели Наталку Полтавку... — В глазах общепитовской женщины блеснули слезы.

— Почему-то мне кажется, — влез в беседу Лекалов-Соннов, — что у этой истории было продолжение. Но вы почему-то не хотите нам рассказать. Почему?

— Наверное, потому, — внимательно посмотрела на него общепитовская женщина, — что эта история... еще не закончилась. Она длится. И вы — в ней!

19

Обсуждение дикой (как из фильма ужасов) истории продолжалось ровно столько времени, сколько потребовалось Альбине-Бебе, чтобы осушить бутылку прохладной темной «Судьбы». Она ощутила какую-то неземную легкость и ясность, как если бы превратилась в фею, если, конечно, феи употребляют пиво. Похоже, необъяснимая легкость каким-то образом распространилась и на окружающих Альбину-Бебу людей, а может, и на целый мир.

А-Б вдруг обнаружила, что они оказались на противоположной — нечетной — стороне Кутузовского проспекта, причем уже свернули с нее в переулок и двигались в сторону Студенческой улицы.

Если мгновение назад они были в мегаполисе — столице хоть и сильно ослабевшего, но все же пока еще спо-

собного возводить высокие дома и поддерживать дорожные покрытия государства, то сейчас как будто угодили в сонную, обезволенную российскую глубинку — Тамбов, Курск, а может, Воронеж. Здесь была совсем иная Москва. На лавочках перед подъездами сидели бессмысленно сердитые бабушки, в палисадниках гнули спины кошки, собачьи (но может, и заросшие — бомжей) морды выставлялись из окон, под деревьями группировалась разновозрастная, в майках и тапочках, пьянь, а синюю (вечернюю) улицу, где размещалась оптовая продовольственная ярмарка, как черные иглы, в обе стороны простирачивали похожие друг на друга, как братья, кавказцы. Одержимые не самыми высокими идеями братья, подумала Альбина-Беба. Похоже, усатые черныши были единственными носителями воли на безмятежном (в прямом и переносном смысле) пространстве.

К этому времени А-Б было известно, что носящему жизнеутверждающее имя Виталий Хвостову, равно как и удлинненное на одну гласную имя Димитрий Лекалов-Соннову по девятнадцать лет. Хвостов учился в университете на факультете математической лингвистики и одновременно в какой-то платной конторе изучал новейшие компьютерные технологии. У него были перспективы. Лекалов-Соннов учился на третьем курсе философского факультета, то есть сознательно готовился пополнить армию безработной молодежи, о чем А-Б не преминула ему заметить.

Однако Лекалов-Соннов ответил ей в духе прозрачной и тонкой, как колеблемая ветром тюлевая занавеска, преподавательницы-философии.

— Что такое философия? — спросил он будто бы у Альбины-Бебы, но в действительности у самого себя, а точнее — у некоего абстрактного собеседника, который (в отличие от А-Б) с нетерпением ожидал его ответа. — Философия — это борьба за сверхнормативное знание. Здесь возможны блистательные штыковые или кавалерийские прорывы, но в основном это тяжелая, унылая окопная война с грязью, вшами и постоянными смертями. Сверхнормативное знание — это свобода. Следовательно, философия — это борьба за свободу. А истинные борцы за свободу никогда не работают физически! — Лекалов-Соннов спланированно замолчал, ожидая следующего вопроса.

И дождался.

— Почему? — спросила Альбина-Беба.

— Потому что они знают, зачем и для чего существуют люди, понимают, как управляется мир.

— Значит, они... марксисты? — шепотом поинтересовалась Альбина-Беба. — Или... члены мирового правительства?

— Человек создан для того, чтобы работать и подчиняться, — устало ответил Лекалов-Соннов, как-то мгновенно поскучив и устав от непролазной (если уподобить ее лесу) дурости Альбины-Бебы. — Человек не создан для свободы. При том, что он — венец творения, он — вредная, искусственная дрянь. Он губит землю, потому что чужой на ней. Суть так называемой умственной жизни человека... бессмысленное, бесконечное гадание. Абсолютное незнание внутри мнимого знания, самообман как способ существования. Человек не знает, зачем при-

шел в мир, для чего живет и когда умрет. Вот три главные карты в колоде, которые он без конца тасует. Подавляющее большинство людей не могут сами о себе позаботиться, а потому изначально согласны работать и подчиняться ради того, чтобы ни о чем не думать. Тот, кто понимает работу этого механизма...

— Управляет миром? — подсказала А-Б.

— Не угадала, — хмуро покосился на нее Лекалов-Соннов, — уничтожается. А управляют те, кто приставлен к этому механизму, кто осуществляет его сервисное, так сказать, обслуживание.

— Боги?

— Я не знаю, как правильно это сформулировать, — вздохнул Лекалов-Соннов, — так... приблизительно, на уровне ощущений.

— Не томи, — попросила Альбина-Беба.

— Маньяки и деньги, — ответил Лекалов-Соннов.

— Что маньяки и деньги? — не поняла А-Б.

— Маньяки и деньги управляют миром.

По логике развития разговора А-Б следовало понимающе улыбнуться, но вместо этого она на полном серьезе уточнила:

— А вдруг и здесь самообман?

— Возможно, — не стал спорить Лекалов-Соннов. —

Деньги заменили людям законы природы, извратили и нарушили естественный отбор. А маньяки — пришельцы из первоосновы. Они олицетворяют нечто страшное и непознаваемое, что идет из, так сказать, правремен. Они корректируют историю человечества. Это они распяли Иисуса Христа! Они ведут человечество к гибели!

— Как же вы хотите их победить? — удивилась Альбина-Беба.

— Не знаю, — пожал плечами Лекалов-Соннов. — Так вопрос не стоит. Не победить. Кое в чем помешать.

— Пока что, — добавил Хвостов, — борьба за свободу для нас — это борьба за деньги. За возможность жить не работая и не подчиняясь. А где можно раздобыть деньги? Только... отнять у маньяков.

— Неужели все деньги у них? — удивилась А-Б.

— Большие — однозначно, — сказал Лекалов-Соннов. — Деньги — это возможность не подчиняться и не работать. Поэтому вокруг них вращается мировая история. В том плане, что люди должны работать и подчиняться. Поэтому у них не должно быть больших денег. Только, чтобы обеспечить некие первичные жизненные стандарты.

— Как же вы собираетесь отнять у маньяков деньги? — поинтересовалась А-Б. — Ограбьте банк?

— Деньги у них не отнять, — вздохнул Лекалов-Соннов. — А вот вечную жизнь пока еще можно.

— Чем, собственно, мы и занимаемся, — весело подмигнул А-Б Хвостов.

Как поняла Альбина-Беба, Лекалов-Соннов, помимо того, что пребывал в мнимой печали по случаю недоказанной измены любимой девушки, был сильно увлечен некоей теорией, которую разработал сам и которая в данный момент представлялась ему единственно верной и все объясняющей. Альбине-Бебе было знакомо это странное свойство мужского сознания — всецело доверять сомнительным самопридуманным теориям, перекраивать по их

лекалам живую жизнь. Наверное, это происходило потому, что каждый мужчина в иные моменты полагал себя немножко богом. Особенно если ему кое-что удавалось в жизни. Во власти подобных теорий находились: отец Альбины-Бебы; белобородый писатель-почвенник Иванов, некоторые ее знакомые мальчики и вот, стало быть, Димитрий Лекалов-Соннов (в большей степени) и Хвостов (почему-то ей казалось, что тот в меньшей).

Между тем А-Б склонялась к мысли, что управляющей (и объясняющей) миром (мир) теории нет и быть не может. Просто в определенные моменты жизни человеку везет, все у него получается, в другие — не везет, ничего не получается, как бы выверено, логически верно он ни действовал.

Отцу везло, и он зарабатывал огромные деньги даже когда запускал самые дикие, стопроцентно провальные на первый взгляд проекты. Получалось, что ему должно (назначено?) было везти независимо от того, что он делает. А писателю-почвеннику Иванову не везло, хотя он написал один довольно приличный (Альбина-Беба плакала, когда читала) рассказ про мальчика-аутиста, у которого в эпоху реформ отец спился, а мать изблядовалась. Но почему-то вышло так, что никто ни единым печатным словом не отозвался на этот рассказ, хотя Иванов и издал его маленькой отдельной книгой на отцовские деньги. Значит, Иванову было предопределено забвение (в настоящем времени), что бы он ни написал, какими бы гениальными откровениями ни ошарашил мир.

Этот самый мир казался Альбине-Бебе маятником, который раскачивался между везением и невезением, удачей и неудачей, признанием и забвением, постепенно

все больше отклоняясь в плохую сторону. Маятник был един (для цивилизации), но в то же самое время и индивидуален — вмонтирован в каждую судьбу. И вот тут-то как раз и накапливалась критическая (количество неудачников) масса. Неужели, подумала А-Б, современный мир покоится на неудаче, как на фундаменте, неужели неудача — основа всего?

Отрицая наличие управляющих миром теорий, Альбина-Беба сама оказывалась во власти очередной из них. И в этом тоже заключалась неуловимая сущность мира. В поисках истины его можно было, как луковицу, чистить вечно, но при этом не приближаться к истине, а отдаляться от нее. Процесс был бесконечен. Луковица чистилась вглубь, вширь, наоборот и во все стороны. Чем дальше — тем больше... слез?

Воистину, слово «блядь» было по отношению к миру универсальным, ключевым. А-Б подумала, что, в принципе, можно оставить людям это одно-единственное слово, они будут произносить его с разными интонациями по разным поводам, и этого вполне хватит для обозначения их отношения к миру, равно как и полного взаимопонимания.

Как уяснила Альбина-Беба, Лекалов-Соннов пребывал во власти двух выдуманных им теорий. Одну (насчет маньяков и денег) он ей вкратце изложил. Другая была более приближена к жизни. Лекалов-Соннов назвал ее теорией управления массами посредством обмана. Две теории отлично дополняли друг друга, как дополняет друг друга все умозрительное, на первый взгляд логичное, но не имеющее (в плане воздействия) отношения к реальности.

Обман, по мнению Дмитрия, был повсеместен, многолик, а главное, предельно адаптирован к любому уровню сознания, как... религия. Современный человек (независимо от своих интеллектуальных и духовных данных) дышал обманом как воздухом, отчего его легкие (изначально — по Божескому закону — ориентированные на воздух истины) атрофировались, точнее (используя компьютерную терминологию), переформатировались. Сейчас — в начале XXI века — человек мог дышать только и исключительно обманом, поскольку именно из обмана и состояла окружающая землю атмосфера. Конечно, кое-где внутри этой атмосферы пробивались редкие гейзеры первоначального чистого воздуха — истины. Но вдыхать истину могли лишь редкие (их считали юродивыми или уродами) люди. Для большинства же истина означала мгновенный паралич дыхания и, следовательно, смерть. Вот почему — на подсознательном уровне — люди цеплялись за тотальный обман и ненавидели (боялись) истину (ы).

Истина, объяснил Лекалов-Соннов, во все времена являлась смертельной угрозой миру.

Таков был «базис» сомнительной теории. Далее шло прикладное ее развитие.

Человечество, по мнению Лекалова-Соннова, уже достаточно давно существовало в условиях сплошного обмана, а потому вполне можно было говорить о неких законах, которым оно (само того не создавая) неукоснительно следовало, существуя внутри обмана. Подобные законы мгновенно вырабатываются везде, где возникает жизнь — в колониях микробов, среди грибов и лишайни-

ков, в сообществах раков, в стадах антилоп и волчьих стадах, в тюрьмах, концлагерях, редакциях газет, акционерных обществах, администрациях и правительствах. Только Дух Божий не подчиняется обману, потому что он один, точнее един, и, следовательно, сам себе закон.

— Ген бессмертия должен быть уничтожен, как некогда Карфаген, — мысли Лекалова-Соннова метались, подобно потерявшей управление машине на скользком шоссе, — потому что он может сделать обман вечным, окончательным и безальтернативным, отнять последнюю надежду на возвращение истины. Уничтожить ген бессмертия — означает поддержать Дух Божий!

А-Б подумала, что мысли Лекалова-Соннова, а следовательно, и сам он, похоже, вылетели на полосу встречного движения. Так что дальнейшее их существование было делом (предельно короткого) времени.

Они продолжали двигаться с неясной целью по сумеречной Студенческой улице, оказавшейся вдруг неожиданно длинной. Альбина-Беба ходила по ней не один год, но не предполагала в этой улице такой невообразимой длины. Ее контуры растворялись в сумерках, но тут же снова материализовывались и длились, как если бы все улицы Москвы вытянулись в одну бесконечную линию.

Лекалов-Соннов попытался сформулировать законы существования индивидуума (масс индивидуумов) внутри обмана.

Первый закон звучал так: «Ложь — основа всего».

А-Б хотела было его оспорить, но, вспомнив знаменитое тютчевское: «Мысль изреченная есть ложь», произнесла одно-единственное слово:

— Плагиат.

— Все в мире плагиат,— пожал плечами Лекалов-Соннов и озвучил второй закон: — В противостоянии лжи истина ущербна, бессильна и... порочна.

Он уточнил, что это в лучшем случае, когда истина (ее носитель) ни на что не претендует и ничего такого особенного не хочет. При любых других обстоятельствах истина низводится до идиотизма, шулерства, шутовства, а то и подверстывается под «государственное преступление», что обещает ее носителю моральное и социальное унижение, а то и (прямую или скрытую) физическую ликвидацию.

Третий закон Лекалов-Соннов сформуливал так: «Все сильное, яркое, истинное в мире лжи ликвидируется как класс».

Единственно, уточнял он, режим уничтожения может быть разным. Этот режим, говорил Лекалов-Соннов, можно уподобить веревке на шее. Если стоять неподвижно (не дергаться, не поворачивать голову в сторону истины), то еще можно как-то дышать. При всех иных телодвижениях веревка душит насмерть.

Четвертый закон показался Альбине-Бебе каким-то необязательным, притянутым за уши: «Истинное искусство, если оно напрямую не изобличает ложь, органично включается в пространство лжи, более того, становится столпом и символом лжи».

Торжествовало же в мире, по мнению Лекалова-Соннова, синтетическое — из правды и лжи (как из натурального материала и гнусного заменителя) — искусство, суть которого заключалась в помещении живых (вечных и неиз-

менных, как набор хромосом) богоданных человеческих чувств и ощущений в изначально ложный, реально не существующий, но очень мощный по своей энергетике контекст, вроде того, что был спроектирован в фильме «Властелин колец» или каком-нибудь «Гарри Поттере». Таким образом человеческому сознанию (если уподобить его дереву или розовому кусту) прививалась ложь, которая инсталлировалась в самую его, сознания, сущность. С одной стороны, это делало его бессильным, лишало возможности противостоять напиранию мощи мира лжи. С другой же — отчасти одухотворяло, наполняло (измененным) человеческим содержанием сам мир лжи. Он становился как бы уже и не совсем миром лжи, а если все же лжи, то лжи живой, видя (на экране) которую иногда хотелось плакать. Человек незаметно (если хоть что-то понимал, потому что большинство ничего не понимало) смирялся с необходимостью существовать в этом мире, принимал его как единственную данность. Более того, начинал (как в тюремной камере) наводить внутри него некий чувственный глянец.

— Ты вспомни,— сказал А-Б Лекалов-Соннов,— какие страсти бушуют на телевизионных ток-шоу и викторинах, с каким обожанием смотрят люди на разную кривляющуюся погань, как неистово верят в то, что сами могут стать «звездами»...

Само участие в этих играх, по мнению Лекалова-Соннова, являлось не чем иным, как принятием — на подсознательном уровне — новой (точнее, окончательно утвердившейся), ложной, реальности. Получалось, что ложь пронизывала все, становилась, в сущности, жизнью. А зачастую даже больше чем жизнью.

— Кому и зачем это нужно? — вдруг спросил Лекалов-Соннов у Альбины-Бебы, резко затормозив подошвами посреди Студенческой улицы. Похоже, каблуки у него были подбиты железом, потому что из-под ног брызнули фонтанчики искр. Альбина-Беба посмотрела вниз и увидела, что на ногах у Лекалова-Соннова всего лишь... кроссовки. Воистину, он был странным парнем, если ставил на кроссовки железные набойки. Хотя Альбина-Беба не вполне представляла себе, как можно поставить на кроссовки железные набойки? А еще она обратила внимание, что у Димитрия... светятся ресницы. Боже мой, неужели он... призрак, А-Б испуганно перевела взгляд на Хвостова, надеясь, что уж тот-то точно не призрак. И чуть не упала замертво, потому что ногти на пальцах Хвостова тоже... светились, правда, каким-то сдержанным, матовым светом. А что же я? — вспоминая старую добрую японскую сказку, где девушку напугал некий призрак с лицом гладким, как яйцо, подумала А-Б. Девушка добежала до костра, где сидел внешне нормальный, даже симпатичный человек, и рассказала ему про призрака. Не может быть, удивился тот, неужели у него было именно такое лицо? Провел по своему лицу рукой, и оно тоже сделалось гладким, как яйцо. Может, и у меня что-то светится, я даже знаю, что именно, в ужасе подумала А-Б.

— Не переживай, — легко (как истинный призрак) прочитал ее мысли Хвостов, кивнув на светящуюся вывеску «Naba-baba Night Club» прямо над их головой. — Лазерная светотехника, его ресницы всего лишь отражают свет лазера. — Он повертел перед широко открытыми глазами А-Б пальцами-фонариками. — А вот это — так

называемые «жемчужные ногти», необъяснимое отложение фосфора, редчайшая разновидность витилиго. Они светятся только летом в сумерках, при определенной температуре, как правило, в третьей фазе луны. Я сам не понимаю, как это происходит. На сегодняшний день данное заболевание наблюдается всего-навсего у ста тридцати девяти человек в мире. Оно не заразно. Тибетские ламы, к примеру, — взял Альбину-Бебу за руку Хвостов, — так и вовсе считают это не болезнью, а неким знаком избранности, чем-то вроде голубой крови или третьего глаза.

— Да ты на себя посмотри! — гулко, как если бы улица отлилась в колокол, рассмеялся Лекалов-Соннов. — На свои ноги!

У А-Б отлегло от сердца. Светились всего лишь ее ноги, а не то, что она думала. Бесконечные ноги, ее гордость, превратились в раздвоенное продолжение лазера, одновременно напоминая свет звезд в черном вакуумном небе, водоросли в ночном Саргассовом море, а заодно и гибких, облитых светом звезд угрей, собравшихся там среди водорослей на нерест.

— Naba-baba меняет мир, — констатировала А-Б, окончательно успокоившись и даже повеселев. — Интересно, кто такая эта Хаба-баба?

— Я думаю, беспрестанно хамящая баба, — мгновенно (как любой находящийся в данной «теме» мужчина) отозвался Лекалов-Соннов.

— Хамящая, блядующая баба, — уточнил Хвостов.

— Скверное во всех отношениях существо, — вздохнул Лекалов-Соннов, — но мир светит отраженным светом Хабы-бабы...

Тем временем окончательно стемнело. Ходящая по воздуху лазерная надпись осталась позади. Ресницы Лекалова-Соннова, а также ноги Альбины-Бебы погасли. Только жемчужные ногти Хвостова продолжали мерцать среди активно перемещающихся в пространстве теней. В мутном, как захватанный, немытый стакан, небе показалась ослепительно-белая луна. Она светила, как прожектор, долженствующий изгнать из мира скверну (Хабубабу), утвердить в нем истину. Единственно, скверной (Хабой-бабой) представал весь мир, а истиной — яркий лунный свет, который, как известно, не мог ни согреть, ни сообщить ландшафту сколько-нибудь реальную перспективу. Вдруг синяя (Альбина-Беба была готова поклясться, что синяя!) ворона, зло каркнув, порвав, как пересохший пергамент, воздух, рванулась из-под ног. И дерево — очень странное и фактически невозможное дерево — открылось изумленному взору Альбины-Бебы.

Во-первых, оно как будто было вне времени и пространства. То есть стояло в палисаднике перед пятиэтажным кирпичным домом, но при этом было значительно шире и выше этого дома, который скрывался в его тени, как спичечный коробок в бездонном кармане неведомого курильщика. Альбина-Беба однозначно не помнила, чтобы на Студенческой улице росло такое величественное дерево. Наверное, его уместнее называть древом, подумала она. Это древо плавало в лунном свете, как круглая бритва (заточенная монета), которой карманники в былые времена лихо взрезали (бездонные?) карманы (курильщиков?), а также кожаные сумки, а иногда (из-за озорства или по злобе) полосовали на спинах невинных

граждан пальто и плащи, распуская их на манер (обвисших?) ангельских крыльев. Так и луна, должно быть, подумала Альбина-Беба, взрезает грязное небо, чтобы впустить в мир истину. Она вдруг ясно (как если бы вдруг ее пронизал холодный лунный свет) осознала эту истину, которую, впрочем, уместнее было определить как правила игры. Миром изначально правит ложь (зло). Но вступающему в мир лжи (зла) человеку придается душа, посредством которой он (как в прибор ночного видения) видит истину. То есть человеку как бы предоставляется призрачный шанс выстроить свою жизнь, ориентируясь на хоть и ускользающие, но улавливаемые прибором ночного видения (душой) объекты (испуганно, как недостреленная утка, скользящую по-над гладью мира истину).

Истина видится в ночи, подумала Альбина-Беба. Она вдруг вспомнила кадры кинохроники, как в пятидесятых, что ли, годах прошлого века китайцы, решив истребить воробьев, гоняли их (благо китайцев было много, особенно в городах) — махали руками, трясли деревья, бегали по крышам, — не давая воробьям приземлиться, пока те в изнеможении не падали на землю, где их сгребали лопатами, наполняя несчастными полные кузова машин. Так и душа, подумала Альбина-Беба, подобно несчастному воробью (недостреленной утке), носится по небу (гладь мира), не видя на земле чистого от лжи и зла места, куда можно приземлиться.

Но при том, что душа была мятущейся птицей, она же была и единственным местом, где несчастная эта птица могла приземлиться. В отсутствие оборудованных мест приземлений, в одиноких, рассыпанных по миру, как ра-

зорвавшиеся бусы, душах зажигались едва различимые во тьме посадочные огни для изнемогающей истины. И она (как правило, невидимо) приземлялась там, обретая (временный) покой. Но это была тайна. Так был во все времена устроен мир.

— Кому это все нужно? — гневно повторил Лекалов-Соннов вопрос, про который все забыли и на который никто не собирался отвечать.

— Масонам, тайному мировому правительству, тем, кто творит всемирный заговор? — привычно предположила А-Б.

— Да нет, — с неожиданной тоской возразил Лекалов-Соннов, — я долго над этим думал, пока не понял, кому все это нужно. Это нужно... Богу.

— Зачем? — удивилась Альбина-Беба.

— Иначе все теряет смысл, — ответил Лекалов-Соннов, — я имею в виду райские куши, грядущее блаженство, бессмертие души и прочее. Наверное, истина и справедливость — такие вещи, до которых каждый должен не просто допереть самостоятельно, но — опять же самостоятельно — определить к ним свое отношение.

— А если не получается? — спросила Альбина-Беба.

— Тогда имеет смысл только то, что происходит с тобой в данный момент, — ответил Лекалов-Соннов. — Ты — всего лишь комок биомассы. После смерти — биологического конца — тебя ожидает небытие. Ты — навоз, удобряющий кладбище. Мне сдается, — продолжил после паузы, — что человечество не выдержало тест на наличие души. Поэтому его песенка спета.

— А как же те, у кого есть душа? — спросила Альбина-Беба.

— Я думаю, мы скоро это узнаем, — подал голос Хвостов, про которого Альбина-Беба и Лекалов-Соннов забыли, но который стоял прямо под непонятно откуда взявшимся гигантским деревом, облитый прожекторным лунным светом, как мраморное изваяние с мерцающими жемчужными ногтями.

— Ну да, — вспомнила Библию Альбина-Беба, — собственно ради них, немногих, Господь и спустится на землю во второй раз.

— И куда, интересно, Он денется потом... после конца света... с этими немногими? — спросил Лекалов-Соннов.

— А Бог его знает, — пожал плечами Хвостов. — Конец — это такая вещь, в которой не может быть логики. Но одновременно — он сам есть чистейшая логика.

— Не ищи истину там, где ее нет, — посоветовал Лекалов-Соннов.

— Или внутри истины, — пожал плечами Хвостов.

Пока они двигались по определенно видоизмененной (по всей видимости, истиной, потому что она сделалась бесконечной) Студенческой улице, Лекалов-Соннов объяснил Альбине-Бебе (Хвостов молчал, потому что, видимо, знал), зачем и кому (кроме Бога) все это нужно.

Лекалов-Соннов полагал, что история человеческой цивилизации есть история сплошных — экономических, демографических, политических, морально-нравственных и прочих — кризисов, во время каждого из которых человек уверен, что жить невозможно и что все это скоро

закончится чудовищным крахом. Лекалов-Соннов делал вывод, что жизнь в ожидании краха как раз и есть самое что ни на есть нормальное условие существования человека, а потому для воздействия на действительность нужны совершенно новые методы воздействия, которые он и искал вместе с Хвостовым на стыке философии и новейших (каких еще не было в мире) компьютерных технологий.

— Я бросаюсь в них,— заметил, потупив взор, Хвостов,— как в прохладную воду после долгого маршброска по пустыне.

— Как в прозрачную поставленную цель,— уточнил Лекалов-Соннов,— на дне которой светится, как золотой слиток, точнее крестик, желательно, большой и тяжелый крестик, результат.

— Его можно как-то сформулировать? — поинтересовалась Альбина-Беба.— Хотя бы приблизительно?

— Что такое власть в современном мире? — вместо того чтобы ответить, спросил Лекалов-Соннов.— Последний Ресурс Бога. Вот почему сильнее всех Бог вынужден, я подчеркиваю, вынужден, любить властителей.

— Ну и что? — не сказать, чтобы эта мысль показалась Альбине-Бебе сильно новой и сильно оригинальной.

— Мы хотим дать России, а в идеале миру, такого властителя, которого полюбит Бог,— пояснил Хвостов.

А запись об этом, подумала Альбина-Беба, вполне можно будет сделать в толстой тетради со странным названием «Хрестоматия снов».

— Хочешь, я открою тебе великую и окончательную тайну России? — вдруг прошептал в самое ее ухо Лека-

лов-Соннов.— С народом в России можно делать все, что захочешь. Пределов, ограничителей нет!

Странно, но Альбина-Беба не торопилась убирать (отклеивать) свое ухо от его сухих, как осенние листья, губ. Ей хотелось, чтобы Лекалов-Соннов открыл ей еще какую-нибудь тайну, но тот, видимо, не открывал больше одной тайны за раз.

Как удалось уяснить Альбине-Бебе, по их мнению, человеческая цивилизация в настоящее время существовала по законам обмана, и их очень сильно интересовали законы существования внутри этого обмана, то есть возможность регулирования и управления ситуацией внутри смещенного (обманом) социального пространства. Ибо Хвостов и Лекалов-Соннов полагали, что внутри сплошного обмана уже проклевываются (как дыплята?) ростки истины. То есть обман, как среда, не мог не развиваться по законам этой самой среды, а всякая среда, как известно, выращивала внутри себя клетки, которые должны были ее уничтожить. Они утверждали, что объявшая мир среда обмана уже была «беременна» истиной, и сейчас было очень важно угадать — в какой форме начнут проявляться ростки истины, чтобы успеть как-то с ними скооперироваться, потому что за ними — сила. Здесь-то и должен был возникнуть этот самый, приглянувшийся Богу, властитель. Потому что Хвостов и Лекалов-Соннов не сомневались, что мир обмана (ТВ, СМИ, международные организации, одним словом, все, что «композирует» людям мозги) восстанут против этого властителя, так сказать, задушат в колыбели. Поэтому единственный призрачный шанс появлялся у него исклю-

чительно в момент кризиса, всеобщей растерянности, хаоса, когда никто толком не знает, что делать, а всемирная система масс-медиа еще не получила четких указаний, куда поворачивать текущие реки мозгов.

В принципе Альбина-Беба была согласна с идеей, что ложь правит миром. Более того, ей казалось, что ложь «спускалась» с мегауровня общественных отношений на микроуровень повседневной человеческой жизни и (под видом других слов и понятий, как артистка в разных одеждах) определяла и руководила этой самой жизнью.

Альбина-Беба вдруг задумалась о вещах, о которых нельзя было думать, потому что в основе их лежал первородный грех, который в действительности не был таким уж первородным, а был самым что ни на есть определяющим, ведущим человека по жизни от «вонючей пеленки до савана смердящего», вспомнила Альбина-Беба слова какого-то, видимо, не питающего иллюзий относительно человечества, писателя.

Любила ли она (не в детстве, когда была несамостоятельна умом, а сейчас) своих родителей? Любили ли ее родители друг друга? Была ли у них семья? Нравилось ли ей то, чему ее учили в школе? Почему в дружбе она (иногда) предавала подруг, а подруги (почти всегда?) предавали ее? Верила ли она в медицину, в то, что ее, Альбины-Бебы, призвание лечить этих самых, провонявших первородным грехом, людей? Верила ли она в то, что ее отец честный человек, мать — хорошая женщина? Что Иванов хороший писатель? Что власть в России это не власть нравственных уродов и подонков? Что русский народ — безвинный страдалец, а не пропивший душу, совесть, а главное, волю

к жизни, к сопротивлению злу божь? Что то, что показывают по телевизору — правда? Наконец, что правда вообще существует в мире? А если и существует, то она стопроцентно (абсолютно) не нужна? Альбине-Бебе показалось, что она приблизилась (прикоснулась) к запредельной логике бытия, суть которой — отсутствие всякой логики. Альбина-Беба еще раз склонила голову перед величием склонной к утрюмому юмору силы, управляющей миром.

Она обратила внимание, что они стоят не просто под деревом, но на цветных заплатках из желтых, оранжевых и каких-то красно-коричневых листьев. Что в общем-то было странно, поскольку до настоящей осени еще было далеко и листьям было рано устилать ярким ковром грешную землю. Почему-то Альбине-Бебе подумалось, что и Господа Бога ветер времени, точнее, ветер конца времен, одним словом — ветер судьбы принесет на землю на ковре-самолете из осенних листьев.

— Но что-то же есть, — Альбина-Беба вдруг поняла, что истина — в простоте, в первом, что приходит в голову. Это первое имеет точно такие же права на истину, как и все последующее, включая последнее. — Ради чего-то же все это происходит. Зачем-то же мы куда-то идем?

Точнее стоим, — заметил Лекалов-Соннов.

20

Альбина-Беба тем временем вплотную приблизилась к странному дереву. Дело в том, что оно в довершение ко

всему еще и приобрело способность передвигаться, как если бы у него были ноги, и сейчас это дерево как какой-то омерзительный леший растопырилось перед А-Б и ребятами, расставив в стороны ветви, как кривые руки, не давая пройти. Оно как будто заполнило собой всю Вселенную. Альбина-Беба поняла, что они в его власти. При этом намерения дерева определенно не были дружественными. Не в том смысле, что лично оно хотело им плохого, а в смысле предопределения, записи в Книге судеб. Она же, подумала Альбина-Беба, Хрестоматия снов. Ход вещей имеет свойство завершаться. Спектакль — заканчиваться. Занавес — опускаться. А-Б вдруг сделалось холодно как зимой. Она почувствовала, как коченеют руки. Похоже, опустив занавес, в театре отключили отопление. Или включили холодильники. Я всегда знала, усмехнулась про себя Альбина-Беба, что театры по окончании спектаклей превращаются в морги. Она попыталась согреть руки дыханием, но в вырывающемся из рта паре было мало тепла.

Отступив от дерева как от неприятного партнера во время танца, Альбина-Беба убедилась, что оно (в отличие от неприятного партнера) устроено сложно. Дерево было как бы разделено на четыре сектора. В одном секторе листья были свежие и зеленые, и будто бы даже соловьиная (подозрительно похожая на звонок мобильника) трель доносилась из свежей зелени. Во втором секторе листья были желтые и красные. Порывы ограниченного пределами сектора ветра снимали их с ветвей, и они, плавно покачиваясь, медленно вращались вокруг своей оси, выписывая в воздухе сложные геометрические

фигуры, опускались на землю, пятнисто устилая ее строго в пределах сектора. В третьем секторе листьев не было вообще. Ветви были проморожены насквозь. Иней отражал лунный свет, отчего ветви казались стальными и разящими, как клинки. И, наконец, в четвертом секторе на ветвях были набухшие почки. Влажный весенний воздух стекал с ветвей, а внутри сектора как будто даже слышался шум. Внутри ствола, как внутри трубы, гудела влага.

Это было невозможно, но Альбина-Беба как будто сама разделилась на четыре части, точнее ощутила внутри себя одновременно летний зной, печальную осеннюю ясность, зимний холод и весеннее, скажем так, пробуждение. Причем весна определенно оприходовала нижний сектор ее тела. Бедрa Альбины-Бебы как будто наполнились сладкой водой, влажно задышали, в то время как в сердце иглой вошел ледяной холод, в сознание — печальная осенняя ясность, лицо же А-Б расцвело, как летний цветок. Альбина-Беба испугалась, что из глаз у нее полетят пчелы, таким медово-бархатным, мягким и нежным (как одуванчик) сделалось ее лицо. Она поняла, что еще мгновение, и она навсегда останется у этого дерева, растворится в нем, станет его четырехчастной частицей. Это ее кровь побежит по стволу и ветвям, ее слезы вместе с осенними листьями-ресницами полетят вниз, ее мысли вмерзнут в кору, а ее душа будет кружить вокруг дерева по темным небесам, как ослепительная Луна, ибо ничего иного не сулил Господь человеку, кроме как прожить отмеренную жизнь, да и прилепиться (закрепиться) возле некоего намеченного еще при жизни или в самый последний момент символа. Люди уходили в воронку слу-

чайно пойманного взглядом сучка на дверном косяке, растворялись в теплой зеленой аквариумной воде с золотыми рыбками, исчезали посреди гладкой и белой, как ледник на сердце Антарктиды, поверхности случайной таблетки. Альбина-Беба догадалась, что ее символ — всесезонное, готовое объять ее до самой души, древо. Вот только о смерти ей почему-то думать расхотелось. Хотя еще совсем недавно она не видела в ней особой трагедии, спокойно смотрела на опускающийся занавес.

— Бежим! — Альбина-Беба схватила за руки (их руки были холодны, как заиндевевшие ветви) Лекалова-Соннова и Хвостова, как будто приклеившихся подошвами к асфальту, потащила упирающихся вперед, так что дерево с вытянутыми в их сторону ветвями (или это только показалось Альбине-Бебе?) вскоре осталось позади, враз уменьшившись в размерах, вернувшись в состояние естественного прозябания среди кирпичных (немосковских каких-то) домов и жалких палисадников.

Альбина-Беба, Хвостов и Лекалов-Соннов, как легко и быстро бежали, так вдруг внезапно и остановились в каком-то занюханном дворе напротив давно не мытого (снаружи и изнутри) окна. Изумляло, что окно это хоть и было подвальным, тем не менее, не было забрано решеткой.

Впрочем, в открывающемся взору помещении красть было нечего.

Освещенная тусклой, криво свисающей на перекрученном шнуре, как голова повешенного, лампочкой, безнадёжно засиженной, скорее залепленной (по вечерам, видимо, они действовали как камикадзе) мухами, комна-

та являлась, так сказать, апофеозом нищеты. Причем отнюдь не честной, а порочной. Нищета вообще имела обыкновение тесно переплетаться с пороком, как, впрочем, и богатство. Тезис: «Беден — значит честен, богат — значит подл» был изначально неправилен, хотя именно на нем как на фундаменте стояло многоэтажное здание так называемой социальной справедливости. Знать, потому-то оно так часто падало, хороня под обломками людей, и почти всегда угрожающе кренилось. Человека не следовало жалеть за то, что он беден, и не следовало ненавидеть за то, что богат. Но люди во все времена предпочитали простые решения.

В углу комнаты угадывались какие-то грязные, как будто не бритые изнутри банки. Наверное, когда-то тут функционировал самогонный агрегат, однако его обслуживание все же требовало определенной организованности и внимания, каких, по всей видимости, у обитавших здесь людей не наблюдалось. Должно быть, они перешли от сложного, связанного с использованием разных стихий (огня и воды) процесса перегонки к элементарному смешиванию и разбалтыванию (с целью разделения фракций) спиртосодержащих жидкостей. Останки стула — как разбитая музейная челюсть доисторического ящера. Пара больших (как гробы) картонных (из-под холодильников) ящиков, используемых в качестве кроватей. Над ящиками ядерным грибом стояла вонь, угадываемая даже сквозь мутное стекло.

Все.

Больше ничего не было.

Если не считать лежащего у самой сочащейся влагой стены на вонючем (это угадывалось сквозь мутное стекло) одеяле младенца.

Сначала Альбине-Бебе показалось, что это кукла, до того тих и бел он был. Потом она подумала, что младенец мертвый. Но в этот момент он едва заметно пошевелился. У Альбины-Бебы не осталось ни малейших сомнений: несчастный ребенок умирал от голода. Какие-то алкаши (бомжи) принесли его сюда да и забыли. Во всяком случае никаких предметов детского обихода — бутылочек с молоком, памперсов и прочего — рядом с одеялом не наблюдалось.

В следующее мгновение Альбина-Беба, выставив носком туфли оконное стекло (оно разбилось-то как-то ту-скло, как будто печально вздохнуло), шагнула (спрыгнула) вниз на дыхнувший ей навстречу холодом и вонью (холодной вонью) пол, подняла истаивающего, как свечка, младенца с отрепьев, на которых он лежал, завернула в предварительно сдернутую с плеч Лекалова-Соннова куртку, прижала к груди, точнее к бьющемуся своему сердцу и легко вылетела, как будто сзади выросли крылья, обратно на улицу.

— Ну вот, — изумленно уставился на нее Хвостов, — теперь мы, можно сказать, семья.

— Только вот пока неизвестно какая, — усмехнулся Лекалов-Соннов, — счастливая или несчастная?

— Во всяком случае, внезапная, это совершенно точно, — завершила дискуссию Альбина-Беба.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

21

Альбину-Бебу совершенно не вдохновляла идея ехать в последнюю октябрьскую субботу в дикую глушь на неведомое (даже не в Московской, а в Тверской, как выяснилось, области) озеро под подозрительным названием Жеребец... ловить сирен.

Во-первых, она не верила, что сирены существуют. Во-вторых (тем более), не верила, что их можно поймать. В-третьих, не вполне понимала, зачем вообще их нужно ловить? Пусть бы сидели себе в озере... Жеребец, мрачно подумала А-Б.

Может быть, когда-то они и существовали, морские, если верить «Краткому словарю мифологии и древностей», дефы, «...которые привлекали мореплавателей своим пением с целью погубить их». На античных вазах сирен изображали в виде женщин с голенастыми птичьими (почему, ведь они — морские?) ногами. Видимо, прежде сирены обитали на суше. Если все живое двигалось в одном (эволюционном) направлении — из океана на землю, то сирены, похоже, в противоположном — с суши в воду. Это был правильный путь. А-Б считала, что си-

рен следует оставить в покое. А может, существовали морские и сухопутные сирены. Одни губили мореплавателей, другие — идущих посуху.

Но все это, если и имело место, то в далеком прошлом. Никаких сирен не могло быть в XXI веке. Особенно в России, точнее, в Тверской области, в озере с издевательским названием Жеребец. Кого могли губить там сирены? Местную пьянь? Так эта пьянь, подумала А-Б, активно вымирала сама, без всякого участия сирен.

Она решила, что Лекалов-Соннов и Хвостов насмотрелись дрянных современных фильмов вроде «Ночного пути», начитались сомнительных произведений. Самое удивительное, что на памяти А-Б было пять или шесть фильмов с таким названием. Один (дело, помнится, происходило в Амстердаме, в морге) ей даже понравился. Однако создатели нового «Ночного пути» сделали вид, что предшествующих «Ночных путей» попросту не существует. Могучей (на всех каналах ТВ, в газетах, журналах и в Интернете) рекламой они как бы отменили все прочие «Ночные пути», включая картину Рембрандта «Ночной дозор». Здесь и сейчас существовал один-единственный «Ночной путь». А-Б подумала, что так вполне могут появиться новые «Илиада» или «Фауст». А там, глядишь, и новая Библия. Так что мифические сирены могли обитать не только в озере Жеребец, но и в городской канализации.

Вообще, книг и фильмов типа очередного «Ночного пути» в последнее время почему-то появилось огромное количество. Книжки лежали, топорщась перепончатыми (таков был их фирменный стиль) крылатыми обложками,

на всех лотках. Фильмы шли на всех, включая утренние, сеансы во всех кинотеатрах, лишая несчастных москвичей остатков разума. Даже не столько разума (он периодически — вместе с исчезающими в банковских кризисах сбережениями — ликвидировался как класс), сколько (опять же остатков) стыда.

В Москве в ту пору в победительном изобилии начали появляться господа, обликом своим напоминающие... сатану, Люцифера, дьявола, черта, как большинство привыкло его себе представлять. В основном это были молодые, но как бы преждевременно (дряблая кожа, гнилые зубы, глубокие морщины и так далее) состарившиеся люди обоих полов. Девушки ходили в черном, с нематыми космами, длинными, остро заточенными ногтями и вытатуированными под глазами кровавыми слезами. Парни — гадко подстриженными, но иногда и с иссиня-бритыми раскрашенными черепами, с бородками клинышком, подковкой или стекающей по шее под воротник волосистой стружкой, с гадкими волосатыми же полосками на темени, подбородке, губах и щеках, с подведенными глазами, порнографическими (в виде мужских и женских половых органов) серьгами в ушах, ноздрях, а то и в губах. Они передвигались на каблуках-копытцах, в обтягивающих (темного переливающегося материала) штанах, из которых рельефно выпирал огромный член. Предположить, что в отдельно взятом городе, пусть даже таком большом и веселом, как Москва, одномоментно сформировалась целая генерация (мутация) молодых людей с членами, превосходящими своими размерами стандартные (классику) в три-четыре раза,

было затруднительно. Скорее всего, молодые люди, «бытовые сатанисты», как их называли в (не сказать, чтобы осуждающих) телевизионных репортажах, таскали в штанах муляжи.

В присутственных местах этот народец, не стесняясь, сквернословил, громко портил воздух, рыгал, убежденно ненавидел (а по возможности убивал) пожилых людей, наносил по ночам на белые стены церквей и храмов омерзительные граффити. Время от времени, точнее — когда представлялась возможность, бытовые (никто, собственно, точно не представлял, чем они отличались от небытовых) сатанисты распинали на крестах или, за их неимением, на деревьях случайных прохожих. Почти не таясь, напротив, широко оповещая об этом через подконтрольные издания, они собирались на черные (с обязательными оргиями) мессы уже не в катакомбах, как прежде, а в больших спортзалах и ангарах.

Власти не особенно преследовали распоясавшихся сатанистов, видимо считая их гораздо меньшим злом, чем, допустим, продолжающих тосковать по советской власти пенсионеров. И сатанисты, в свою очередь, по-доброму относились к власти, поддерживали все ее начинания. Особенно по части превращения России во всемирную свалку ядерных отходов, ураганной вырубке лесов, повышения платы за коммунальные услуги, отмены социальных льгот для пенсионеров и инвалидов, выселения злостных неплательщиков в сельскую местность, где эти самые сатанисты изобильно черпали материал для жертвоприношений. Несчастные пенсионеры исчезали в сельской местности, как в преисподней. Тогда как власть, вы-

селяя их из квартир, утверждала, что сельская местность — это рай.

«Вся власть — Совету черепастых!» Этот лозунг сатанистов украшал стены многих домов. Постерами и баннерами с изображением черепа в треугольном нимбе из костей были залеплены все вагоны метро. В стране (во всяком случае, в Москве и в Питере) вряд ли можно было отыскать хотя бы один-единственный лифт, где бы этот лозунг не был выцарапан (нанесен несмываемой краской). Так что те, кто поднимался или спускался в лифте, были вынуждены воображать себе (так уж устроено человеческое сознание) этих самых «черепастых», мысленно смиряясь с тем, что вся власть должна принадлежать неведомому Совету, или Совчеру, как он иногда именовался для краткости.

Альбина-Беба высказала предположение, что, по всей видимости, и Жеребец — сатанинское озеро. То есть, возможно, когда-то озеро было обычным, но вряд ли именно ему удалось остаться в стороне от «сатанинского» прогресса. Мир летел в сатанизм, как пущенный твердой (верной) рукой шар в бильярдную лузу, а озеро Жеребец было всего лишь частицей мира (бильярдного шара). Следовательно, там вполне могли водиться сирены. И не только.

Единственно, А-Б было непонятно, откуда это известно Лекалову-Соннову и Хвостову, которых никак нельзя было отнести ни к «бытовым», ни к «небытовым» (говорят, еще существовали «внебытовые») сатанистам, и уж тем более к членам «Совета черепастых», или «Совчеру», претендующим на всю полноту власти в несчаст-

ной России. Друзья А-Б, напротив, ходили со складными (на манер зонтиков) телескопическими дубинками, чтобы отбиваться от этих самых черепастых, которые каким-то образом распознавали в них недругов. Когда же обстоятельства тому благоприятствовали (А-Б сама была свидетельницей), Дмитрий и Виталий, разглядев (в дубинный телескоп) уступающих на данный момент в силе черепастых, сами стремительно на них нападали, пуская в ход телескопические дубинки. Таким образом, универсальные дубинки совмещали в себе крайне необходимые в сложной уличной жизни функции. А-Б и сама носила в сумке телескопическую дубинку (дубинный телескоп), но черепастые пока на нее ни разу не нападали.

Помнится, у них состоялось что-то вроде дискуссии на тему предстоящей ловли сирен.

Они тогда как раз только что сняли у Ильябои квартиру на Юго-Западе. Там было не очень много мебели, но имелся длинный серый, узкий, как голодный удав, диван в многочисленных (винных, кофейных, жирных, но главным образом иного происхождения) пятнах, который Ильябоя называла «спермотазавром». Обычно они его раскладывали, но в тот раз нет. Окна обеих комнат смотрели строго на запад, а потому по вечерам (а дело происходило вечером) густой и тяжелый, как портьерный бархат, малиновый закат драпировал комнаты, наполнял (если уподобить их стаканам) тягучим гранатовым соком, а может, вином.

Голова Альбины-Бебы покоилась на костистых (черепастых?) коленках Хвостова, а пятки — на не столь черепастых коленках Лекалова-Соннова.

Хвостов, извернувшись угрем, ухитрялся стучать по клавишам плоского и круглого, как блин, ноутбука, стремясь бесплатно прорваться на запретный (платный) сайт.

Лекалов-Соннов задумчиво отслеживал медленное перемещение по белой стене малинового закатного параллелограмма, углы которого по мере схода солнца за башни и стеклянные корпуса проспекта Вернадского становились все более острыми. В конце концов параллелограмм превращался в ромб, который, в свою очередь, сжимался в светящуюся лазерную линию, а она, в свою очередь, атомно, а может, электронно проходила (прошивала) бетонную стену, как игла материю, и уже по ту сторону стены, в свободном воздушном пространстве, как душа великого ученого Вернадского с ноосферой, воссоединялась с уходящим светилom.

Альбине-Бебе доставляло немислимое удовольствием разглядывать свое длинное белое тело, упругим живым жгутом вытянувшееся между двумя другими телами. Оно было совершенным, ее тело, если, конечно, совершенство возможно в мире тотального несовершенства. А-Б подумала, что, вероятно, критерии совершенства скоро будет определять Совет черепастых, кому еще этим заниматься?

Предаваясь так называемому женскому шовинизму, она (в какой уже раз!) мысленно отметила, что мужские (даже молодые и тренированные) тела, в смысле завершенности и природной красоты, не идут ни в какое сравнение с женскими, а именно ее телом. Она ласкала взглядом свое вытянувшееся на диване тело и не обнаруживала в нем ни малейших изъянов. Даже строгий Совет черепастых не нашел бы здесь к чему придраться.

Тело А-Б было умиротворено и наполнено покоем, той самой (постсексуальной, как утверждала Ильябоя) энергией, которая кратковременна и про(пре)ходяща, но лучше которой, как известно, ничего нет. Тело — источник наслаждения, утверждала Ильябоя, глупо им не пользоваться, когда есть возможность. Наслаждаясь истечением постсексуальной энергии, точнее, преобразованием ее в какую-то иную (быть может, ту самую жизненную, которой всегда не хватает?) энергию, Альбина-Беба начинала мыслить системно, «удостаивая логикой», как однажды сформулировал Лекалов-Соннов.

В соседней комнате мирно спал ухоженный, накормленный и выкупанный младенец, которого они, подозревая восточное (о чем решительно свидетельствовало обрезание) происхождение, нарекли Карабашем.

В первом приближении имя можно было перевести как Черная голова, но неожиданный (и, по всей видимости, мнимый) знаток тюркских идиом Лекалов-Соннов заявил, что Карабаш можно перевести и как Орган, дарующий наслаждение.

— Женщинам? — уточнила А-Б.

— На Востоке это как-то не принято конкретизировать, — усмехнулся Лекалов-Соннов.

Тем временем Хвостов, вынырнув из темных глубин Интернета, объявил, что имя младенца можно трактовать как Умная голова с темными мыслями, а еще, как Вечный во времени и Похищенный смертью.

Воистину, логика отсутствовала в мире. Даже среди грозных конных воинов и пастухов — тюрков, — призванных, как свидетельствовали средневековые мыслители,

ли, «пасти народы». А может, напротив, некая высшая логика присутствовала в том, что смерть похищала вечность?

Мир был, с одной стороны, предельно непознаваем, а с другой — предельно прост. Так, Хвостов, к примеру, рассчитал, что для того, чтобы относительно достойно прожить эту жизнь, ему необходимо заработать семьсот сорок четыре тысячи долларов. Из расчета, что он дотянет до восьмидесяти лет и будет тратить каждый месяц по тысяче долларов. «Я думаю, что тысяча долларов в месяц в России еще очень долго будет считаться приличной суммой», — сказал Хвостов.

— А если ты не сможешь заработать эту сумму? — поинтересовалась А-Б.

— Тогда у него два пути, — усмехнулся Лекалов-Соннов. — Можно всю жизнь тянуть лямку на регулируемых, скажем так, условиях. Включиться в игру, добиться годам к сорока зарплаты, допустим, в пятьсот долларов, а к пятидесяти пяти в пятьсот пятьдесят и, в принципе, проиграть жизнь, уйти в отвал пустой породы, в навоз, или — попробовать изменить мир, чтобы не все в нем решала за тебя какая-то сволочь.

— Я давно хочу узнать имя этой сволочи, — ответила Альбина-Беба. — Изменить мир невозможно. Это все равно что изменить... физиологию человека. Человек всю жизнь ест, пьет, испражняется, трахается, добывает средства к существованию, приобретает какие-то лишние вещи, а потом умирает. Этот круг не разорвать. Устройство мира несовершенно в той же мере, в какой несовершенно сам человек. Так называемое счастье — за границей

очерченного круга. По мне, так оно в том, чтобы вечно лежать с вами на этом диване, но это невозможно. Да, в массе своей люди ничтожны. Но есть десять заповедей, которые стерилизуют ничтожество, делают его в худшем случае безобидным. Не следует вменять миру в вину свою гордыню, а также ложное ощущение собственной исключительности. Это не причина, чтобы что-то в нем менять. Все это было, ребята. Вспомните Достоевского или Стендаля.

— Ишь как заговорила, — усмехнулся Хвостов.

— Как богатенькая, — немедленно откликнулся Лекалов-Соннов, — наследница папиных миллионов. Они все считают, что десять заповедей — это закон для всех, но только уже после того, как они завладели всеми этими миллионами. Знаешь, почему Россия не нравится Западу? — пошевелил коленом под пяткой А-Б.

— По многим причинам, — ответила она, — одна из которых в том, что в России не переводятся такие помещанные на социальных вопросах идиоты, как ты.

— К таким, как ты выражаешься, идиотам, — возразил Лекалов-Соннов, — на Западе можно отнести каждого второго. Это не причина. Социальные вопросы — презерватив, с помощью которого они надеются предохраниться от наваливающегося на них остального мира. Они не любят Россию, потому что в ней не работает привычная для них схема накопления благ. Да, Европа богата, но эти богатства — плод трудов предшествующих поколений. Нынешние поколения всего лишь бессмысленно маразмируют, паразитируя на несправедливых экономических схемах, постепенно растворяются в подступающем

злом и голодом океане третьего мира. Это путь в никуда, но они усиленно навязывают его, где только могут. Россию же они не любят потому, что еще никому в ней на протяжении всей ее истории не удавалось безмятежно пользоваться своим богатством. Преемственность в этом деле у нас отсутствует по определению. В России всегда придумывали что-то такое, чтобы богатства никогда слишком долго не оставались в одних и тех же руках. Поэтому нас трудно отнести к европейской цивилизации, в основе которой лежит прежде всего преемственность накоплений как результат труда многих поколений. Россию можно уподобить зеркалу, которое ничего не отражает, но иногда отражает что-то такое, чего не хочется видеть тем, кто думает, что управляет миром. Поэтому им хочется на всякий случай его разбить. Или на худой конец нанести на него другую амальгаму, что, собственно, и происходит сегодня. Но это еще хуже, — вздохнул Лекалов-Соннов, — потому что смешение амальгам порождает чудовищ, которые выходят из зеркала и пожирают старый мир.

— Пока что, — возразила А-Б, — так называемый старый мир пожрал чудовище социализма. Чего ему не сиделось в зеркале? Зачем оно затеяло какую-то модернизацию, выставило из зеркала свою похабную рожу? Ребята, вы скорбите о том, что умерло, и не хотите признавать то, что живо. Это глупо, а главное, непродуктивно! Вы думаете, что открываете какие-то истины, но все это херня! Мир устроен так, как он устроен, и у него гигантский запас прочности. Каждое поколение, каждый отдельно взятый человек получает в этой жизни ровно то, что хочет! Накануне революции в России народ мечтал об

отмщении, ненавидел церковь, и он получил гражданскую войну по полной программе. Люди в советские времена возмечтали о капитализме и рынке, и они это получили! Кто сильно хочет денег, свободы или любви, обязательно их получит, правда, неизвестно в какой пропорции и в каком качестве. Это могут быть биллионы военного коммунизма, любовь в публичном доме и свобода в тюрьме!»

— Но именно здесь начинается движение вперед, — оторвался от компьютера Хвостов. — Отрицание очевидного — основа всего.

— Ну так отрицай, что ты хочешь жрать, пить, трахаться! Отдай мне все, что там у тебя в кошельке! — рассвирепела А-Б.

— Ты не поверишь, — серьезно ответил Хвостов, — но в прошлом году я играл в нашем студенческом театре роль Иисуса Христа. Один парень сочинил пьесу под названием «Христос на экзамене по тригонометрии»...

— Предлагаю закрыть тему, перейти к ловле сирен, — заявила А-Б. — Он... сдал экзамен? — вдруг заинтересовалась она совершенно против своей воли.

«Кто сказал, что сдал? — удивился Хвостов. — Он принимал экзамен! — Название Жеребец никак не связано с черепастыми. Вот смотри, — он развернул компьютер к лицу Альбины-Бебы, — что пишут тверские краеведы. «Один из самых красивых водоемов Среднерусской возвышенности напоминает своими очертаниями развалившегося на лугу жеребца. Озеро получило название в семнадцатом веке».

— Ага, — обессиленно потянулась на диване Альбина-Беба, — они что там, в семнадцатом веке, летали на

вертолетах над Среднерусской возвышенностью? Как они могли разглядеть сверху?

— Может, на воздушном шаре? — предположил Лекалов-Соннов.

— На Руси не поощрялись полеты на воздушных шарах, — сказала Альбина-Беба. — Это не считалось богоугодным делом. Летунов мгновенно сбивали, как только они оказывались над местом, где имелась техническая возможность пресечь полет.

— А если, — сказал Лекалов-Соннов, — название придумал... ангел? И поведал об этом местному народу?

— Ну да, — усмехнулась А-Б, — это самое ангельское название...

— Особенно если учесть, что ангелы — бесполое ребята, — добавил Хвостов.

— Допустим. Но раньше? — возразил Лекалов-Соннов. — Память пола не зарезать, не убить.

— Ангел, жеребец, — пожала плечами А-Б, — хотя, помнится, я была как-то с отцом на бегах, и мы поставили на жеребца по имени Ангел.

— Он пришел... прилетел первым? — спросил Лекалов-Соннов.

— Нет, — ответила Альбина-Беба, — но он взял приз за красоту бега. Всем, кто на него поставил, вручили по бутылке вина.

...Впервые они подкатились к ней с этой поездкой еще в августе, как только сняли квартиру на проспекте Вернадского и привезли сюда найденного младенца. Мол, они давно собирались и у них все готово. А-Б, ес-

тественно, их послала. Ей показалось, что такое дело, как ловля сирен в ее новой (с ребенком) жизни совершенно невозможно, а главное, неуместно, как цветение вишен на свалке, оперное пение внутри мусоропровода, или случайный залет в форточку райской птички.

Но, как известно, все течет, все меняется. Некогда нужное (допустим, пролетарское происхождение, членство в КПСС или наличие связей в системе торговли) по прошествии определенного времени становится совершенно ненужным, и наоборот. Несовершенство не просто не знает логики, но черпает силу в ее отсутствии. Его можно уподобить птичьей популяции, каждый раз выбирающей под гнездовья новые территории.

Невозможное и, как поначалу казалось, сугубо временное — с ребенком — бытие А-Б входило в берега, становилось постоянным. Их тройственный союз, в шутку названный семьей, превратился в самую натуральную, хоть и нетипичную, скажем так, семью.

Впрочем, подобные тройственные (одна женщина и двое мужчин) семьи почему-то во все времена не нравились обывателям.

Из-за этого страдал великий Маяковский и несколько менее, если А-Б не изменяла память, страдал Тургенев. И еще, кажется, страдал Герцен. А может, Огарев.

Эти два демократа как-то перепутались в памяти А-Б.

Хотя, выстиранная временем и иссушенная диким российским капитализмом практически до полной невидимости старушка-философия утверждала, что Герцен в девятнадцатом веке для России был чем-то вроде Соляницына во второй половине двадцатого. А еще она го-

ворила, что на эту роль примеривался буревестник революции Максим Горький, но версальской (веймарской) Европе было как-то не до него. Во-первых, пожалели денег. Во-вторых, Европа между Первой и Второй мировыми войнами была территорией не столько демократии, сколько вождей, которые подобно распоясавшимся хищникам (если, конечно, хищники подпоясываются) кроили и делили между собой охотничьи угодья, руководствуясь законами воли и действия, а отнюдь не параграфами международных договоров, которыми они не подтирали задницы только потому, что те печатались на слишком гладкой (скользкой) бумаге и к тому же скреплялись сургучными печатями. Поэтому, продолжала философия, Горького приобрел Сталин, а все остальное не имеет значения, потому что значение имеет только момент свершения реальности. У Сталина, считала она, было исключительно развито чувство момента свершения реальности. Он угадал столько этих моментов, что страна жила их эксплуатацией еще почти полвека. Ну а у тех, кто правил СССР после Сталина, сводила губы в тонкую режущую нить философия, подобное чувство отсутствовало напрочь. В противном случае бы они поступили с Солженицыным иначе. «Как?» — помнится, гаркнул с галерки африканский студент из Дагомеи с непроизносимым именем, облегченная русская транскрипция которого звучала приблизительно как Гриндагога. «А как, — смерила его недоуменным (неужели он знает про Солженицына?) взглядом философия, — поступил бы вождь твоего племени с тем, кто восстал против ваших порядков?» «Он бы пригласил его на совет племени», — осторожно ответил

Гриндагога. «И все?» — удивился кто-то из российских студентов царящей в племени Гриндагоги демократии. «Не совсем, — признался Гриндагога, — его бы связали и бросили в реку к крокодилам или подвесили за ноги на дереве, чтобы его растерзали грифы. В нашем племени, — гордо поднял голову Гриндагога, — человек никогда не поднимает руку на человека!»

Тройственные же, но с переменой мест слагаемых (две женщины, один мужчина) семьи решительно никого не волновали, считались совершенно обыденным (и, как правило, недостойным обсуждения) делом.

Все, что происходит легко и без насилия над духом и телом, рассудила, когда их тройственный союз бурно оформился (реализовался) в первый раз, Альбина-Беба, как минимум объяснимо и (быть может) не внушает отвращения Богу, раз Он тому попустительствует.

А попустительство определенно имело место.

Иначе бы А-Б (вдруг) не встретила фактически забытую, потом на мгновение вынырнувшую из небытия и вновь в него погрузившуюся Ильябою в метро, которая с ходу сдала им на неопределенное время и за умеренную плату квартиру на Юго-Западе.

Ильябоя грустно вздохнула, когда А-Б со смехом призналась, что было подумала, что та — бригадир промышляющих на Кутузовском проспекте нищих.

«Почему только на Кутузовском? — спросила Ильябоя. — Бери шире! В принципе все люди в определенный момент своего существования становятся нищими, и, естественно, у них должен быть... бригадир. Но в данный момент я занимаюсь... скажем так, квартирным дизайном».

«Интерьерами? — А-Б сразу вспомнила быстроглазую подвижную дизайнершу, содравшую за проект внутренней отделки их загородного дома двенадцать, что ли, тысяч долларов. Стены она предложила вместо обоев или дерева облить жидким стеклом, а на потолки нанести металлическое напыление, чтобы они мерцали в ночи, а может, неустанно напоминали, что люди гибнут за металл. Однако замысел был реализован только на втором этаже. Первый этаж отец отстоял, сделал там все по-простому: с камином вместо запланированных панорамных аквариумов с пираниями; с кожаными диванами и креслами вместо кадушек с карликовыми разноцветными деревьями и сада камней по центру холла. — Поди, гребешь деньги лопатой?»

«Я бы так не сказала, — покачала головой Илья-боя, — видишь ли, у меня довольно узкая специализация. Я занимаюсь интерьерами комнат, где... люди, ну, скажем так, планируют предаваться размышлениям о смерти, а в идеале, так и отойти в мир иной».

«Вот как? — изумилась А-Б. — И что, много заказчиков?»

«В общем-то, есть, — не стала скромничать Илья-боя. — Пока, правда, в основном криминальный элемент и сомнительные бизнесмены. Но это все имеет смысл. Видишь ли, очень многое зависит от того, где, как и с какими мыслями ты встретишь смерть. Эти комнаты... Они что-то вроде мини-храма, гостиной, где человек собирается один-единственный раз принять одного единственного гостя, точнее гостью, если, конечно, допустить, что смерть женского рода и, соответственно, принимать ее следует, как женщину».

Господь попустительствует малому греху лишь в том случае, сделала вывод А-Б, когда малый грех ведет за собой большую добродетель. Тогда малый грех — лодман, а большая добродетель — груженный (добродетелью же) по самую ватерлинию танкер, долженствующий при-быть в порт назначения, местоположение которого определяет сам Господь.

В давний (А-Б казалось, что минула целая жизнь, тогда как в календарной действительности времени прошло всего ничего) жаркий вечер на длинной и узкой, как диван в квартире Ильябои, Студенческой улице ребята не отступились от найденного младенца, и это расположило ее к ним. Упругое белое тело А-Б отблагодарило их за это, а заодно и само испытало недюжинную (двойную) радость. Если девизом германской молодежи в тридцатых годах двадцатого века было: «Сила через радость», то девизом А-Б на длинном сером диване в квартире Ильябои стало: «Наслаждение через благодарность».

Тело выступило в роли силы, объединившей их в неканоническую (мать, два отца и ребенок) семью. Так что здесь уже были вполне уместны лозунг: «Семья через тело» или (очередного триединства) формула: «Тело—сила—семья».

А еще обнаженное белое тело А-Б можно было уподобить тому самому (все-) внесезонному дереву, энергично вскидывающему ветви (руки-ноги) посреди длинной улицы-дивана. Или фонтану, распускающему струи над водоемом-диваном.

Иногда, правда, А-Б казалось, что какое-то уж слишком интенсивное наблюдается движение по теле-

сному мосту, слишком уж часто трясется древо в победительном экстазе, слишком велик напор встречных струй в этом фонтане. Но странным (а может, естественным) образом ей это нравилось. Что-то такое позорное — бабье, вроде «с меня не убудет» — вертелось в блудливой голове Альбины-Бебы. Впрочем, она утешала себя, что это все же бабье, а не рабье, потому что рабье Альбина-Беба ненавидела, а от бабьего ей при всем желании избавиться было невозможно. Из «тюрьмы пола», как известно, побег многотруден и сопряжен с немалыми физическими и моральными (хирургическими) страданиями.

— Знаешь, — сказал ей как-то Лекалов-Соннов, — я не знаю, зачем тебе это говорю, но я... верен тебе с того самого дня, как мы познакомились в этом странном кафе на Кутузовском. Более того, — понизил голос, скользнул сухими губами по лбу Альбины-Бебы, — у меня такое ощущение, что я... буду верен тебе всегда. В том смысле, что, кроме тебя, у меня больше никогда никого не будет. Как говорят американцы, отсюда — и в вечность!

— Они так говорят? — удивилась А-Б и почему-то вспомнила Ильябою. Неужели, мелькнула у нее мыслишка, она слизала свой бизнес у американцев?

— Может, и не говорят, — не стал настаивать Лекалов-Соннов. — Никто почему-то не говорит, что под красивым словом «вечность» подразумевается банальное, тусклое и вонючее, как воздух внутри гроба, «небытие», если угодно, вечное небытие, из которого мы на мгновение зачем-то вынырнули и в которое навечно же и нырнем, чтобы навечно же в нем и пропасть.

След от его сухих губ остался догорать на челе Альбины-Бебы, как если бы был не просто осенним листом, но еще и листом, упавшим (нырнувшим) с дерева вечности прямо в (воду) огонь небытия.

Ей вдруг показалось, что Лекалов-Соннов прощается с ней.

Точнее, она с ним.

В смысле, что она останется (где?), а он уйдет (куда?).

Понятно куда, но ведь она не саламандра, которая, как известно, одинаково привольно чувствует себя в воде и огне. Правда, что-то подсказывало А-Б, если вытащить эту самую саламандру из воды и бросить в огонь, допустим, в камин у них дома, то та как миленькая сгорит. Поэтому, подумала А-Б, речь может идти только о сроках. Кто-то сходит раньше, а кто-то едет дальше. Но все пассажиры обязательно сходят с этого самого трамвая, который, собственно, и сам не вечен. Вечен только тот (то), кто (что) придумал (о) трамвай и пустил (о) его по рельсам.

Впрочем, все это не сильно ее удивило. Не так давно ей открылось, что у многих людей, в особенности если между ними существуют интимные, близкие или родственные отношения, вся жизнь проходит в режиме прощания, независимо от того, наступает оно или нет. Они как будто едут... неужели опять в трамвае?... до остановки, которая не значится в маршруте. Но она есть, эта существующая в двух ипостасях, как «Сортировочная-1» и «Сортировочная-2», остановка. «Сортировочная-1» — это расставание при жизни. «Сортировочная-2» — это расставание по случаю смерти, так сказать, реальное расставание.

Все (рано или поздно, вместе или порознь) проезжают эти остановки.

Таким образом, подумала Альбина-Беба, можно предположить, что сам процесс жизни есть не что иное, как прощание с жизнью. А в любом прощании, подумала она, всегда присутствует элемент романтики. Как песня о верности любимому посреди сплошной неверности ему же. Как миф о бескорыстной дружбе и благородстве посреди сплошного предательства, трусости и воровства. Как тосты (она сама видела слезы на глазах у произносивших их людей) о служении великой России посреди деятельного уничтожения этой самой России. Эти славные люди ходили из воды (реального воровства) в огонь (мнимое служение великой России), как те самые мифические саламандры. А-Б вдруг вспомнила, что некогда в списке богатейших людей страны даже значился человек с такой фамилией. Вроде бы это была женщина и, как подозревала А-Б, не самая умная. Сталин, неожиданно подумала А-Б, только новый Сталин сможет вытащить за хвост из воды и сжечь эту нечисть в... государственном камине.

— А ты, Виталий,— строго спросила Альбина-Беба у расположившегося в кресле с компьютером на коленях Хвостова,— тоже собираешься хранить мне верность до гроба?

— Если только я уже не в гробу,— странно пошутил Хвостов.— А верность после гроба, как всем известно, превыше верности до гроба.

— Кому это известно? — удивилась А-Б.— И почему так?

— А потому что никто не знает, какие там... после гроба соблазны и искушения,— ответил Хвостов.— Верность до гроба — это всего лишь гипотетическая верность тела. Верность после, если угодно, это прорыв в чужой монастырь со своим уставом. Конечно, если там есть монастырь,— добавил задумчиво.

— Как можно предаваться столь мрачным мыслям, имея столь жизнеутверждающее имя? — змеино потянулась на сером, как изношенный кирзовый сапог, диване Альбина-Беба.— Ведь Виталий, если я не ошибаюсь, означает жизнь?

— У смерти множество измерений, в сущности, она столь же многомерна, как и жизнь. Одно из этих измерений — тотальное издевательство над жизнью и всем, что так или иначе с ней связано, пусть даже чисто вербально,— возразил гибкий, как удилище, Хвостов.— Это удивительно,— кивнул на экран компьютера,— но среди людей по имени Виталий нет ни одного долгожителя. Более того,— добавил растерянно,— средняя продолжительность жизни Виталиев значительно ниже, к примеру, чем... Степанов, или... — покосился на Лекалова-Соннова,— Дмитриев.

— А Альбин-Бeb? — поинтересовалась Альбина-Беба.— Как с этим делом у Альбин-Бeb?

Экран отсвечивал в закатном свете, как если бы был (плоским, почему бы и нет?) фужером с красным вином. Альбине-Бебе не хотелось сравнивать его с кровью. Поэтому она не видела, какую (золотую?) информационную рыбку выудил из бездонных сетей Интернета гибкий, как удилище, Хвостов.

— Наверное, Интернет — это такая большая, но перепутанная колода карт, — заметил с дивана Лекалов-Соннов. — Здесь и игральные, и географические, и военные, и медицинские, и гадальные, карты вин и растительности, Таро, Руби, а также морских глубин и звездного неба. И на каждой из этих карточных систем продолжительность жизни — величина непостоянная, а кое-где и вовсе отсутствующая.

— Непостоянная, она же убывающая, величина — это жизнь, а нарастающая отсутствующая — будущее, — ответил Хвостов. — Главное, не пропустить момент качественного превращения непостоянной величины в отсутствующую. Он всегда сопровождается некими сопроводительными символами. Человек же продолжает жить и действовать так, словно у него в запасе вечность, а между тем его жизнь — уже в сущности отсутствующая величина... На шумерском сайте имеется одна Альбина-Беба, — сказал Хвостов, — но ее жизнь... как здесь говорится... уходит за грань пророчеств и предсказаний.

— А кто она такая, — заинтересовался Лекалов-Соннов, — эта Альбина-Беба?

— Ты не поверишь, — усмехнулся Хвостов, — но это метеорологическая сущность. Альбинах бебах хамах. С шумерского это можно перевести как Огненный ветер, подбирающий в сумерках опавшую жизнь.

— Подбирающий? — удивился Лекалов-Соннов. — Как опавшую листву?

— Опавшая жизнь, — задумчиво произнес Хвостов, — это как бы уже не вполне жизнь или, скажем так, жизнь, отделившаяся от древа жизни. Опавшая жизнь ле-

тит куда хочет, не спрашивая. Но... не очень долго. И, конечно же, в соответствии с каким-то специфическим ветром. Он может быть чем угодно, в том числе и верностью, — продолжил после паузы, — но, так сказать, вынужденной верностью, то есть не той, которая приносит радость и свободу. Я верен тебе, — повернулся к Альбине-Бебе, — как опавший с дерева жизни лист загробному ветру. Потому что... я уже не могу быть верным ничему другому.

— Если допустить, что есть загробная жизнь, — не смог остаться в стороне от захватывающей темы Лекалов-Соннов, — то следует допустить, что существует и загробный секс или что-то такое, что его заменяет...

— Вечная тема, — вздохнула Альбина-Беба, — есть ли у души пол? И связано ли райское блаженство с сексом?

— Где-то я читал, — объявил Лекалов-Соннов, — что самоощущение в раю сродни... оргазму. То есть человек находится в состоянии, как будто непрерывно кончает.

— Как долго? — поинтересовалась А-Б.

— Вечно! — усмехнулся Лекалов-Соннов.

Некоторое время все напряженно молчали, мысленно примериваясь к необычному (в смысле продолжительности) состоянию.

Альбина-Беба вспомнила, как недавно включила ночью транзистор, настроенный на FM-волну. Она вставляла к ребенку, а потом долго не могла заснуть. А-Б нарвалась на передачу под названием «Ночная жизнь». Ведущая весело напутствовала позвонившего в поздний час на радиостанцию кретина: «Доброго вам оргазма!»

— Но ведь это... — заметила она, — больше не предполагает... ничего. Все равно что лежать трупом...

Или сойти с ума. Я слышала, — произнесла почему-то шепотом, — что некоторые больные в сумасшедших домах так и делают. Стало быть, они готовятся к райскому блаженству?

— Вообще, как-то странно, — удивленно продолжил Хвостов, — что в сумму понятий «райское блаженство» не входят многие важные вещи. Такие, например, как труд, самосовершенствование, познание, творчество, наконец, социальная справедливость. Чем занимаются эти милые, предающиеся райскому блаженству люди? Неужели только...

— Виталий, ты не понимаешь элементарных вещей, — возразил Лекалов-Соннов. — Точно так же ты не можешь знать, чем занимается, о чем думает младенец в утробе матери. Земная жизнь — это, так сказать, экстенсивное развитие... тела, которое проходит предначертанный путь от рождения до смерти. Небесная жизнь — интенсивное развитие иной сущности, знать о которой тебе до поры не положено. Хотя и это можно сравнить с сексом. С сексом, в принципе, можно сравнить все что угодно. Или ты идешь вширь — трахаешь все новых и новых телок. Или... — посмотрел на Альбину-Бебу, — одну, но...

— Глубоко, сосредоточенно, вдумчиво, по-разному, творчески, — подсказала та.

— Развиваешь процесс не вширь, а вглубь, — продолжил Лекалов-Соннов, — открываешь большое в малом, бесконечное в конечном, множественное в единичном и так далее. Грубо говоря, ты как бы через одну-единственную розетку подключаешься к энергии

женской сущности, которая, как известно, неделима и неисчерпаема. Через свою домашнюю проводку проникаешь в глубины ядерного реактора АЭС, где производится эта самая энергия. Она одна, — кивнул на Альбину-Бебу, — заменяет тебе всех телок мира. Поэтому, собственно, ты ей и верен. Это любовь, Хвост! Все истинное — неисчерпаемо, в том смысле, что превосходит человеческие возможности. Все истинное — это прилет оттуда, где все мы рано или поздно окажемся. Оно случайное или неслучайное отражение того главного, основного мира в нашем несовершенном, дрянном миришке. Она одна восполняет и... пере... выполняет... — определенно сбился с мысли Лекалов-Соннов, и Альбина-Беба догадывалась, с чем это связано. Ему хотелось туда — в домашнюю розетку и дальше — в глубь kloкочущих ядерных (женской сущности) реакторов АЭС.

— А как же профессионалки? — усмехнулся Хвостов.

— Суть данного профессионализма — качественная имитация того, что по идее не должно продаваться за деньги, — ответил Лекалов-Соннов, — многократные, доведенные до автоматизма действия. Вообрази себе проститутку, которая бы искренне влюблялась в каждого своего клиента. Это не входит в задачу. Задача — зарабатывать, получить деньги. Вот почему самый светлый и чистый секс дарят бесхитростные, свободные и чистые души. Потому-то и Богоматерь с Христом являются не ученым, миллионерам и президентам, а исключительно простым, но добрым, неиспорченным людям. Те профессионалки, которых ты имеешь в виду, — зеркальное отражение не истины, а... тоски по сокрытой в сексе истине.

Зеркальное отражение, — повторил задумчиво, — заляпанное спермой.

— Чужой, — добавил Хвостов.

Альбине-Бебе показалось, что все это уже было.

Воистину, было.

Ей пришло в голову, что в принципе все варианты человеческих отношений, все коллизии, иллюзии, аллюзии и так далее уже неоднократно, точнее миллионкратно, свершились. Существовали некие готовые, вмонтированные в бытие формы, и все мнимое многообразие мира легко исчерпывалось этими несколькими десятками (или сотнями?) форм. Всю сложность мира, таким образом, можно было уподобить нескольким сортам выпекаемого (в формах) печенья. Альбина-Беба подумала, что это понимал великий Шекспир, а до него великий Гомер. Они не копались в мнимо индивидуальных и мнимо сложных страстях и чувствах героев, но помещали самих героев в жернова главенствующих в мире страстей и чувств. А еще она подумала, что мир — единство и борьба ходящих по кругу форм. Вообще, круговое движение было основой мироздания и, видимо, основной тайной Божьего мироустройства. Все ходило по кругу. Все повторяло себя — только в новых, естественно, декорациях. Менялись разве только пропорции типовых форм — «пазлов», из которых в он-лайновом режиме составлялась фреска мира.

Самыми редкими, твердыми как алмазы и слепяще-чистыми как слезы ангелов, были формы Бога. Формы человека представлялись Альбине-Бебе хоть и разноцветными, но с уклоном в серость. В силу своей много-

численности и взаимозаменяемости они имели малую ценность и являлись, так сказать, «расходным материалом». Формы сатаны были огненно-черные. Они опаляли фреску по периметру, усиленно концентрировались в самом сердце мира, интенсивно взаимодействовали с серыми человеческими матрицами, понуждая их изменять свою сущность, решать некие технологические и функциональные задачи.

В сущности, мир прост, подумала Альбина-Беба, но эта простота чрезвычайно вместительна. Причем речь идет главным образом о внутренних — скрытых — объемах человеческих переживаний, совершенно несопоставимых с изначальной — нулевой, пылевой и далее по данному ряду сравнений — ценностью (сущностью) человека в мире. И все было бы разгадано, и мир давно перестал бы существовать, если бы поверх общеизвестных (базовых) форм, как масло поверх хлеба, не ложилась амальгама неотвратимой и неизбежной новизны, всякий раз заставляющая человека переживать то, что тысячекратно пережили (и запечатлели во всех доступных человеческому пониманию вариантах) другие люди. В этом-то и была загвоздка. В принципе, в мире передавался любой опыт, кроме опыта души и — в особенности — опыта истины. Этот опыт если и передавался, то исключительно как страдание, а потому не больно-то и много набиралось охотников его приобретать. С этим опытом каждому предстояло пройти (повторить) путь Господа — от несмываемого таинства рождения (первородного греха) до угрюмой и неоправданно жестокой (на кресте) смерти. Поэтому люди не столько выбирали истину, сколько за-

игрывали (играли) с ней, не просто легко соскальзывая с ее пути, но как бы заранее обставляя этот путь ответвлениями (для схода) на каждом метре. Путь истины, таким образом, напоминал трассу для бобслея, где никто не мог развить подобающую скорость, потому что рябило в глазах от боковых (съездных) дорожек.

Альбина-Беба вдруг подумала, что, как ни странно, земной путь Иисуса Христа — это путь стопроцентного неудачника. Его не просто предали и оболгали, но еще и подвергли глумливому ostracism, то есть оскорбили и унизили по (сверх) полной программе.

Все с ним получилось так плохо, как только было возможно и даже невозможно. В смысле, хуже просто не могло. То есть был достигнут некий абсолют. Здесь неприменимо было классическое утешение, что, мол, в жизни никогда не бывает настолько плохо, чтобы не могло быть еще хуже. Стало быть, подумала А-Б, совершенство на земле принципиально невозможно? И земная жизнь Христа — наглядное тому доказательство? Пособие как не надо себя вести? А может, подумала Альбина-Беба, это была первичная (опережающая?) попытка ограничить, приуготовить (к чему?) темный и странный, как прилетевший из неведомых пределов метеорит, камень человеческой души?

Человека, таким образом, можно было уподобить neverending (бесконечной) химической реакции. А душа его, помимо того что была прилетевшим из неведомых пределов метеоритом, еще была и, так сказать, реагирующей сущностью. Всякий раз смутная эта сущность трепетала и реагировала в рамках (человек умом это понимал)

запрограммированной реакции. Но не понимал душой. Ибо это было все равно, что понять смерть. Живой, в особенности, одушевленный, то есть обреченный на познание, организм не мог познать смерть по определению, потому что понять ее во всей полноте означало для него похоронить себя заживо. Человек на протяжении всей жизни учился умом, но совершенно не учился душой, и именно это делало его управляемым и предсказуемым. И в общем-то, смешным.

Альбина-Беба подозревала, что именно на этом поле, точнее в пространстве между этими двумя полями, и резвится (иррационально) повелевающая миром, склонная к утрюмому юмору сила. Одним из ее проявлений как раз и был умышленный разноречивый в наложении форм. На первый взгляд порядок их наложения был совершенно очевиден, но повелевающая миром сила тасовала формы, как засаленную колоду помеченных картишек, возилась с ними, как ребенок с кубиками, в результате чего жизнь превращалась в абсурд, хотя отнюдь таковым не являлась для задействованных в нем людей. Для них жизнь, напротив, оказывалась странной какой-то трагедией с редчайшими (в виде исключения) вкраплениями счастья, память о которых впоследствии понуждала человека к пьянству как средству (насколько это было возможно) смягчить, самортизировать странную трагедию жизни.

Непредсказуем в своей сложности и простоте был Бог.

Человек был предсказуем. На все случаи его поведения существовали (во времени и пространстве) формы (лекала), с помощью которых (почти) все можно было предвидеть и предсказать. Человек планировал (и дейст-

вовал) так, чтобы получилось одно, а в итоге получалось совершенно другое, причем такое, о чем бедняга и помыслить не мог. Получалось, что, планируя те или иные свои действия и поступки, человек был совершенно беспомощен перед изменчивой реальностью (точнее системой реальностей), внутри которой (ых) свершались его действия. Грубо говоря, он собирался умножить два на два и получить четыре, но в результате прохождения действия через фильтр (зазеркалье реальности) получал какое-то совершенно невообразимое число.

Где-то здесь находилась и последняя (для человека) карта в неравной игре — джокер самоубийства, хотя, конечно, никакой шутки — joke — в ней не было. Просто игра была над человеком и вне человека. И на этом, похоже, стоял мир.

22

Альбина-Беба, помнится, однажды заговорила на эту тему с белобородым писателем-почвенником Ивановым, которого совершенно неожиданно встретила в магазине «Библио-Глобус», куда наведалься за анатомическим атласом. Он оказался недешев, глянцево-анатомический атлас с мясо-красным, в белом вервии мышц человеком на супере. Отвлеченный этот человек хранил на мясном лице подобие горделивой улыбки. Он как бы демонстрировал смотрящим на него некое таинственное знание, сообщающее ему превосходство над жи-

выми, определенно не готовыми расстаться с кожей, людьми, снующими по магазину в поисках книг. Человеку с анатомического атласа книги были не нужны, как если бы книги как раз и были той самой кожей, под которой скрывается таинственное (истинное) знание о жизни, к которому он (по своей ли воле?) прорвался.

Иванов, как явствовало из висящего на входе рукописного плаката — «...гордость отечественной литературы, писатель, сотворивший мир, преодолеть притяжение которого невозможно», сегодня отвечал на вопросы читателей и подписывал им экземпляры своей новой книги.

Он стоял, белея бородой, пылая склеротическим (к часу дня — а был как раз час дня — Иванов обычно уже осушал несколько стаканчиков виски) лицом, в полном одиночестве за столиком, на котором высился зиккуратик его книг, которые никто и не думал покупать. Каким-то образом многочисленные посетители «Библио-Глобуса» преодолевали невозможное притяжение сотворенного Ивановым мира.

Альбине-Бебе стало жаль отцовского друга. Она купила экземпляр, подошла к столу, поделилась с Ивановым мыслью о том, что реальность — это зазеркалье. Но если реальность — зазеркалье, где все смещено, усложнила мысль, глядя на Иванова в упор, Альбина-Беба, что тогда смерть — убийство и самоубийство, где все реально, окончательно и бесповоротно?

Она знала, что количество выпитого непосредственно влияет на процесс постижения мира. Что такое человеческая жизнь как не перманентное постижение мира? Об этом им охотно рассказывал на практических занятиях

врач-нарколог, подобно Пастеру, не только внимательно наблюдающий за больными, но и проверяющий ход болезни (но не методы лечения) на самом себе. О его врачебном подвиге наглядно свидетельствовали трясущиеся руки, красный (почти как у атлетического парня на супер-анатомического атласа) нос и пронзительный сиплый голос. Нарколог, смеясь, поведал им, что такой голос у алкашей неспроста. Да, конечно, спирт частично прожигает голосовые связки, искажает тембр. Но дело не в этом, а в том, что именно по этому тембру голоса алкаши (как летучие мыши по ультразвуку) интуитивно определяют друг друга, он для них что-то вроде сигнала «свой-чужой». Они, алкаши, осторожно движутся навстречу друг другу, как дикие гуси в сумерках, которые, как известно, являются стадными существами, как, собственно, и летучие мыши, и многие другие звери и птицы.

В промежутке между ста и двумястами граммами, продолжал нарколог, человек готов (и сам стремится) находить ответы на очень сложные философские вопросы типа: зачем я живу, есть ли Бог, куда движется мир и так далее. Потом наступает некоторый спад, а далее — от трехсот — каждый существует по индивидуальному графику, основная линия которого, естественно, стремится вниз — в сферу первичных физиологических инстинктов, но с возможными редкими прорывами вверх, иногда даже за пределы этого самого графика. Иванов, как определила А-Б, находился как раз в той стадии, когда был готов ответить на любые вопросы, в том числе и за пределами графика. Мир лежал перед ним, как открытая книга, причем набранная очень крупным шрифтом.

«До тех пор, — вздохнув, признал Иванов, — пока существуют люди, будут совершаться убийства и самоубийства».

«Вот как?» — удивилась неожиданной простоте мысли «гордости отечественной литературы» Альбина-Беба. Ей показалось, что это ответ какого-то (весьма недалекого) следователя или милиционера.

«Человек жаждет определенности внутри хаоса, — продолжил Иванов. — А убийство и самоубийство как раз и сообщают видимость определенности, подведения черты. То есть возникает ощущение, что все проблемы могут быть решены по принципу поглощения, растворения или сведения их в одну единственную, именуемую жизнью конкретного человека. Не случайно же говорят, нет человека — нет проблемы. Хотя, конечно, это иллюзия».

«Допустим, но разве можно это оправдывать?» — растерялась Альбина-Беба.

«Я не оправдываю, — ответил Иванов, — но убийство и самоубийство — это вечное свидетельство изначального бессилия и неукорененности человека в Божьем мире. Да и как, — с отвращением посмотрел на не обращающих на него ни малейшего внимания покупателей, — может быть иначе, если люди... практически сразу... как муху... прихлопнули живого Бога? Я думаю, — понизил голос, тревожно посмотрел на старательно обходящих зиккуратик книжек на столике посетителей магазина, как если бы от них исходила некая скрытая угроза, — у него был единственный выбор — самому себя убить или все же переуступить это право окружающим.

Он переуступил. А вот Иуда, — вздохнул Иванов, — поступил более логично».

«Иисус не мог себя убить, как и дать санкцию на убийство кого-либо кем-либо кому-либо, — возразила Альбина-Беба. — Поэтому добрые, сторонящиеся насилия люди будут любить его вечно. По крайней мере, до тех пор, пока убийства и самоубийства все же будут совершаться меньшинством, а не большинством».

Альбине-Бебе, к счастью, были известны и другие (без убийств и самоубийств) случаи бессилия и неукорененности человека в Божьем мире. Она надеялась, что убийства и самоубийства — все же исключения, тогда как мирное (тихое) бессилие и пассивная (не злобная) неукорененность — правило. Иначе не было бы на свете такого количества людей.

Наверное, подумала Альбина, у повелевающей миром силы миллионы глоток, чтобы хохотать. Наверное, мир и есть смех. Она попыталась (мысленно) открыть свою сущность смеху и чуть не потеряла сознание. Похоже, раздающийся внутри (над) мира (ом) смех был над (вне) пониманием (я) людей. Он звучал в ином, не доступном человеку, диапазоне. Так люди (не алкаши!) не слышат не только ультразвукового писка летучих мышей, но и трепета и волнения ангельских крыльев у самых своих лиц.

Альбина-Беба подумала, что единственный зритель перманентной, на многочисленных сценах, комедии — Господь Бог. Повелевающая же миром сила всего лишь развлекает его, как шут, точнее — режиссирующий шут. Люди же — (опять!) расходный (но быстро возобновляемый) материал для представления. Ей открылся глубоко

чайший (она подозревала, что истинный, то есть единый и неделимый) смысл слова «труппа».

Все это было странно, потому что в тот день А-Б была трезва как стеклышко и совершенно не стремилась вырываться из мифического, обозначенного врачом-наркологом графика.

Действительно, подумала Альбина-Беба, куда ни кинь — везде не клин, но смех. Везде... труппа. Неужели, подумала, она, переселить силу — означает ее пересеять? Вышибить смех смехом, как клин клином или как смерть смертью?

23

Она вспомнила, как один приятель отца — не Гагик, который рвал с пальца Ханны кольцо, а потом рыдал у камина, — но тоже богатый (с другими, за исключением Иванова, отец не водился) тоже ревновал свою жену. Похоже, в их среде это было весьма распространенным явлением. Вторым по силе, утверждал отец, после ревности к своему бизнесу. Тут эти люди легко и естественно шли на смертоубийство. Любовь к деньгам была сильнее «сбоя в психической физиологии», как именовали классическую ревность в новомодных учебниках по психиатрии. Но если на бизнес (на деньги) никто не покушался, вся сила ревности могла обрушиться на жену. Впрочем, опять же (если верить отцу) данный процесс знал внезапную и необъяснимую точку пресечения, когда, дойдя до вер-

шины неистовства, ревнивец вдруг переставал ревновать, странно успокаивался. Спасительная неведомая сила навсегда (невидимым могучим ударом) излечивала ревнивца от ревности, причем в отношении всех без исключения (прошлых, настоящих и будущих) женщин в его жизни. Отец называл это Божественным прояснением. А-Б подозревала, что он находится в числе этих, переживших чудо исцеления, счастливчиков.

Но тот приятель находился вне (за скобками) их числа. Он ревновал жену до такой степени, что терял чувство реальности. Говорил отцу о том, какая его жена мразь и сука, даже в присутствии относительно малолетней тогда Альбины-Бебы, которая эту самую подозреваемую в измене жену знала.

Не сказать, чтобы тетенька сильно ей нравилась. Она вся как будто состояла из мягких пломбирных овалов, ходила и говорила слегка замедленно, глаза смотрели с лица, как два чернослива с блюда, полного меда. Она была красива той особенной (порочной) женской красотой, ради которой мужчины готовы на все. Станным образом в основе этой готовности лежит ясное осознание невозможности удержать в телесном повиновении эту изначально открытую (так в отношении некоторых избранных женщин предопределено самой природой) другим мужчинам красоту. Ведь невозможно удержать в повиновении ветер. Но есть безумцы, бросающие природе вызов.

Альбина-Беба тогда (в раннем девичестве) не очень все это понимала. Она уважала резких, спортивных женщин. Сама стремилась быть такой, до одури прыгая на

теннисном корте, до изнеможения плавая в хлорированном бассейне.

«Чувствую, что трахается на стороне, — мрачно извещал отца приятель, — вот только за ногу поймать не могу».

Это сейчас Альбине-Бебе было совершенно ясно, что такая женщина не могла не изменять, что, собственно, природа для того ее и создала, чтобы мужчины сходили из-за нее с ума и творили безумства. Позже она прочитала в какой-то умной книге, что подобные «сладкие» женские особи встречаются у всех разрядов и подвидов живых существ, в особенности же почему-то у обезьян и... пчел. Целые ульи сходят из-за них с ума, начиная оказывать им почести, какие должны оказывать только пчелиной матке. В книге утверждалось, что таким образом ликвидируются тупиковые ситуации, сбрасывается вредная энергия, регулируется и направляется в правильное русло пчелиная жизненная сила. Если на невидимых Божественных весах данная пчелиная семья признана ненужной (допустим, цветов в этом месте мало), она наказывается такой вот губящей особью. Если какой-то человек стал по какой-то причине неугоден управляющей миром силе, он вполне может быть уничтожен через любовное безумие. Эти глуповатые на первый взгляд женщины носили в себе непонятный огонь, в котором, как торфяники в летний зной, истлевали мужские судьбы.

В конце концов отцовский приятель, (за немалые, надо думать, деньги) нанял частного детектива, чтобы тот раздобыл ему неопровержимые доказательства. Тем более что он сам уезжал по делам за границу. Но детек-

тив оказался каким-то вялым, нечетким. Приятель чуть ли не каждый час связывался с ним через Интернет, требовал, чтобы тот передавал ему отснятые на камеру материалы, но детектив гнал через всю Сибирь и Охотское море (отцовский приятель находился в Японии) странные лирические сюжеты, где гипотетическая прелюбодейка медленно прогуливалась по дорожкам осеннего парка, задумчиво поглядывая то на небо, то себе под ноги. Особенно разъярил его фрагмент съемки, где она медленно (с мечтательным лицом) и долго (как будто до ушей налилась пивом) писала под двухсотлетним дубом, посаженным по преданию, вблизи Поклонной горы (наверное, пока он ожидал ключей от русской столицы) самим Наполеоном Бонапартом. Причем, если обычно (когда, как говорится, припрет) женщины справляют нужду энергично, торопливо и мало заботясь о том, как они выглядит со стороны, то подозреваемая в неверности писала картинно, на камеру (в переносном и почти прямом смысле), так близенько сумел подобраться к ней детектив.

Отцовский приятель ощутил себя режиссером, которому высылают видеоматериалы на так называемые актерские пробы. Следом — в режиме «on line» — поступил сюжет, как она греет руки над кучей горящих осенних листьев. Затем — как гладит какого-то зачуханного, с репейниками в хвосте спаниеля. И наконец, как в книжном магазине листает... книгу под названием «Путешествие Вильгельма в страну любви».

«Какой-то бред, — засомневался приятель, — она же не прочитала в своей жизни ни одной книги».

Он решил заново отсмотреть присланные кадры в ночном — с гейшами — клубе, куда его привел партнер-японец.

Тут вдруг одна из гейш, прослезившись, что-то произнесла на своем языке.

Приятель потребовал перевести.

«Она говорит,— нехотя перевел партнер, вывозивший из России кедровый лес и ввозивший в Россию ядовитые отходы химического производства,— что завидует этой счастливейшей из женщин».

«Завидует? — удивился приятель. Они как раз смотрели, как его жена писает под величественным дубом. — Чему она завидует? Что у нас в России можно ссать под каждым кустом?»

«Нет, она восхищается тем, как вы любите свою жену, если делаете о ней такие фильмы. Она говорит, что каждый кадр дышит неземной любовью и нежностью к этой женщине...»

Ревнивец понял.

Ближайшим рейсом он вернулся в Москву, но жены и детектива уже и след простыл. Как и след немалой суммы денег, которую бизнесмен держал (на случай разного рода неприятностей) на счете прелюбодейки-жены.

Он решил, что беглецы скрываются в глухой деревне в Новгородской области у родителей жены. Через паспортный контроль в аэропортах они не проходили, значит, из страны не выезжали. Понесся на машине в эту деревню. Подъехал уже в сумерках. На лесной дороге (или раньше) зачем-то положил рядом с собой заряженное, а главное, снятое с предохранителя помповое ружье. Сельские доро-

ги в России, как известно, расползаются во все стороны, как раки. Причем не простые, а (особенно после дождя) скользкие, глинистые раки. На подъеме из глубочайшей лужи «мерседес» занесло, бросило на придорожный подлесок. И надо же такому случиться — в окно просунулась длинная гибкая (как рука снайпера) ветвь, зацепилась за курок, а когда новоявленный Отелло добавил газу, чтобы вырваться с обочины, раздался выстрел, который чисто (как будто она была лишняя) срезал (картечь не успела разлететься) голову с плеч отцовского приятеля. Когда на следующее утро на место происшествия по распоряжению губернатора прибыла следственная бригада, дотошного следователя крайне удивило то, что просунувшаяся в окно «мерседеса» ветвь оказалась... кедровой, хотя кедры отродясь не росли в Новгородской области. Должно быть, это была ветвь непонятным образом мутировавшей сосны.

Ну а чем закончилось дело Альбина-Беба (не без труда) узнала от отца.

Поскольку бизнесмен брал кредит в отцовском банке «Прицел», был застрахован в страховой компании «Прохлада» и вел дела с ФПГ «Органайзер», его тело (без головы), но с еще относительно свежими внутренними органами срочно (для таких целей использовались специальные вертолеты — «летающие холодильники») доставили в Москву, в одно из отделений «Органайзера», где оно, как водится, бесследно исчезло, благо бизнесмена никто, включая сбежавшую с частным детективом жену, особенно и не искал. У него не было долгов.

«Странно,— произнес через какое-то время отец, когда про несчастного ревнивца забыли, как будто такой

человек никогда не появлялся на свет, не работал в комсомоле, не рубил столетние сибирские кедры, не зарывал в родную землю ядовитые японские отходы, — какие могучие, можно сказать, идеальные оказались у него внутренние органы. Словно он всю жизнь не ел, не пил, не курил, не зарабатывал деньги, не изводил себя ревностью, а только укреплял свое здоровье. Мои индусы, — с донорскими внутренними органами в «Органайзере» — первично, работали индусы из тайной касты «земляных хирургов», так приблизительно она переводилась, — сказали, что он бы мог жить до двухсот лет... А уж они-то знают толк в этих делах, три тысячи лет шарят по могилам. Все, практически все пошло в дело... Он не только покрыл кредит, но еще и дал прибыль. Вот только, — с притворной грустью вздохнул отец, — куда перечислять? Никто не знает, куда уехала его жена».

Альбина-Беба чувствовала, что отец чего-то не договаривает, но даже приблизительно не представляла, чего именно. Угадать было все равно что забросить леску с наживкой... прямо под нос мифической сирене в озере Жеребец.

Но про предстоящую рыбалку (если, конечно, данное слово здесь уместно) Альбина-Беба тогда, естественно, ничего не знала. Человек, в принципе, знает про собственное будущее фактически все, кроме того главного, единственного, что вдруг случается и, собственно, составляет это самое будущее. Точнее, чем оно (за вычетом его представлений) в конечном счете оказывается. Оно всегда (как смерть) подкрадывается незаметно и (как смерть же) неизменно застает человека врасплох. Репетиции

смерти (простые и генеральные), таким образом, проводятся постоянно. В этом заключается основной — столбовой или ствольной — нерв игры, в какую играет с человеком склонная к угрюмому юмору, управляющая миром сила.

«Угадывать будущее, — заметил однажды молодой философ Дмитрий Лекалов-Соннов, — все равно что рассматривать в сумерках впереди по курсу силуэт. Рассматривать, конечно, можно сколько угодно, но как узнать — хороший это или плохой человек, святой или убийца? А может... и не человек вовсе, а призрак?»

Спустя некоторое время Альбина-Беба выяснила, что, оказывается, индусы — пресловутые «земляные хирурги» — несмотря на отменное качество внутренних органов ревнивца, упорно не советовали отцу пускать их в дело.

Но отец не послушал их, «земляных хирургов», представителей касты отверженных, на протяжении тысячелетий отнимающей у матери сырой земли остаточные живые человеческие органы.

Он пытался заинтересовать этим сюжетом писателя-почвенника (здесь ведь тоже была задействована земля!) Иванова, брался договориться с какой-нибудь студией о сериале, только бы Иванов согласился сочинить сценарий.

Помнится, они сидели у камина, и отец горячо убеждал Иванова заняться великолепным, могущим одномоментно прославить его сюжетом.

Иванов тупо смотрел в огонь. Потом — в стакан с виски. Здесь его взгляд несколько оживлялся. Как-то, похоже смутные, бродили в его голове ассоциации на-

счет огня в камине и виски в стакане. Но только не насчет предрекаемой отцом славы. Тут он не обольщался.

Альбина-Беба, которая (на правах молчаливого меньшинства) допускалась присутствовать при мужской беседе, с удивлением посматривала на отца. Она, в общем-то, считала его неглупым (хотя и не на всех направлениях) человеком. Ей было совершенно очевидно, что преждевременный елочный дед Иванов и сочинение сценариев для сериалов — вещи несовместные. И ей было странно, что отец этого не понимал. С таким же успехом Иванов мог вдруг начать убеждать отца бросить к чертям собачьим бизнес и отправиться в рубище по святым местам. Или посвятить остаток жизни... Богу.

«Сумасшествие,— между тем развивал мысль отец,— таинственным образом укрепляет физическое здоровье человека, доводит до совершенства его внутренние органы, но при этом отнимает у него разум. То есть, в сущности, превращает его в экологически чистую биологическую фабрику. Представляешь, какие здесь открываются перспективы по части донорских органов. Но беда в том, что сумасшествие — оно... как гениальность, как дар Божий, внесистемно. Его не только не поставить на поток, но даже и не отследить в... необходимых товарных масштабах. Я думал, думал над этим,— без особого стыда признался отец.— Были кое-какие наработки. Но ведь что получилось? — с неудовольствием посмотрел на Альбину-Бебу, но ничего не сказал, поэтому она осталась сидеть.— Оказывается, безумие пронизывает организм, как радиация, и в каждом конкретном случае, оказывается, надо выяснять причину. Не такие

уж они и безупречные доноры, эти мычащие идиоты, — мрачно произнес отец. — Везде, везде мать-природа ставит ограничители! — хлопнул себя по коленке. — Эта его дикая ревность стала каким-то образом передаваться людям, которым мы пересадили его органы. Ладно бы, мы пришили кому-нибудь его... член, — покосился на А-Б, — но при чем здесь печень? Или не зря говорят, — добавил задумчиво, — “сидит у меня в печенках”? Народная мудрость и истина неразделимы? В смысле, что любая народная мудрость конгениальна научной истине. Печень ушла какому-то старому хрену из Дюссельдорфа, владельцу цветочной оранжереи. Так вот, этот козел... чуть до смерти не забил свою восьмидесятилетнюю фрау за то, что якобы застал ее с садовником! Почку я отдал нашему... ну, худому такому, трясущемуся, из правительства, он еще украл угольный кредит. Бабушки наши его жалеют, такой, говорят, болезный, а все ездит вместе с президентом, все душу рвет за народ и Россию. Так вот, этот болезный с новыми почками вдруг взял да полоснул казачьей саблей жену по горлу, сделал бедную женщину инвалидом. Была красавица, а теперь... — отец махнул рукой. — Голова ходуном, и шея как у гусыни — пришлось удлинять, вставлять трубку для дыхания. А с сердцем вообще мрак. Помнишь, банкир вдруг выбросился из окна, еще думали, что убили, но потом выяснили, что сам. Никто не мог понять — почему? Солидный такой человек, на Черномырдина похож, дела отлично шли, дверь к президенту ногой открывал, бабок неупроорот... Писали, что СПИДом заразился, что хотел президента убить, но это туфта. Оказывается, влюбился в секретаршу, хо-

тел бросить семью, а та... изменила, как это у них водится, ему с лифтером, у него был персональный лифт, он их прямо в лифте и застукал. Так увлеклись, что не заметили, как он лифт вызвал. Думали, он вышвырнет секретаршу к чертям собачьим, а он... в окно. Контора у него помещалась на двадцать втором, в одной из башен на Новом Арбате. Вот так, опять же народная мудрость гласит: "Сердцу не прикажешь". Тем более пересаженному, — мрачно уточнил отец. — Я вот что думаю... Судьба существует. Противостоять ей бесполезно. Она странным образом доводит до логического, точнее алогического, конца то, что уже довела, но что каким-то образом было отыграно назад, как в случае с этим несчастным ревнивцем. И делает это жестоко, грубо, зримо, не маскируясь под обстоятельства, а как бы внаглую наказывая за сам факт покушения на predetermined ход вещей. Нарушать этот ход, бороться с судьбой, означает уничтожать в ее действиях логику, переводить ее ответные действия, так сказать, в сферу иррационального, мистического и запредельного. Мне кажется, — зачем-то смачно сплюнул в огонь отец, — что и все эти... привидения, призраки... оттуда... Они — реакция на бесполезное противостояние судьбе. Она при любых обстоятельствах берет свое. И эти паршивцы, ну, мои индусы, это знают. Хотя, — с сомнением покачал головой, — если их слушать, так для пересадки следует использовать исключительно органы умерших естественной смертью молодых благородных людей в расцвете сил и желаний. А где я их возьму? — с сомнением посмотрел на Иванова отец. — В России это только ты да я. Может, их в Индии много?

Я хотел организовать, но там молодые, благородные, в расцвете сил и желаний умирают естественной смертью в основном от СПИДа или от гепатита. Неужели единственный путь — это контролируемое сведение людей с ума? Ну, — хлопнул по безвольно опущенному плечу писателя Иванова, — как тебе мой сценарий?»

«Жизнь расширяется во все стороны, — пробормотал Иванов, — она как воздух. Но это неправильное, точнее одностороннее сравнение. Ты правильно сказал, что судьба — это радиация. Ты не знаешь, в какой момент она тебя — отсроченно — убивает, в смысле приговаривает. Ты это чувствуешь, не можешь не чувствовать, но... не веришь. Но он наступает, обязательно наступает этот момент, который переводит твою жизнь в иное — истекающее — качество».

«А сценарий? — упавшим голосом спросил отец. — Ты будешь сочинять сценарий? Неужели ты не хочешь прославиться, не хочешь стать миллионером, чтобы, так сказать, скрасить этот печальный момент?»

«Что моя нынешняя жизнь? — словно не расслышал его Иванов. — В метафизическом плане — скорбный путь через развалины всего, что я когда-то любил, что имело для меня смысл. В физическом — сплошной second-hand плоти. Мне противно видеть в зеркале свою убогую морщинистую рожу. Я утром только смотрю на себя, а уже чувствую, как у меня воняет изо рта. Я устал от этих обезумевших, траченных жизнью баб... — осекся, не стал продолжать, заметив внимательно слушавшую его Альбину-Бебу. — Наверное, — посмотрел на нее прозрачайшими, как очищенный алкоголь, глазами, — перед

концом души, как последний выживший солдат побежденной армии, совершает марш сквозь развалины всего, что защищала и любила... Хочешь, объясню, в чем главная тайна и главное противоречие человеческого сознания? — строго, как честный профессор на ленивого коммерческого студента, посмотрел на отца Иванов. — Не мы решаем, чем наполнить свою жизнь. Наполнение конкретной человеческой жизни в принципе мало зависит от человека. Но человек начинает понимать это только... когда утрачивает то... что он, быть может, вовсе и не ценит, но что оказалось самым главным, без чего, оказывается, нельзя. Когда исчерпанность на этом направлении становится абсолютной, душа делается настолько легкой, что... отрывается и отлетает в небеса. Или, — продолжил после паузы, — настолько тяжелой, что опускается... в ад. Но обычно, — закончил без малейшего волнения, как будто уже все продумал и окончательно выяснил, — все оказывается гораздо банальнее. Из жизни уходит что-то такое, что ты считал второстепенным, раздражающим или беспокоящим, что заставляло тебя переживать, создавало проблему, которую ты не мог решить. Но вот это ушло, и ты вдруг сделался внутри пустой, как... выпитая бутылка. Оказывается, только эта нерешаемая проблема и придавала смысл твоей жизни. Она тебя мучила, но при этом ты жил. Она перестала существовать, перестала тебя мучить, и ты... как будто умер вместе с ней».

«И что же это такое?» — мрачно посмотрел на Иванова отец.

«В личном, житейском плане — что угодно, — ответил Иванов, — нелюбимая жена, неудачные дети, посты-

лая работа, надоевшая любовница. Но, оказывается, есть нечто, что первичнее личного, без чего ты, как рыба, которую выбросили на берег. Или как... мышь, которую вышвырнули в море».

«Это биология, — сказал отец, — ты абсолютизируешь свой персональный жизненный опыт».

«Возможно, — пожал плечами Иванов, — но вся моя жизнь осталась там, в СССР. Здесь я ничто и имя мне — никто».

«Да, — с тоской вздохнул отец, — но это будет совсем другой сценарий».

«По умолчанию», — сказал Иванов.

«По умолчанию? — удивился отец. — Умолчанию чего?»

«Все истинное в этом мире — по умолчанию, — ответил Иванов. — Как, собственно, и самое совершенное. Я, естественно, не имею в виду СССР и все с ним связанное, а всего лишь ничтожнейшую свою жизнь и странные мысли, которые приходят мне в голову. Они не просто по умолчанию, а еще и... — на мгновение задумался, — по уничтожению. Именно так, — кивнул головой, — все истинное, совершенное и, следовательно, Божественное — по умолчанию и уничтожению. На этом многоспинном ките стоит наш мир».

«И не прыгнуть?» — кратко встряла в разговор Альбина-Беба. Она смутно угадывала, что речь идет о чем-то важном, и хотела понять. «Важное» вообще было растворено в жизни, как серебро в воде. Альбина-Беба подозревала, что его невозможно сформулировать. Из воды нельзя отлить серебряный слиток. Она подума-

ла, что люди, как слепые рыбы, плавают в серебряной воде, пытаюсь (или не пытаюсь) постигнуть мысль Божью.

«Куда? — спросил Иванов. — Разве только в высшую и последнюю стадию умолчания, а именно — в смерть».

«Ладно, — щедро плеснул в стаканы виски отец. Потом зачем-то плеснул еще и в огонь, как убежденный огнепоклонник. Огонь, как заправский алкаш, единым махом проглотил выдержанную, отдающую дегтем жидкость и только жадно облизнулся. Иванов смотрел в камин с такой печалью, словно именно там бесследно сгорало все истинное и совершенное, включая его жизнь и СССР. А может, ему было жаль впустую растраченного виски. — Но ведь вовсе не обязательно делать сериал для... Бога. Можно для денег. Они, в отличие от Бога, реальный, а главное, не слишком привередливый заказчик. Я понимаю, это звучит банально. Но вполне жизненно», — миролюбиво добавил отец.

«В принципе, — повернулся к отцу Иванов, и Альбина-Беба поняла, что он никогда в жизни не напишет сценарий, который имеет в виду отец. А если и напишет, то другой, за какой и денег не дадут, и славы не дождет-ся, — структура любого сценария предельно проста. Что такое хороший сценарий? — задал вопрос и сам же ответил: — Ответ на витающий в воздухе вопрос. Но беда в том, что вопросов в воздухе витает не так уж много. Их там повесил Бог, и, вероятно, повесил не за тем, чтобы разные паршивые сценаристы на них отвечали. Но они отвечают на свой лад, — укоризненно покачал головой, как бы удивляясь неуместной человеческой прыти, Иванов, —

создавая сериалы, паразитируя на вечных темах и имитируя вечные чувства. Между тем в мире не так уж много новостей, достойных обсуждения. Новость первая, — покосился на Альбину-Бебу, — обнаженное женское тело и все, что с ним связано, включая любовь, измену, насилие, прелюбодеяние, проституцию и так далее. Вторую, после обнаженного женского тела новость, — продолжил Иванов, — я бы определил как новость-не-новость. Это двойственная, — опять почему-то посмотрел на Альбину-Бебу, — новость, как сердце, составленное из двух половин двух разных людей и... вставленное в чью-то третью грудную клетку. Ну, ты-то, — повернулся к отцу, — знаешь, как это делается. Это новость, что Бог есть и, следовательно, есть Страшный суд. И одновременно не-новость, что Бога нет и, следовательно, можно делать все, что только способны стерпеть люди. Ну и, наконец, последняя — третья — новостиска: смерть тотальна и необратима. Она всегда, везде и всюду, здесь и сейчас, внутри любых обстоятельств и вне человеческих надежд. Вокруг, точнее, в приближении к этим простым вещам, — подвел черту Иванов, — крутятся не только все сценарии в мире, но и сам мир, и вся человеческая жизнь».

«А слава? — сознательно наступила ему на большую мозоль Альбина-Беба. — Разве сценарии не крутятся вокруг славы?»

«Это несерьезно, — рассмеялся Иванов, сильно отпив из стакана. — Истина в том, что наша жизнь протекает внутри заговора моральных уродов. Они проникают во власть, управляют обществом, устраивают жизнь по своим понятиям. Не платят пенсии старикам, обворовы-

вают несчастных детей, уничтожают здравоохранение, образование и культуру. Точнее, насыщают ее отбросами общества. Что, в общем-то, для них совершенно естественно, потому что они сами отбросы. Они-то и контролируют тот самый кран, из которого течет слава, точнее омерзительный ее денежный заменитель, наливают только тем, кто им нравится. Я понимаю, — вздохнул Иванов, — моя речь — речь неудачника. Но можно зайти с другого конца. Славу даже и в ее нынешнем ублюдочном виде можно уподобить растворенному в воздухе желеванию, сексу... Неоспоримый факт, что все вокруг трахаются, совершенно не означает того, что каждая встречающая женщина готова трахаться именно с тобой. Скорее наоборот, — грустно продолжил Иванов, видимо вспомнив про second-hand плоти, — она готова трахаться с кем угодно за исключением... тебя. То, что мы принимаем за славу, — закончил Иванов, — теряется между двух этих сосен. Хотя, конечно, существуют технологии, позволяющие сделать нечто из пустоты, представлять жизнь в виде смерти и наоборот. Они сегодня управляют миром».

24

Альбина-Беба вспомнила, что было дальше в «Библио-Глобусе».

Заполучив автограф Иванова, она показала ему анатомический атлас с глянцевыми, избыточно красочными иллюстрациями. Внутренняя человеческая плоть, каза-

лось, вот-вот просочится сквозь обложку, натечет в белоснежный полиэтиленовый пакет мясной лужицей. В особенности стремилась к этому глазница (orbita) с глазными мышцами, слезными железами, тройничным ганглием, слезными канальцами и носослезным каналом. Так что не без слез обещала оказаться мясная лужица.

Иванов, вхолостую простаивающий над зиккуратиком своих книг, неожиданно заинтересовался анатомическим атласом.

«В сущности, — заметил он, — эта штука ничем не отличается от гадальных карт. Можно, например, погадать — от чего умрешь? — Иванов зажмурил глаза, наугад открыл атлас. Выпал поперечный разрез туловища на высоте бифуркации трахеи (Bifurcatio tracheae) чуть выше сердца. — Ну да, — констатировал Иванов, — спазм, приступ, инфаркт, одним словом, острая сердечная недостаточность... Если верить статистике, это самая распространенная причина смерти в преклонном, скажем так, возрасте. Почему, собственно, я должен быть исключением? Хотя, — заметил после паузы, — каждая вошь почему-то надеется, что ее минет чаша сия, что именно ей уготовано исключение из правил».

Потом, полистав атлас, сказал Альбине-Бебе, что один из самых верных признаков конца света — повышенная востребованность внутренних органов: извлечение, препарирование, консервирование, пересадка, использование в качестве art-material и так далее.

«С одной стороны в них нет ничего сверхъестественного, — поведал Иванов, — потому что их создал Бог. Но с другой стороны, в них Божественная тайна жизни,

шифр судьбы, мясная скрижаль, наконец, они — Божественный же клон, ибо человек создан по образу и подобию Божьему. Препарируя себя, — продолжил Иванов, — человек препарирует Бога, а это, — строго погрозил пальцем шарахающимся в стороны посетителям магазина, — к добру не приведет».

«А вы скажите им об этом, — кивнула на лежащий рядом с книгами микрофон, посредством которого Иванов должен был завлекать читателей, Альбина-Беба, — глядишь, и раскупят книгу...»

«Скорее, раскупят анатомический атлас, — усмехнулся писатель-почвенник Иванов. — К тому же в мои планы не входит рекламировать учебные пособия. У меня нет ни малейших иллюзий относительно так называемых читателей».

«Но ведь они разные», — с некоторой обидой, поскольку сама относилась к этой крайне многочисленной категории людей, заметила Альбина-Беба.

«Это мнимая разность, — горько усмехнулся Иванов. — Так называемого массового читателя надо брать, как дешевую бабу — шампанским, шоколадом, пятерней на ляжке, матерным шепотком в ухо и пошлейшими обещаниями. Я нарисую тебе обобщенный портрет читателя. — У Иванова вдруг заблестели глаза. Он как будто помолодел от неизбывной ненависти к читателю, ради которого он жил и писал, но который в упор не замечал ни Иванова, ни его писаний. — Читатель — это блядь, которая знает, что она блядь, но хочет, чтобы другие считали ее порядочной. Эта лживая блядь ищет в книге обман. Обмирая от мнимого ужаса, читает про мерзость, но в ду-

ше тайно негодует, что мерзости мало, что какая-то она пресная, эта мерзость, надо бы покруче. Массовый читатель всегда алчет гнусного, позорного и порочного, потому что в глубине души знает, что жизнь именно такая и есть. Но при этом он еще хочет обманываться, причем не насчет жизни, а... насчет себя. Суть обмана состоит в утверждении, что мир — переполненная мерзостью и развратом выгребная яма, а он, гад, при том, что по уши сидит и хрюкает в этой яме, — ангел с белыми крыльями, который парит над ямой и к его крыльям не пристаёт дерьмо. Но быть ангелом скучно, быть говном гораздо интереснее, поэтому ему надо объяснить, что он при том, что он ангел, еще и говно, но не простое, а золотое, то есть говно, которому можно делать все что угодно, потому что оно, так сказать, Божественное говно. Собственно, это и есть основной закон — конституция читающего мира. Кто сумеет к нему приблизиться, того читатель будет носить на руках, покупать его книги на всех языках миллионами экземпляров».

«А как же вечные конфликты?» — спросила Альбина-Бебе. — Допустим, конфликт отцов и детей?

«Неужели ты веришь в этот бред?» — расхохотался Иванов. Две приблизившиеся было к столику потенциальные покупательницы испуганно бросились в сторону. — Вечно живая и вечно заново открываемая тайна жизни заключается в том, — продолжил он, — что люди уже рождаются уродами, ублюдками, нравственными инвалидами, богоборцами, импотентами, онанистами и так далее. Конфликт поколений — это конфликт подрастающих ублюдков-революционеров с пожившими ублюдка-

ми-консерваторами, осознавшими, что хоть мир и вместилище уродов, все же не следует его перегружать уродством сверх меры, а именно возводить его в единственный и непререкаемый закон. Ибо допустимый предел уродства все же существует... Иначе, — опаматовавшись, тихо произнес Иванов, — в мире давно бы исчез такой ограничитель, как закон самоуничтожения зла».

Покинув «Библио-Глобус», Альбина-Беба, естественно, тут же забыла о разговоре с писателем Ивановым, но придя домой и включив телевизор, напоролась на сюжет, как в каком-то занюханном городке в Латвии (естественно, на границе с Россией) некие люди обнаружили в местном морге аж пятьдесят контейнеров с извлеченными из трупов, законсервированными внутренними органами, а также целые россыпи костей.

Кому и для чего понадобились мертвые внутренние органы и кости?

Альбина-Беба подумала, что конец света напоминает непонятный балаган, где наблюдается смешение стилей, представлений, а главное — действий, однозначно не попадающих под определение «добра» или «зла». Неужели, подумала она, ожидаемый конец света — это всего лишь масштабная (со спецэффектами) имитация давно состоявшегося действия? Лично она понимала конец света как окончательное торжество смерти (мертвой природы) над жизнью (живой природой). Но не понимала, зачем, собственно, усложнять и поэтизировать этот неостановимый процесс, зачем дезавуировать, унижать и опошлять и так терпящую поражение на всех фронтах живую жизнь?

...А-Б вспомнила инсталляцию, устроенную почему-то в... зоологическом музее. Называлась она «Голосуй сердцем» и была приурочена, по всей видимости, к очередным выборам: не то президента, не то депутатов Государственной думы.

Посреди зала стояла избирательная урна, отверстие в которой было не щелевидным — для бюллетеней, а овальным — для сердец. К урне выстроилась целая очередь движущихся (видимо, внизу был установлен сценический механизм) людей (избирателей), находящихся в разной степени извлечения из грудной клетки... сердца. Одни (в конце очереди) только взрезали ее скальпелем, другие (ближе к урне) уже были готовы бросить в нее малиновые, пульсирующие в их руках, сердца.

Инсталляция находилась в постоянном (очень натуральном) движении, и Альбине-Бебе, помнится, даже сделалось страшно. Она не могла сразу понять: манекены это, препарированные трупы или... живые люди.

Во всяком случае, одна девушка была точно живая. Абсолютно обнаженная, она сидела за стеклянным столиком со стаканом красного вина, а перед ней на тарелке лежало... хорошо прожаренное сердце с зеленью и гарниром. Время от времени девушка отрезала кусочки, отправляла их в рот, запивая красным вином. На столике стояла табличка «Против всех».

Сокурсник, который привел Альбину-Бебу на странный хэппенинг, объяснил ей, что обнаженная девушка и есть автор композиции.

В принципе, Альбина-Беба знала, что выборы в России — издевательство, воровство и сплошной обман,

но ее удивило, что они (выборы) способны вызывать у одних людей (девушки-постановщицы) столь сильные творческие эмоции, а у других (отсутствующих) желание оплачивать странные действия.

Альбина-Беба, помнится, поведала об этом Лекалову-Соннову.

Ей, вообще, нравилось разговаривать с Дмитрием. Он всегда стремился развить, обобщить, а главное — максимально продлить в «мыслепространстве», как выражались ноосферщики и космисты, идею. Если, конечно, руда (услышанные слова) содержала металл (мысль и идею).

По мнению Дмитрия, одновременно с издевательством над внутренними органами человечество должно было вступить в эпоху издевательства над словом. А следом — приступить к деятельному уничтожению музеев, библиотек и хранилищ древних рукописей.

«Почему? — удивилась Альбина-Беба. — Какой в этом смысл?»

Она вдруг подумала, что конец света универсален и всеобъемлющ, как сама жизнь. И смысл, наверное, растворен в нем, как то самое серебро, которое невозможно извлечь из воды. Альбина-Беба ощутила себя серебряной водой, текущей в слепой ночи... куда? Наверное, подумала она, к водопаду. Вода должна была разбиться о камни, чтобы серебро опустилось на дно, а водяная пыль встала над землей огромной радугой.

Альбина-Беба подумала, что неожиданно возникшая в ее дурной голове картина конца света, скорее напоминает картину возрождения и очищения. Но, наверное, и это

тоже присутствовало в текущей к водопаду серебряной воде.

«Дело в том, — ответил ей Лекалов-Соннов, — что в отношении жизни слово первично. Жизнь конечна, а слово — способ общения мертвых с живыми, передача мыслей сквозь время и пространство. Вот почему оно должно быть разъято, как... тело на внутренние органы. Люди должны начать разговаривать на новом, абсолютно ничего не выражающем, языке».

«Но ведь это уже было, — в памяти Альбины-Бебы вдруг всплыло словосочетание — “идейно крепкий речекряк”. Его озвучил один демократически настроенный студент на лекции по истории философии. Старушка-преподавательница, впрочем, не удостоила его дискуссии, заявив, что роман «1984», особенно в свете нынешней «борьбы с терроризмом» — как раз и есть роман о высшей и последней стадии демократии, которая не может быть ничем иным, кроме как тоталитаризмом. «Это предопределено, юноша, — сказала она молодому поборнику демократии, — об этом не устают писать лучшие умы человечества. Если вы этого не понимаете, то вы кретин, и вам незачем учиться в институте, даже и в медицинском».

«Было, — согласился Лекалов-Соннов, — но тогда язык подгонялся под некую идеологическую схему. А сейчас речь в принципе идет о разрушении любых схем, любых организующих жизнь конструкций. Новый единый и окончательный язык будет всего лишь внесловесно, то есть внеобразно выражать то, про что невозможно молчать: боль, страх, желание совокупиться, гнев и голод. Это будет что-то вроде языка динозавров. Но сначала

возникнут волны псевдоязыков, выражающих разного рода смежные, иногда даже очень сложные понятия, то есть наднациональных языков не для всех. Они-то и сметут существующие сейчас языки. Ну а дальше — как с внутренними органами...»

«А музеи? — устало поинтересовалась Альбина-Беба. — Зачем уничтожать музеи?»

«Видишь ли, — объяснил Лекалов-Соннов, — предметы искусства — это, в сущности, те же самые овеществленные слова. Есть некая фантомная связь между людьми, которые их создали, и людьми, которые пришли в музеи и на них смотрят. Впрочем, я не думаю, что их будут уничтожать у всех на глазах. Скорее всего — как бы в результате войн, воровства, каких-то необъяснимых пожаров, наводнений, аварий. А начнут, — пронзительно взглянул на Альбину-Бебу, — с шумеро-аккадской цивилизации, то есть с древнейших городов человечества — Вавилона и Урука».

«Ну и что же нам, бедным, останется?» — спросила Альбина-Беба.

«Все, — пожал плечами Лекалов-Соннов, — за исключением тела, сознания, слова, времени и культуры».

Альбина-Беба попыталась вообразить себя в бездушешной (бездушной), внетелесной, внекультурной и вневременной немоте, и опять в ее сознании возникла текущая в ночи к водопаду река.

Никто никогда не узнает, с грустью подумала Альбина-Беба, что у меня такое красивое тело, в голове у меня такие умные мысли и что я веду такую странную жизнь.

Хотя, конечно, некоторым (насчет тела) людям это было известно. Как, впрочем, и насчет умных мыслей. Но Альбина-Беба не была готова демонстрировать свое тело и мысли всем желающим, как это делала девушка — автор инсталляции. Что же касается странной жизни, то ею в наши дни трудно было кого-нибудь удивить.

«А потом, — сказал Лекалов-Соннов, — после революции внутренних органов, слов и древних культур, я думаю, начнутся разного рода инсталляции, игры с генами и ДНК. Скажем, какие-то цепочки из ДНК будут изыматься, а какие-то вставляться. Появятся люди-крокодилы и мыслящие ромашки. Наверное, — добавил задумчиво, — это и будет логический итог цивилизации. Мыслящая субстанция перельется из сознания людей непосредственно в мир. Мыслить начнут деревья, осы и кроты. Вот только...» — задумался.

«Что?» — спросила Альбина-Беба.

«Вот только если за основу будет взято человеческое сознание, — ответил Лекалов-Соннов, — мир придет к концу практически мгновенно. Человеческую мысль надо закупорить, забетонировать в саркофаге черепа, как... реактор Чернобыльской АЭС».

Альбина-Беба вдруг подумала, что не случайно бытовые сатанисты называют друг друга «черепастыми». Видимо, это как-то связано с предполагаемым выходом их омерзительного сознания вовне. Наверное, этот процесс каким-то образом направляется и управляется. Мир вскоре вздрогнет, как девушка в темном подъезде, ощутив на нежной шее свинцовые пальцы маньяка.

А еще она подумала, что жизнь — эта такая река, которая всегда (какой бы странной и дикой она ни казалась) протекает в отведенных ей берегах. Более того, это такая река, которая в принципе не может выйти из берегов. Потому что при всех обстоятельствах продолжает оставаться рекой со всеми вытекающими (из нее) последствиями. Вот только не следует ошибаться, принимая эти самые последствия за саму реку. Жизнь — всюду. Даже в концлагере, вспомнила она какой-то фильм, в ночь перед газовой камерой доведенные до крайней степени истощения, неотличимые от скелетов мужчины и женщины совокуплялись на плацу в ослепительном свете прожекторов под хохот эсэсовцев.

Но, с другой стороны, всегда и всему приходит конец. В том числе и реке под названием «жизнь». Для обозначения сущего хватало всего трех букв. «Р» — рождение, «Ж» — жизнь, «С» — смерть. Какая-то революционная получалась аббревиатура РЖС, что-то вроде Революционного Жилищного Совета. Но ведь мир и есть Революционный Жилищный Совет, подумала А-Б, а возглавляет эту контору Бог. Кого хочет — принимает. Кого хочет — исключает. Кому — расширяет жилплощадь (пространство и время). Кому — сужает до размера пули, лезвия, веревки, горсти снотворных таблеток. Не у всех доставало сил вынести это уплотнение бытия. Некоторые хотели дезертировать из совета, но Бог почему-то их не отпускал, иногда, впрочем, лишая права голоса (голосующих акций). И тогда они, вспомнила про другой — черепастых — совет А-Б, начинали голосовать «против всех», то есть поедать чужие сердца и запивать их кровью.

А еще этого права (вместе с голосом) оказалась лишена несчастная Ильябоя, у которой Альбина-Беба и семейство снимали затопляемую на закате солнцем квартиру на Юго-Западе.

Ильябоя легко согласилась сдать квартиру за весьма скромную сумму, из чего А-Б заключила, что нищета отсутствует в списке преследующих ее школьную подругу неприятностей. Они обговаривали условия найма жилплощади в кафе. Ильябоя (как квартиросдатчица) показала А-Б немного рассеянной. Казалось, условия найма ее не сильно интересуют. Они выпили по паре коктейлей, съели по паре десертов. А-Б хотела расплатиться, ведь в конце концов это ей была нужна квартира, но Ильябоя не позволила, оставив суетливому плутоватому юноше-официанту «на чай» едва ли не треть суммы, которую А-Б собиралась платить ей в месяц за квартиру. А-Б еще подумала, что скверно (с холуйства и мелкого мошенничества) начинающий жизнь молодой человек упьется таким количеством чая.

Они расстались поздним осенним вечером на одной из новых московских площадей. Стекланные здания светились, как синие стаканы. Между ними извилисто тянулась железная петля трамвайного маршрута. Трамваи мелодично позванивали на перекрестках и роняли с проводов грозда искр. А-Б посмотрела в небо поверх трамвайных проводов и увидела сиреневую луну. Она напоминала диковинную консервированную коктейльную ягоду и как будто выбирала, в какой из синих стаканов ей упасть.

А-Б с грустью подумала, что, с одной стороны, жизнь проста и предсказуема, а с другой — исполнена не лезущей ни в какие рамки печали, которая переводит ее, жизнь, в новое качество, когда простота и предсказуемость предстают уходящими (не имеющими смысла и значения) объектами. То была печаль предстоящего неизбежного исчезновения, которая настигала (поражала) человека в момент самых что ни на есть житейских хлопот. Ну а дальше на этот горький стержень легко нанизывались любые схемы.

А-Б привыкла считать себя богатой (хотя отец не сильно баловал ее деньгами, опасаясь, что она будет просаживать их в ночных клубах, где неистовствуют подонки и наркоманы) и гордой. Однако сегодня фишка Ильябои, которую она ошибочно приняла за бригадира нищих, но которая в действительности оказалась дизайнером смертного одра, оказалась выше. Ильябоя попросту переехала А-Б как танк своим благородством и победительным презрением к жизни, по крайней мере к ее материальной стороне. А-Б ушла из кафе с ключами от квартиры и с непонятной печалью на сердце. «Я твоя должника», — сказала А-Б. «Потом сочтемся», — ответила Ильябоя, — жизнь так устроена, что все долги всегда возвращаются. Даже, — добавила после паузы, — когда не хочешь их взыскивать».

Некоторое время Ильябоя не давала о себе знать, и, занятая Карабашем, А-Б стала забывать про школьную подругу. Но вдруг в пять утра ей позвонил назвавшийся... Сантосом или Тантосом (по крайней мере, так ей послышалось) врач из реанимационного отделения больницы

имени Склифосовского. У него был режущий металлический голос, жутко звучащий из телефонной трубки посреди квартирного безмолвия. С(Т)антос сказал, что звонит по просьбе Ильябон, поскольку та больше не смогла вспомнить ни одного телефона. Он сообщил, что Ильябоя вознамерилась самочинно уйти из жизни (выйти из состава РЖС, подумала А-Б), наглотавшись каких-то зверских (для успокоения разбушевавшихся «даунов») таблеток. Но бдительный пограничник — Господь Бог, — обнаружил в себе силы пошутить С(Т)антос, — не позволил ей пересечь границу. Мы ее откачали, сказал доблестный реаниматор, но таблеточная кислота сожгла бедной Ильябое голосовые связки, и та онемела. Впрочем, не навсегда, успокоил А-Б С(Т)антос, может быть, всего лет на десять — пятнадцать.

А-Б, естественно, поехала в Склиф, чтобы поддержать подругу.

Ильябоя разместились в отдельной палате со всеми удобствами. На стеклянном столике лежала стопка иллюстрированных журналов по дизайну. В некоторых газетах написали о том, что известная дизайнерша «гостиных смерти» предприняла попытку самоубийства. Как поняла А-Б, акции Ильябон взлетели вверх, заказы пошли валом. Еще ее изумил цветущий внешний вид несостоявшейся самоубийцы. Ильябоя как будто вернулась не с того света, а с курорта. Она подзагорела, глаза светились, волосы блеснули. «Если бы я была художницей, — сказала А-Б, — я бы написала твой портрет и назвала его “Да здравствует жизнь!”» Ильябоя улыбнулась, рукой написала на листке бумаги: «И будь проклята смерть!»

Отныне школьная подруга А-Б изъяснялась жестами (на языке глухонемых) или с помощью специального компьютера, который она носила, как стигмат, на шее. На специальном пространстве компьютера Ильябоя быстро писала специальной электронной палочкой слова, рисовала картинки, которые мгновенно появлялись на дисплее. Когда А-Б навещала Ильябою, та только училась пользоваться этим замечательным устройством, испещряя дисплей светящимся матом. «Это самые старые и, следовательно, главные слова в мире, — разъяснила она А-Б, — от них произошли все остальные».

Если верить Ильябое (а почему, собственно, ей не верить?), слух ее, напротив, необычайно обострился, так что она теперь слышала жужжание мухи через две бетонные стены. Не говоря о прочих звуках, таких, к примеру, экзотических, как движение мысли внутри сознания. Ильябоя утверждала, что иногда этот звук напоминает поршневой ход дождевого червя в земле, иногда — трепет воздушной волны в птичьем крыле, иногда — шорох гонимого ветром по асфальту осеннего листа. Этот образ, похоже, Ильябоя несла в сердце сквозь годы.

Альбина-Беба подумала, что каждый человек рано или поздно, однократно или многократно восстает против диктата готовых форм, пытается уйти за (выйти из) формы, прорваться в недоступный мир склонной к утрумому юмору, повелевающей сущим силы, где все обретает свою истинную (неясно, правда, относительно чего?) цену.

Альбина-Беба много размышляла, каков этот мир, чему его можно уподобить, пока, наконец, не уподобила его абсолютному же — невозможному для человека —

одинокости. Это одиночество достигалось в (опять!) абсолютной освобожденности от всех человеческих симпатий и привязанностей при одновременном доведении всех их до некоего (и опять!) абсолюта утраты. То был триединый абсолют: утраты физической, духовной и, наконец, метафизической, когда во всей полноте открывалось слепое несовершенство самого механизма жизненных связей.

Мир управляющей силы, таким образом, представлял миром переходного — от жизни к смерти — сознания. Когда это самое сознание, подобно художнику, рисует картины прежними — земными — красками, истаявающими в пустоте. Когда оно (сознание) еще живет прежним, постигая невообразимую его тщету, но ему еще (уже?) нечем возместить это прежнее. Главное же, вообще неизвестно, — предполагается ли какое-либо его замещение?

А что если, подумала Альбина-Беба, ничего и не предполагается, и наивысший момент постижения сущего как раз и есть полномасштабное в невозможной концентрации постижение запредельной тщеты того, что человек считал своей жизнью, в особенности же того, за что (кого) у него болела душа. А потом все, конец, финиш, *fini-ta, the end, пиздец*. Это можно было сравнить с наполнением (не водой, но отчаяньем, болью, тревогой и (пост)сердечным трепетом некоего озера (души), над которым естественный кругооборот воды в природе был остановлен. Оно — озеро — наполнялось, как нижняя полусфера человеческого черепа и тут же запаивалась, замыкалась, заваривалась непроницаемой верхней полусферой, как контейнер с радиоактивными материала-

ми. И все. Дальнейшее развитие, движение во времени и пространстве, какое-то продолжение и так далее оставалось навсегда. Дальше не было ничего. Это была самая обидная и оскорбительная для человека формула смерти.

В данном случае Господь Бог представлял не просто великим юмористом, но еще и великим иллюзионистом, обладателем лакированного черного, весьма напоминающего богатый гроб цилиндра, из которого Он предъявлял зрителям отнюдь не белого кролика, но виртуальные («живые» на языке иллюзионистов) картины райских куш, Священные тексты о вечной жизни и спасении души. Но при этом Он был не просто великим иллюзионистом, а... великим отсутствующим иллюзионистом, иллюзионистом по умолчанию, вдруг вспомнилось Альбине-Бебе выражение писателя-почвенника Иванова.

Ей сделалось невыразимо грустно, как будто нижняя сфера ее «черепастого» (теперь она в этом не сомневалась) черепа уже до самых краев наполнилась тяжелой водой печали и скорби, а верхнюю сферу уже почти мертвую насадили на эту самую вставшую горбом, свисающую с краев занавесом воду, так что не осталось между крышками даже жалкого микрона пустоты, то есть, как вдруг открылось Альбине-Бебе, минимального пространства свободы от печали и скорби. Она и раньше подозревала, что свобода — это пустота, но не подозревала, что пустота. — высшая и, видимо, последняя стадия свободы. Всего этого, стало быть, лишался в смертное мгновение человек и во все это уходил, растворяясь в том, что напоследок запаивалось в черепе.

Альбина-Беба подумала, что, в сущности, не так-то в этой жизни все и сложно. Жизнью управляли простейшие связи, которые возникали помимо воли, желания и даже разума людей. Они могли приобретать крепость железного троса, а потом в одночасье истаявать, превращаться в паутину, в ничто, исчезать, оставляя взамен себя особую — незаполняемую — пустоту-свободу. Это как раз и была та самая знаменитая легкость, которая не записывалась человеку в актив на древних весах судьбы. «Твой жребий взвешен и найден легким», — вспомнила Альбина-Беба торжественно-бронзовые слова не то из Библии, не то из какого-то другого эпоса. Смерть и вечность, таким образом, были невесомы, в то время как описывающие их слова невыносимо тяжелы.

26

Ее, например, сколько она себя помнила, всегда тянуло к отцу. Его она любила, за него переживала, с ним ей нравилось разговаривать, но его же временами и ненавидела так, как... никого на свете. Даже смерти иной раз желала своему отцу Альбина-Беба, хотя потом, конечно, раскаивалась.

А вот с матерью у нее близости не было. Ей было плевать, где та ходит и что делает. Когда же отец обещал приехать после работы на дачу, но запаздывал, Альбина-Беба стояла в своей комнате на втором этаже у окна и смотрела поверх высокого забора на дорогу. И больше всего на све-

те ей хотелось разглядеть в сиреневых вечерних сумерках серебристый отцовский «мерседес» с овальными фарами-глазами, подъезжающий к железным воротам.

Отец же, как ей казалось, совершенно не был к ней привязан, из чего Альбина-Беба сделала вывод, что управляющие жизнью связи преимущественно односторонние. Они, так сказать, дорога в один конец, точнее в тупик, где нельзя развернуться и поехать обратно. Там можно только остаться, застрять, увязнуть, усугубив отрицательный жизненный опыт, затенив еще один сектор (сегмент, фрагмент, долю?) души.

Отец (во всяком случае, до недавнего времени) был привязан к матери. О ней он думал, ее поджидал, от ее равнодушия страдал и пил, сходилась с другими женщинами, которые, впрочем, быстро ему надоедали, как будто все были одинаковыми, а разной, то есть желанной, была для него одна лишь мать.

Но той, в свою очередь, плевать было на чувства отца. Она даже не удостаивала себя ими тяготиться. Выходило, что мир без матери для отца был неполон. А для матери мир был полон только в случае отсутствия отца. Тогда она расцветала, смеялась, становилась веселой и оживленной.

Однажды у них даже, помнится, состоялся разговор на эту тему.

Дело было вечером на даче. Мать расчесывала волосы, глядя в большое — в мятой серебряной раме — зеркало. Это зеркало очень нравилось Альбине-Бебе. Какая-то ощущалась в нем вселенская завершенность. Если в зеркале отражалась жизнь, то в серебряной раме —

тайна, сопровождающая эту самую жизнь. Тайна была той самой тенью жизни, которой, как известно, лишались люди, отказавшиеся от собственной души. В тот вечер серебряная рама вокруг зеркала была сумеречна, как если бы мягое серебро превратилось в олово или свинец.

«Мы привезли это зеркало из Туниса, — мать обладала способностью (кстати, не столь уж и редкой для всех на свете родителей) читать мысли своих (Альбины-Бебы) детей, — оно изготовлено по старинной карфагенской технологии. Римляне разрушили Карфаген, — задумчиво продолжила мать, — уничтожили его культуру. Только три вещи они не смогли уничтожить: законы денежного обращения, рецептуру производства красного сухого вина и технологию изготовления зеркал в мягких серебряных рамах».

«А что в них такого особенного, в этих зеркалах?» — спросила Альбина-Беба. Зеркало в мягкой (как жизнь?) раме притягивало ее, как магнит. Она сама не знала, почему ей так хочется в него смотреться?

«Прерывистая непоследовательность жизни, — неожиданно четко сформулировала мать. — Человеку только кажется, что жизнь последовательна и линейна. На самом деле его несет сквозь настоящее, прошлое и будущее, как осенний лист сквозь пространство, где перемешались воздух и вакуум, жизнь и смерть. В сущности, — сказала мать, — все иллюзорно. Но есть нечто, что присутствует в жизни, как говорится, по определению. Это, — внимательно посмотрела на Альбину-Бебу, — деньги. Мятая серебряная рама. Все в мире, включая самые радостные обретения и самые горестные утраты, заключено в эту раму.

Более того, отшлифованный слой серебра, в принципе, может заменить само зеркало. Вот почему, когда смотришься в это зеркало, видишь... чуть больше, чем полагается».

Альбина-Беба посмотрелась в зеркало, но увидела там... чуть меньше, чем полагается, а точнее не увидела ничего, кроме разломившей зеркало золотой гипотенузы. Одна часть зеркального пространства при этом сделалась ослепительно белой, как если бы ее наполнили свет ночных звезд или вспышка сварки, а другая — сумеречно-сиреновой, каким бывает (точнее, почти никогда не бывает) вечернее небо в час, когда непонятная тшета и жалость — к чему?.. да, ко всему, включая себя и еще не родившихся людей — опережающе и запоздало пронизывает душу.

«Мы поехали в Тунис в тур “все включено”, как только твой отец сделал свой первый миллион, — продолжила мать. — Кажется, в девяносто четвертом году. Это была фантастическая поездка. Он не отказывал мне ни в чем. Хотя... — по ее лицу скользнула легкая тень, — Тунис — не та страна, где можно в изобилии покупать красивые и модные вещи. У него были какие-то дела с местными арабами. В Алжире тогда людей убивали тысячами, ну и... сама понимаешь. От Алжира до Туниса рукой подать. Отец держал там специальные рефрижераторы, а в порту стоял большой морозильный траулер. Арабы устроили нам ночной пикник на горе в лесу, на земле, принадлежавшей некогда семейству Ганнибала. Я точно помню, что там росли не только пальмы и эвкалипты, но и кедры. И еще они зажгли какие-то необыкновенные — ароматические — светильники. Ну, естест-

венно, там был весь набор восточных увеселений: танец живота, фокусники, пожиратели стекла и огня, скачки на белых верблюдах. С моря дул ветер, — продолжила мать, — кедровые шумели, пламя в светильниках загибалось по ветру, я уже не могла смотреть на вино, жареное мясо и эти блестящие животы с бриллиантами в пупках. Я все время смотрела наверх. Мне хотелось превратиться в жертвенный дым и уйти в небо. Оно было как из черного мрамора. И звезды светили не как обычно — точно, а вытягивались белыми прожилками по черному мрамору. Я больше нигде не видела такого неба и таких звезд».

Лицо матери, тем не менее, оставалось грустным, как будто она и сейчас продолжала испытывать утомление от не оправдавшего надежд тунисского шопинга, блестящих смуглых животов с бриллиантами в пупках и черного мраморного неба.

«Тогда я впервые поняла, что такое мука исполнения желаний», — нехотя пояснила мать.

«Она же мука́», — в очередной раз изумилась самостоятельности и глубине (самоглубине) русского языка Альбина-Беба.

«Именно так, — согласилась мать. — Мука исполнения желаний перетирает желания в муку, точнее в пыль... В грязную пыль», — уточнила после паузы.

«Что же тебе не понравилось в карфагенском раю?» — спросила Альбина-Беба.

«Мне понравилось все, — ответила мать, — за исключением того, что... некоторые мои желания исполнить было невозможно. Точнее, они не подлежали исполнению в пространстве обыденных человеческих отношений».

«Объясни», — попросила Альбина-Беба, хотя уже смутно понимала, в чем тут дело.

Грязная пыль.

«Дело в том, что все мои желания выполнял твой отец, — задумчиво посмотрела в зеркало мать. — И я была бесконечно благодарна ему за это. Но при этом... больше всего на свете в тот момент... Я бы с радостью отдала за это все подарки... Мне хотелось... изменить ему с цирковым парнем, который поставил себе на голову двенадцать, что ли, горшков. А еще... одновременно... хотелось и с другим. Он так красиво носился в ночи с факелом на белом верблюде. Я понимаю, — вздохнула мать, — мука, она же мука, исполнения желаний заключена в несовершенстве человеческой — женской — натуры. Но в ту сказочную ночь я бесконечно тяготилась тем, что рядом со мной был... всего один мужчина, а именно мой муж».

«Но это твое желание он выполнить не мог?» — спросила Альбина-Беба.

«Наверное, мог, — пожала плечами мать, — но для этого ему надо было перетереть в муку свою волю, свою мужскую сущность. Я тогда не решилась, — вдруг неожиданно весело — по-блядски — улыбнулась она, — подвергнуть его этому испытанию».

«А потом?» — спросила А-Б.

«Потом это уже не имело значения, — пожала плечами мать, — потому что это перестало его волновать. В один прекрасный момент он перегорел, как лампочка. А когда лампочка перегорает, щелкать выключателем бессмысленно».

«Как ты думаешь,— задала Альбина-Беба давно мучающий (перетирающий в муку ее разум) вопрос,— почему счастье невозможно, как ты выражаешься, по определению? Почему гармония в человеческих отношениях изначально недостижима? Почему в саму схему этих отношений встроены тайные звенья, разрывающие эти схемы-цепи в клочья. Неужели,— продолжила она,— ты была бы совершенно счастлива в этом Карфагене, если бы тайно под кедрами тебя отодрали циркач с двенадцатью кувшинами на голове, погонщик белого верблюда и... сам белый верблюд? Неужели счастье одних,— испугалась собственному открытию Альбина-Беба,— в том, чтобы... даже не разрушать, а... предавать, разрушать... само представление о нем у других?»

«Мне кажется, это персональное, штучное чувство,— подумав, ответила мать,— и путь к нему сугубо индивидуален. Потому что в нем — этом чувстве, точнее ощущении, человек реализуется во всей своей полноте. В том, что он знает и чего не знает о себе. О чем может сказать и о чем не скажет никогда. Если же говорить о любовных отношениях, то это как... оргазм,— строго, как учительница, посмотрела на Альбину-Бебу мать.— Хорошо, конечно, когда одновременно, но так не всегда получается, точнее, не получается практически никогда... Хотя, есть такая выручающая вещь, как имитация. Если предаваться ей слишком долго, то она вполне способна заместить реальность. И тогда иллюзия счастья становится полной. Я не знаю, как это объяснить... но когда я слишком долго нахожусь рядом с твоим отцом, у меня почему-то всегда возникают мысли о других мужчинах...

И самое странное, — похоже, эта мысль до сих пор не давала матери покоя, — при этом у меня нет к нему никаких претензий по его мужской, скажем так, части. Это была сказочная поездка, — снова посмотрела в зеркало мать, — но я не была тогда счастлива. Карфаген, который твой отец хотел подарить мне, был разрушен в моей душе... Как, собственно, — заключила после паузы, — и вся наша жизнь».

Если столько неразрешимого — вопиющего — несовершенства заключено в одной лишь нашей семье, подумала Альбина-Беба, что тогда говорить об остальном мире? У него нет шансов. Странно, что он вообще до сих пор существует.

«Карфаген должен быть разрушен», — вспомнила Альбина-Беба хрестоматийную фразу. Она не помнила, кто именно ее произнес. Помнила только, что Карфаген действительно был разрушен.

«Карфаген должен быть восстановлен», — вспомнила она прямо противоположные слова одного отцовского приятеля — бизнесмена — про которого писали, что он обворовал Россию и убил всех своих конкурентов. Этот господин вроде бы находился в розыске, жил в Амстердаме, прокуратура требовала его выдачи, но почему-то периодически и особенно не таясь появлялся в России. И не просто появлялся, но еще и провозглашал тосты за восстановление Карфагена. У него вообще было своеобразное отношение к истории. Америку, по его мнению, следовало вернуть индейцам. Австралию — аборигенам. Он входил в какой-то шутовской комитет по восстановлению Австро-Венгерской монархии, являлся председа-

телем консульского департамента исчезнувших и непризнанных государств, исполнял обязанности почетного консула Манчжоу-Го (было такое государство) и — по совместительству — Тувинской Республики в Российской Федерации, Украины и Грузии. Иногда он предъявлял пограничникам паспорта исчезнувших или непризнанных государств, к примеру, того же Манчжоу-Го, Абхазской Республики, а то и неведомого Усуньского царства и, самое удивительное, беспрепятственно пересекал границы шенгенской зоны. Никто его не задерживал. Видимо, разорять и обворовывать несчастную Россию не считалось в цивилизованном мире большим преступлением. Особенно если при этом человек так отчаянно шутил.

По мнению этого (отец называл его Ося) чудака, Рим победил Карфаген в пространстве, но Карфаген победил Рим во времени. Логика отсроченной победы Карфагена заключалась в том, что единственной реальной силой в мире остались... деньги. Суетливый на вид, но достаточно уверенный в себе Ося направил в ЮНЕСКО проект полного восстановления исторического Карфагена, как главного символа современной цивилизации. Самое удивительное, что ЮНЕСКО отнеслось к этой затее вполне серьезно (Альбина-Беба сама читала в газетах) и будто бы уже насело на власти Туниса, чтобы они, значит, выкупили землю, где некогда располагался Карфаген, очистили ее от вилл поселившихся там миллиардеров и знаменитых артистов вроде Брижит Бардо и Алена Делона и отдали землю под этот проект.

В России Карфаген уже восстановлен, помнится, утверждал, приехав к ним в гости, Ося. Но пока это, так

сказать, невидимый город атмосферных (бабочки, стрекозы, кузнечики и прочие) воздушно-травяных насекомых с миллионами смещающихся центров тяжести, летучим абрисом хаотической архитектуры, ползущим (черви, жуки, мокрицы и медведки) фундаментом. Его следует перелить из воздуха в камень, из атмосферы в вечность, заявил Ося, легко, как эльф, качнувшись от кресла к столу и отпив сухого красного вина.

«В какую еще вечность?» — мрачно отхлебнув тяжелого маслянистого виски с запахом дегтя, поинтересовался отец, которому, как было известно Альбине-Бебе, Ося совершенно не торопился, ссылаясь на происки прокурорских, возвращать немалый кредит.

«В золото, — со смехом ответил Ося, — в этом мире нет ничего более смешного и вечного, нежели золото».

«Оно всем хорошо, — согласился отец, — но у него есть один недостаток — его нельзя есть. Золото, по определению, несъедобно».

Ося посмотрел на отца с тревожным любопытством, как мудрый педагог на неожиданно обнаружившего явный кретинизм, а прежде подающего большие надежды ученика.

«Человек и золото, — тщательно подбирая слова, произнес он, — хоть и сообщающиеся сосуды, но изготовлены из разного материала. Человек, видишь ли, испаряется, как плевков на раскаленной сковородке, а золото существует вечно. Ну а если говорить проще, то не человек питается золотом, а золото человеком. Так устроен мир. Более того, — продолжил после недолгой паузы. — Мне кажется, что золото — это... овеществленная

смерть, постоянно и неотвратно присутствующая в мире константа. Количество золота в мире странным образом соответствует количеству людей и соответственно регулируется посредством смерти. Чем дороже золото, тем дешевле человеческая жизнь. И наоборот, чем дешевле золото, тем дороже жизнь. На этом в принципе стоит мир, но, как водится, никто и не пытается это осмыслить. Сейчас мы вошли в эпоху максимального удорожания золота и, соответственно, предельного удешевления человеческой жизни. Вообще, — покрутил в воздухе пальцами Ося, как будто воздух состоял из невидимых, точнее, видимых только ему нитей, и он завязал одну из них в узелок, — основополагающие вещи в мире почему-то принципиально и изначально непознаваемы. А если и познаваемы, — быстро стрельнул глазами по сторонам, — то... только в режиме сумасшествия. Граница между нормальностью и сумасшествием как раз и проходит строго по линии осмысления этих вещей. Наверное, это и есть основное условие нашего существования... Человека, в сущности, волнуют в этой жизни всего две вещи: золото и смерть. Все мы в большей или меньшей степени всего лишь временные камеры хранения для... тех или иных — реальных или относительных — объемов золота... — Ося вдруг как-то странно уставился на Альбину-Бебу. Не столько даже на Альбину-Бебу, сколько на ее бедра и ноги, туго обтянутые джинсами. Ей даже показалось, что нижняя часть ее тела как бы зажила отдельной от нее жизнью, как-то подобралась, напружинилась, бесстыдно захотела одновременно повернуться к Осе передом и задом. — Первую свою тысячу еще теми —

красными с Лениным — дензнаками, — повернулся Ося к отцу, — я, кстати, сделал на джинсах. Если бы мне сказали, что через сорок лет в этих самых джинсах в России будут ходить не только прекрасные девушки, — одобрительно улыбнулся Альбине-Бебе, — но и — поголовно — все нищие и бездомные, я бы не поверил... Точнее, я бы оскорбился. Как быстро, а главное, интересно меняется мир», — вздохнул Ося.

Альбина-Беба сама не знала, зачем сейчас вспоминает беглого бизнесмена Осю, который приезжал в Россию как домой, хотя и был объявлен прокуратурой в розыск. Воистину, Карфаген, который в свое время был разрушен и который Ося предлагал восстановить, являлся странным и бесконечным вместилищем смыслов.

Отец, однако, тогда не поспешил поднять свой стакан с тяжелым маслянистым, с истаявающим льдом виски за восстановление Карфагена, на развалинах которого побывал, сделав свой первый миллион.

А Ося напряженно ждал, видимо, придавая происходящему выходящее за рамки происходящего значение. Как будто от того, выпьет или нет отец за восстановление Карфагена, зависело больше, нежели выпьет или нет отец за восстановление Карфагена.

«В принципе, я не имею ничего против Карфагена, — разъяснил свою позицию отец, — но мне не нравятся некоторые вещи, которыми занимались эти парни».

«Какие именно?» — немедленно уточнил Ося.

«Мне не нравится, что они сжигали живьем детей, принося их в жертву своим богам, — сказал отец, — и еще мне не нравится, что великий их полководец Ганни-

бал понуждал свою армию питаться человеческим мясом, самолично показывая пример».

«Но ведь это было в высшей степени практично, — возразил Ося, — использовать одну, так сказать, израсходованную плоть для поддержания и укрепления другой, которую еще только предстояло израсходовать. Зачем пропадать свежему, а главное, пригодному в пищу мясу? Что же касается детей, то...» — вдруг замолчал он, вперившись в отца немигающим змеиным каким-то взглядом.

«Что?» — дрогнувшим (или это только показалось Альбине-Бебе?) голосом уточнил отец.

«Да так, ничего, — рассмеялся Ося. — Знаешь, что мне нравится в твоём бизнесе? Гармония. Ты, как Леонардо да Винчи в центр мироздания, поместил в центр своего бизнеса человека, причем одновременно во всех его ипостасях: социальной, финансовой, духовной и... телесной, в смысле мясной. В сущности, — подмигнул отцу, — ты продолжил и развил дело этих парней из Карфагена. Ты уже восстановил Карфаген на отдельно взятой территории своего бизнеса. Знаешь, я тебе завидую... — вздохнул Ося. — Ты опередил не только меня, но всех нас, всю так называемую российскую финансовую элиту. Мы доживаем во взвешенном, исчисленном и приговоренном мире старой стоимости. Ты ушел за горизонт в мир новой стоимости. В нашем традиционном бизнесе — золото это смерть. В твоём — новаторском — жизнь. Ты вернул золоту его Божественную сущность. Можно сказать, приняв на себя функции Бога».

«За такой тост, — заметил отец, — надо наливать в бокал не вино, а... кровь и закусывать, — оглядел

стол, — не редиской или икоркой, а... чем закусывал Ганнибал со своими солдатами».

«Я знаю, что тебя мучает, — вдруг поднялся из-за стола, засобиравшись Ося. Казалось, он уже забыл про Карфаген и вообще потерял всякий интерес к происходящему. — Очевидное отсутствие, точнее, непонимание мотивации собственных действий. Сладостное и гибельное ощущение, что, повелевая, ты — раб, исполнитель неведомой воли. Не бери в голову. А главное, не сопротивляйся. Рано или поздно все узнаешь. Это записано в условиях игры».

«На крышке гроба», — усмехнулся отец.

«Нам ли с тобой, — обернулся Ося, — бояться гроба? В сущности, мы... давно в гробу. Кстати, — подмигнул отцу (но может, то был всего лишь нервный тик), — когда смотришь на жизнь под углом гроба, она... представит не столь печальной, хотя и не сказать, чтобы слишком веселой».

«Это точно, — не стал спорить отец. — Тем более что... — дождался, когда широченный, как сейфовая дверь, охранник прикрыл за Осей точно такую же, ведущую наружу дверь, — это очень просторный, а главное, имеющий тенденцию к расширению угол... — вернулся за стол, наполнил стакан виски. — Знаешь, — обратился вдруг к Альбине-Бебе, видимо, потому, что при всем желании больше обратиться было не к кому — ни единой души, кроме них, не осталось в комнате, — что такое кризис середины жизни?»

«Пока нет», — ответила она.

«Ну да, — сказал отец, — зато ты знаешь, что такое кризис начала жизни. В принципе, они похожи. Когда

мне было семнадцать, то есть примерно столько, сколько тебе сейчас, я чуть не застрелился. Что-то меня тогда остановило... — сделал вид, что вспоминает отца. — В сущности, смешная вещь. Мне все было ясно, за исключением единственного: обманывает меня или нет моя тогдашняя девчонка? Я уже принял решение, позвонил ей, чтобы в последний раз поговорить, услышать ее голос, но ее мать сказала: что случилось, вы разве с ней не в кино? Я ответил, что да, конечно, мы в кино, скоро она будет дома. Это должно было стать последней каплей, — задумчиво посмотрел на опустевший стакан отца, — но почему-то стало зацепкой, точкой, где я затормозил».

«Ну и что ты выяснил?» — полубобытствовала Альбина-Беба, которая в общем-то знала ответ.

«Конечно же, она меня обманывала, — ответил отец. — Она встречалась не только со мной, но и с одним пареньком из лесного техникума. А может, и не с одним. Но тогда я ей поверил. Мы пошли в парк, выпили портвейна, уединились в беседке. Жизнь постепенно наладилась. Тогда я понял, что, собственно, не столь уж важно, обманывает она меня или нет. А потом я понял, что, собственно, жизнь — это ложь умноженная на ложь. До определенного момента умножение лжи утяжеляет жизнь, делает ее непереносимой. Но потом приходит момент прояснения, и ложь предстает легкой и несущественной, как... и сама жизнь. Кто понял жизнь, — добавил в стакан виски отец, — тот не боится лжи. Точнее, не видит принципиальной разницы между ней и так называемой правдой».

«А к середине жизни ты осознал, что жизнь — это ложь умноженная на деньги?» — предположила Альбина-Беба. — В этом заключается кризис середины жизни?»

«Нет, всего лишь четко, как говорится, безвариантно осознал, что остался один на один... с чем? С чем-то. А вокруг — развалины того, что прежде имело смысл. Главное же, — тихо произнес отец, — я... ясно вижу причинно-следственные связи того, с чем остался один на один. Это не жизнь, — поморщился он, — точнее, это одновременно больше и меньше, чем жизнь. Это как бы жизнь плюс смерть. Я даже придумал термин — «то, что осталось». Так вот, в том, что осталось, меня, в сущности, нет. То есть физически я, может, и есть, но... меня все равно нет. Вот что такое кризис середины жизни. Это когда смерть в тебе пересиливает жизнь. Он начинается в момент, когда число смерти перешагивает в тебе число жизни, когда ты на сорок девять процентов состоишь из жизни, но уже на пятьдесят один из смерти. Наверное, это и есть взгляд на жизнь под углом гроба, — как только что ему самому Ося, отец подмигнул Альбине-Бебе. — Сегодня вообще странный день, — рассеянно повертел в руках стакан. Он пил виски с такой жадностью, словно это был эликсир жизни, заставляющий отступать (уменьшаться) число смерти. Но в действительности (прав был практик-нарколог) алкоголь всего лишь реанимировал (орошал спиртом) «заархивированные» в сознании эмоции, убивая при этом оставшиеся живые клетки. Ожившие воспоминания, как воспрянувшие окаменевшие динозавры, топтали несчастное сознание, превращая его в драный занавес, скрывающий... что? А ничего. Стан-

дартный набор переживаний заурядной среднестатистической жизни. Сквозь продранный алкоголем занавес задувал ветер безумия. Альбина-Беба искренне жалела отца, пытавшегося понять и сформулировать то, что нельзя было понять и сформулировать, а именно — неостановимое движение всего живого к смерти. Истекающее число жизни в нем не желало примириться с формулой «время — это смерть». — Утром мне позвонил человек, с которым я не общался лет... десять. Он спросил, не хочу ли я купить у него... коня?»

«Коня?» — удивилась Альбина-Беба.

«Коня, — мрачно подтвердил отец. — Знаешь, я заметил некую странную взаимосвязь между состоянием моего духа и окружающим миром. Когда я слаб, подавлен и неуверен в себе, мне звонят, моего общества ищут разного рода неудачники, алкаши, идиоты, дотла разорившиеся бизнесмены. Один мне позвонил прямо... из сумасшедшего дома. Он сильно задолжал, и у него взорвали жену с двумя детьми. Скорее всего, по ошибке. Кто знал, что он утром поругается с женой, та схватит детей и бросится в машину, которую заминировали с ночи, чтобы она взорвалась прямо под их окнами в семь утра? Он свихнулся, но... долг не вернул», — отец замолчал. Похоже, в давно случившемся этом событии ему вдруг открылось нечто новое.

Уж не тебе ли тот несчастный задолжал, подумала Альбина-Беба.

«Этот малый, — тем временем продолжил отец, — был моим клиентом, жил с пересаженным сердцем. Так вот, однажды он вдруг заявил мне, что я пересадил ему не

донорское — человеческое, — а сердце... свиньи. Пока я думал, что ему ответить, он сказал, что, в общем-то, не обижается на меня, потому что свинья — это самое близкое и родное человеку животное. Хочешь, спросил он, я открою тебе главную тайну бытия. Я не возражал. Все, сказал он, абсолютно все в этом мире достается свиньям. Ты сделал меня этим избранным. Я буду благодарен тебе до самой смерти».

«И больше ничего не сказал?» — уточнила Альбина-Беба.

«Дико проревел: “Свиное сердце бьется ровно!” — и отключился. А когда я бодр, деятелен, полон сил, — продолжил отец, — мне, наоборот, звонят очень достойные, энергичные, а главное, успешные люди, предлагают интересные проекты, дают хорошие советы. То есть связь очевидна. Но при чем тут... конь? И при чем тут... свиное сердце?»

«Хочешь, скажу при чем?» — уселась за стол Альбина-Беба, храбро налила себе в фужер красного вина.

Отец молчал.

Альбина-Беба решила, что он хочет.

«Но сначала ответь, — пригубила вино, — осталось в жизни что-то такое, что бы ты хотел сделать? К чему ты стремишься, что волнует тебя сильнее, чем сама жизнь?»

Отец запаздывал с ответом, и Альбина-Беба засомневалась в своих провидческих способностях.

«Конь — это круг, который ты сам вокруг себя очертил, — сказала она, — а свиное сердце — средоточие этого круга, его, так сказать, внутреннее содержание. Ес-

ли у тебя не осталось в жизни цели, тебе надо выйти из круга. Я не знаю, будет лучше или хуже, но, по крайней мере, скучно точно не будет».

Отец по-прежнему молчал.

Альбина-Беба вдруг догадалась, что он... заснул, как самый последний алкаш.

«Но возможно и другое объяснение, — сказала она, — только оно касается уже нас обоих. Ты уже никогда не вскочишь в седло. А мне не следует метать бисер перед... свиньей».

«Я бы вышел из этого круга, — вдруг совершенно трезвым (в пьяном сне?) голосом произнес отец, — но что-то меня там держит. И это сильнее моей воли».

Альбина-Беба помогла ему перебраться на диван и вышла из комнаты. Почему-то она думала о каких-то глупостях, а именно о том, что сны снятся как трезвым, так и пьяным. Но никогда (не важно, трезвым или нет заснул) человеку не снится, что он пьян. Это еще раз наглядно подтверждало мысль об изначальном (воинственном, а может, военизированном?) несовершенстве человека. В реальной жизни, где ему было необходимо быть трезвым, как стекло, он зачастую был пьян, как... стекло. Ведь именно из фигурного или граненого, простого или хрустального, светлого или темного стекла — рюмки, фужера, бокала, стакана, бутылки и так далее — был человек. Стекло, таким образом, было самым что ни на есть пособником (посредником) в пьянстве. Откуда же взялось — трезв как стекло? Воистину, язык как хотел, так и издевался над человеком, что в очередной раз свидетельствовало о его (языка, а не человека!) Божест-

венном происхождении. Во сне же, где не было никакой необходимости быть трезвым, где человек мог быть каким угодно, он был всегда трезв.

Впрочем, странно трезв.

Сон, похоже, был особой разновидностью опьянения — не сознания, но подсознания. Стало быть, самое глубинное — глухое, барокамерное — опьянение происходило именно во сне. Свершив понятийный круг, словосочетание «трезв как стекло» поднялось (опустилось?) на новый уровень. Стекло было всего лишь мерилom обычного (сознания) опьянения. Сны (опьянение подсознания) уподобить было нечему. Божественный язык на сей счет немотствовал, ибо не человеческого ума это было дело. Там, где заканчивалась территория языка, начиналась территория смерти.

27

Похоже, сомнительные шансы уйти от изначального несовершенства у человека появлялись, только когда он размыкал круг, выламывался из форм, пробивал головой стену, прорывался в запретный мир силы, входил в состояние третьего (для его обозначения термин тоже отсутствовал) опьянения. То было опьянение познанием, иллюзорным приближением, прикосновением к управляющим миром механизмам. Грубо говоря, каждый, кто приближался к Господу (как одному из символов управляющей миром силы), был безнадежно (третьей разновидностью

опьянения) пьян, как если бы сами края белоснежных его одежд были пропитаны... конечно же, не банальным спиртом, но неким величественным надмирным вином.

Альбина-Беба, помнится, поделилась этими своими мыслями с молодым философом Димитрием Лекаловым-Сонновым.

Кажется, они лежали на диване в закатной квартире на Юго-Западе, но, может, сидели за чаем на кухне или прогуливались с коляской по проспекту Вернадского.

В последнее время жизнь Альбины-Бебы сделалась плотной и насыщенной, как генерирующий внутри себя кристаллы соляной раствор. И точно такими же, как соляные кристаллы — твердыми, острыми, но и отчасти целительными, сделались и ее мысли. Соль была радикальным антисептиком. Убивая вредные бактерии, она разъедала до костей ткани, то есть стремилась к революционной ликвидации самой причины болезни. Зарождаясь в растворе (новом, до предела уплотненном, бытии Альбины-Бебы), мысли пронизывали (пронзали?) жизнь, как кристаллы. Невидимый соляной скелет ее воли отныне скреплял аморфное тело ее жизни. Жизнь подтягивала живот, сгоняла жир, накачивала мышцы. А-Б становилась жилистой и выносливой, как бегунья на... сверхдлинные и одновременно сразу во все стороны дистанции.

Альбине-Бебе казалось, что в странном своем беге она вышла на финишную прямую к... Господу, который ожидает ее на излете стадиона не с секундомером, но с каким-то другим, показывающим что-то одному Ему понятное, прибором. И опять-таки не существовало в человеческом языке термина для обозначения этого прибо-

ра, ибо человек им не пользовался, но, напротив, сам служил объектом его всеобъемлющего измерения — сразу по всем мыслимым и немыслимым параметрам, во все стороны и по всем направлениям непутевой своей жизни.

Теперь Альбина-Беба сама не знала — в настоящем, прошлом или будущем живет? И о чем-то конкретном думает или обо всем сразу? Иногда ей даже являлась кощунственная мысль, что ее — Альбины-Бебы — сознание некоторым образом взаимодействует с панорамным и всеобъемлющим, как звездное небо — вселенским — мышлением Господа.

Какие-то фрагменты бытия вываливались из времени, как мелочь из дырявого кармана, а какие-то, напротив, как эти же самые соляные кристаллы пробивали ограничивающие их рост стекло (опять стекло!), ветвисто разворачивались уже не в растворе, но в воздухе. Как если сам воздух превращался в соль. Как если бы (не мелочь, но крупные купюры!) обрели в глухой соляной карманной тьме способность к размножению.

Молодой философ Дмитрий Лекалов-Соннов ответил, что проблема стара как мир и, вероятно, даже старше. Речь идет о человеческой сущности, пояснил Дмитрий, точнее о том, что умозрительная готовность ее изменить отнюдь не означает того, что она действительно может измениться. Именно на этом, сказал Дмитрий, сломался великий Ницше. Чем сильнее и безнадежнее твое внутреннее одиночество, тем слаще и милее миру твои горестные мысли. Ты хочешь выйти из очерченного круга, проломить головой стену, продолжил Лекалов-Соннов, но, в сущности, проблема линейна: ты хочешь

выйти из жизни в смерть, но при этом каким-то образом остаться в жизни. Так проявляется неразрешимое противоречие между сознанием, свободно оперирующим такой категорией, как бессмертие, и стопроцентно смертным — стареющим, заживо гниющим — телом. Тело упрямо грезит о бессмертии. Сознание, напротив, тяготится своим неподтвержденным бессмертием, пытается капитулировать в смерть. В результате мы имеем коктейль не Молотова, блеснул глазами Димитрий, и даже не Ницше, но... (скромно потупился) Лекалова-Соннова. Коктейль, в осадке которого вечное непохвальное стремление человека обменять недоказанное бессмертие души на невозможное бессмертие тела.

Значит, опять спираль, подумала Альбина-Беба, опять неразрешимое противоречие, выход в плоскость, где понятия, как клоуны за кулисами, мгновенно меняются костюмами (сущностями). Ей показалось, что она наконец-то поняла, посредством какой технологии управляет миром склонная к утрюмому юмору сила. Посредством непрерывного, как бесконечность, обмена сущностями между понятиями. Торможение, подумала Альбина-Беба, единственная возможность не пропасть (аннигилироваться) внутри полета среди бесчисленных, меняющихся, как в калейдоскопе, сущностей, — это торможение. Собственно, Он, подумала об Иисусе Христе Альбина-Беба, и пытался притормозить, подсунуть под скользящий вниз по рельсам греха вагон человеческой цивилизации тормозной башмак реальной веры. А что вышло?

А-Б вдруг поняла, что торможение (во спасение и сохранение), посреди избранных (назначенных эталонны-

ми) сущностей, в принципе, невозможно, потому что оно противоречит природе управляющей миром силы. Значит, подумала Альбина-Беба, единственно возможный путь — торможение отдельно взятой личности, допустим меня, в условной системе координат, которую признаю одна лишь я, а остальным на нее плевать. Только сколько я продержусь? И кому какое дело до этих моих телодвижений в пустоте?

«Человеческая сущность — это единственно существующая жизнь, вне ее жизни как таковой нет, — между тем продолжал, косвенно подтверждая правоту Альбины-Бебы, Дмитрий. Все остальное — за кругом — смерть. Таким образом, обмен души на тело, есть, в сущности, не что иное, как обмен жизни на смерть. — Самое же страшное, вздохнул Дмитрий, — для человека во все времена — признать очевидное. Потому что очевидное — это предельно простое. Признать это, означает смирить гордыню разума, то есть победить внутри себя богоборца и падшего ангела, ибо бесконечное умножение сущностей, не лимитированный полет мысли — это путь... туда». — Палец Дмитрия вычертил в воздухе сложную, напоминающую восьмерку, геометрическую фигуру, как бы заключившую в одну плоскость низ и верх, право и лево.

Боже мой, невольно вздрогнула Альбина-Беба, неужели и здесь... обмен сущностями? Впрочем, ее изумила не столько сама кощунственность этого предположения, сколько то, что, вероятно, и это не являлось пределом. Обмен сущностями не мог не продолжаться и после этого — невозможного — обмена. Самое удиви-

тельное (и об этом успела подумать Альбина-Беба), что все это было самым натуральным образом предсказано и разъяснено в Священном Писании. Конец света — и был наивысшей (если здесь уместно это определение) точкой обмена сущностями. Технология процесса была подробнейшим образом разъяснена. Все должно было свершиться через, так сказать, переходную (смещенную) сущность — в смысле, через Антихриста.

Тайна мира, таким образом, заключалась в отсутствии тайны. Мир вступил в эпоху подготовительных переходных сущностей. Краеугольные камни обнаруживали свойства воска. Незыблемые символы веры — легкость тополиного пуха. Киты, на которых стоял мир, уподобились тонущим подводным лодкам. А что, если, в очередной раз не удержалась в очередной системе координат Альбина-Беба, сам мир и есть переходная сущность? В том смысле, что это единственно возможная форма его существования?

«Вся история человеческой мысли, — между тем продолжал Дмитрий, — есть попытка убежать за горизонт простого, нежелание признать очевидное, что за гранью жизни жизни нет. Следовательно, нечего там искать. Надо использовать, и по возможности как можно лучше и эффективнее, то, что есть. То есть открывать в конечном малом — жизни — бесконечно доброе и хорошее — любовь к ближнему. Но люди не хотят. Фрейд выводил концепцию мироздания из либидо. Маркс — из присвоения прибавочной стоимости. Ницше — из воли человека к власти. Я — из вечного стремления человека узнать, что после смерти, так сказать, воли к бессмертию, воли

к обмену божественной сущности на... запредельное, если угодно, Божественное же знание того, что знать не дано. Твои мысли, — рассмеялся Лекалов-Соннов, — подтверждают правильность моей теории. Кстати, — заметил как бы невзначай, — люди отправляются на ловлю сирен не только потому, что те могут исполнить желания, но и потому, что могут ответить на любой вопрос, в том числе и на... — понизил голос, — этот. Я уверен, — добавил задумчиво, — что существуют ответы на все без исключения вопросы. Более того, существуют люди, которые знают эти ответы и книги, где все изложено черным по белому. Вот только эти ответы почему-то не становятся общим достоянием. Их как будто не существует. Какой-то тут стоит ограничитель».

Альбина-Беба подумала, что знает, что это за ограничитель. Это был ограничитель по переводу многомерных вопросов бытия в линейные — жизни и смерти. Мир тяготился двумя этими полюсами. Более того, определенно стремился соскользнуть с их силовых орбит в несуществующие, а потому незаконные сферы. И невозможно было этот процесс остановить, потому что он не противоречил природе человека, а, напротив, доводил ее до некоего логического абсолюта, того самого гениального тупика, из которого нельзя было выйти, в котором можно было только навеки остаться.

Что, собственно, и происходило.

Каждый человек, подумала Альбина-Беба, если он не полный идиот, твердо и окончательно знает, что обязательно умрет, повторит путь миллиардов. Но при этом почему-то надеется, что именно для него будет сделано

исключение. Хотя (человек не может этого не знать) исключение невозможно. Но человек не хочет с этим смириться, живет внутренне непокоренным, шизофренически ощущая себя бессмертным. Мир стоит на единственном — виртуальном — ките, подумала Альбина-Беба, на необъяснимой уверенности человека, что исключение из правил возможно, что в отношении именно его, единственного и неповторимого, смерти нет. Она подумала, что, собственно, в этом заключается вторая тайна мира. Все остальное — туфта.

— Хорошо, — сказала она молодому философу Димитрию Лекалову-Соннову, — я поеду с вами на озеро Жеребец ловить несуществующих сирен. Надо только договориться с Ильябоей, чтобы она побыла с ребенком, пока нас не будет.

— С Ильябоей? — растерянно переспросил Димитрий. — А больше ни с кем нельзя договориться?

А-Б давно заметила, что некая необъяснимая тоска охватывала ее друзей, когда речь заходила об Ильябое, кстати, дивно похорошевшей после выхода из больницы. Как будто утраченный голос неведомым образом конвертировался в красоту. А-Б не без ревности наблюдала за тем, как ее подруга приближалась к совершенству, сокращала разделяющее их на этой дистанции пространство. Зачастившая к ним Ильябоя бралась на спор доказать (продемонстрировать), что сумеет (без помощи рук) удержать между грудями наполненный шампанским фужер, такую упругость и плотность приобрели ее груди. А еще она гордилась своими ягодицами, которые, конечно, не шли в сравнение с ягодицами А-Б, но в принципе

тоже смотрелись неплохо. Помнится, однажды не вполне трезвый Хвостов даже сравнил их с дрожащими каплями воды, сбегаящими, но при этом остающимися на месте, по стеклу. В иные моменты нескончаемого бенефиса Ильябои А-Б начинала сомневаться в необходимости сохранения собственного голоса. Красота молчалива и бессловесна, думала А-Б, потому что она сама голос. Весь мир оглох бы от моей красоты, если бы я лишилась голоса. Она не понимала, почему ее друзья теряются и робеют в присутствии Ильябои и, как водится, подозревала худшее, а именно измену, точнее, предстоящую измену, что, как известно, беспокоит и мучает сильнее, нежели измена состоявшаяся и доказанная. Отслеживать предстоящую измену все равно что сторожить ветер. Но многие люди тем не менее регулярно становятся на эту бессмысленную вахту.

— Вы хотите, чтобы она поехала с нами? — угрюмо поинтересовалась А-Б.

— Ни в коем случае! — взмахнул руками Лекалов-Соннов. — Ведь мы хотим спросить у сирен про вечную жизнь. Без этого невозможно принять окончательное решение.

— Неужели, — удивилась А-Б, — Ильябоя может как-то этому помешать?

— Она перевернет лодку, и сирены утащат нас на дно, — громко и неестественно, как заштатный трагический актер, прошептал Лекалов-Соннов. — И потом... она не может разговаривать. Вряд ли сирены станут читать, что она там пишет на экране компьютера. Не думаю, что они владеют языком глухонемых. Степень их образованности неизвестна. Одни считают, что они не знают грамо-

ты, другие — что IQ сирен выше, чем у среднестатистического российского академика.

— А на каком языке они говорят? — спросила А-Б.

— В Тверской области они обязаны говорить на русском, — убежденно ответил Лекалов-Соннов. — Хотя, если озеро носит название Жеребец, они там могут и... ржать, как кобылы.

Альбина-Беба подумала, что предстоящая ловля сирен основательно вошла в ее жизнь. Она довлела над ней, примерно так же, как некогда предстоящая потеря девственности. То была инерция будущего, которая перекраивала под себя настоящее. А-Б поняла, что ей не пересилить убойную последовательность жизни, что, пожалуй, разнонаправленная инерция — это и есть ее (какой уже по счету?) основной закон. Все же прочие (основные) законы — смехотворные колебания воздуха внутри инерции, причем колебания затухающие.

А-Б никогда не думала о том, что девственность следует хранить вечно.

Старики и старухи не думали о бессмертии.

Похоже, по мере старения, болезней и прочих неизбежных следствий возраста, человека оставляла надежда. Он проходил через некую точку обезволивания и одновременно обезболивания. Пройдя ее, человек превращался либо в биологический (дотягивающий отпущенный срок) балласт, либо в принимающего правила игры мудреца. Одно от другого, впрочем, не сильно отличалось.

Следовательно, в необоримости инерции, в приведении всех и вся к двуединому знаменателю заключалась разгадка тайны жизни. Все было просто, как дважды два.

Но это не меняло, точнее, не отменяло дела, которое каждый человек должен был проделать в одиночку.

Альбина-Беба подумала, что преодолела притяжение универсального знаменателя, набрала внутри инерции скорость, в принципе отменяющую эту самую инерцию, переводящую ее в состояние невесомости. Все отныне было у нее не как у людей: спасенный от голодной смерти, подобранный в бомжатнике ребенок; тройственная семья; наконец, загадочное предстоящее мероприятие под кодовым названием «ловля сирен». Альбина-Беба ощущала, что находится на правильном (гибельном) пути.

Правильность (гибельность) пути определялась (подтверждалась) критической массой проблем, принципиально нерешаемых, но составляющих на данный момент суть ее жизни.

Ясно было, что долго утаивать Карабаша от всевидящего ока государства не удастся. Где справка из роддома? Где заявление в милицию? В лучшем случае у нее его просто отнимут. В худшем — ее еще и посадят, обвинят в похищении, а то и в терроризме. Не обещала долгой жизни и тройственная семья. Она уже сейчас трещала под напором онемевшей, но резко похорошевшей Ильябон. Утратив голос, Ильябоя отнюдь не утратила, как она однажды написала светящимися буквами на экране дисплея: «воли к соитию».

А-Б попыталась объяснить подруге, что воля к соитию — это якорь, который можно бросить в любом квадрате мирового океана. Она не понимала, почему этот якорь должен нарушить покой именно в ее тесной и тихой заводи. Но Ильябоя не внимала, коршуном кружила во-

круг тройственной семьи, определенно собираясь войти (влететь, упасть?) в нее четвертым, не считая Карабаша, членом (хотя это был не вполне точный, точнее, противоположный точному термин). Зато А-Б совершенно точно знала, что их семья (любовная лодка) не выдержит еще одного пассажира, пойдет камнем ко дну. Отчасти поэтому она и отправлялась на ловлю сирен, которые, если верить Лекалову-Соннову и Хвостову, после поимки вынужденно обменивали свободу на истину, а иногда и на исполнение желаний. А-Б знала, что она попросит у сирены, если, конечно, поймает ее.

...Ильябоя разработала что-то вроде собственного письма. Теперь Альбина-Беба представляла себе структуру иероглифов, клинописи и прочей древней письменности. Письменность Ильябои была из этого ряда. Слова на экране дисплея чередовались у нее с рисунками и пиктограммами. Альбину-Бебу, к примеру, она изображала в виде какого-то странного вертикального глаза в ресницах, подозрительно напоминающего... влагалище. Себя — в виде большой и круглой одинокой груди, которую можно было принять и за ягодицу.

Изобразив на экране в очередной раз похабный глаз, то есть дав понять Альбине-Бебе, что она к ней обращается, Ильябоя продолжила: «Зачем тебе сразу два...» Представителей противоположного пола Ильябоя изображала исключительно в виде... членов, причем отнюдь не пребывающих в спокойном (умиротворенном) состоянии.

Альбине-Бебе не понравился вопрос и еще больше не понравился похабный блеск в глазах Ильябои. Она поня-

ла, что конец трояственной семьи — всего лишь дело времени.

А времени у сделавшейся в одночасье известной и богатой Ильябой отныне было выше крыши. Большинство проектов вели принятые на работу молодые дизайнеры, а Ильябоа только наводила на интерьеры смерти глянец рукою мастера. Среди молодых дизайнеров наличествовали симпатичные парни, и А-Б рекомендовала Ильябое обратить на них внимание, опустить свой якорь в служебный, так сказать, водоем. Но та указала две препятствующие этому причины. Во-первых, они все... Ильябоа изобразила на экране два скрещенных, как мечи, члена. Из чего следовало, что молодые дизайнеры придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации. Во-вторых, добавила буквами, — с кем спишь, того потом не уволить.

После неудачного самоубийства немая, приблизившаяся к совершенству Ильябоа истекала страстью, точнее похотью, как река избыточной водой. Она ходила новой походкой, развернув бедра, как открытую книгу. А-Б подумала, что в этой книге слишком много страниц. Страницы шелестели на ветру. Мужчины разного возраста и разного достатка оглядывались на Ильябоу. А-Б сама была свидетельницей, как утративший человеческое обличье бомж, захрипев, протянул к Ильябое страшные черные руки. Та в ответ похлопала его по плечу рукой в серебристой перчатке. Замычав от счастья, бомж (дело происходило в подземном переходе) откинулся на картонки и драные полиэтиленовые пакеты. Спустя некоторое время (уже без Ильябои) А-Б вновь оказалась

в этом переходе. Бомж по-прежнему лежал, откинувшись, со счастливой улыбкой на лице. А-Б, помнится, усомнилась, да жив ли он?

Не обещала хорошего и запланированная ловля сирен. Альбина-Беба поняла это, когда увидела, какие зверские — кирзовые с шипами — рукавицы укладывали в рюкзак Дмитрий и Виталий.

«Вообще-то, — неискренне разъяснил ее недоумение Дмитрий, — эти сирены совершенно безобидны, вот только зубки у них...»

«А голоса...» — подмигнул Виталий, показав омерзительного — телесного — цвета огромные силиконовые беруши.

Альбина-Беба не представляла, как они могут поместиться в человеческих ушах. Там не было столько места.

«Как у Ильябои, если бы она заговорила», — закончил Дмитрий.

«Неужели, — Альбина-Беба почувствовала, что по щекам у нее текут горячие слезы, — вы хотите... принести меня в жертву этим... чудовищам?»

«Нет-нет! Что ты! Как ты могла такое подумать?» — заволновался Виталий.

Альбина-Беба поняла, что жертвоприношение в их планы (пока) не входит.

«Просто... Ну... Сирен можно ловить только... так сказать, командой. Обязательно должно быть три человека. Можно — двум мужчинам и женщине, можно — двум женщинам и мужчине. Но обязательно... чтобы они состояли в близких отношениях. Иначе сирены не ловятся».

«Почему?» — удивилась странным капризам сирен Альбина-Беба.

«Наверное, им неинтересно, — пожал плечами Виталий. — Они, видишь ли, тоже считают, что гладь их озера — сцена, а мы, так сказать, заезжий цирк».

«То есть они могут и не приобрести билеты?» — спросила Альбина-Беба.

«Или забросать тухлыми лягушками», — сказал Виталий.

«Эй, а куда ты убрал шлемы?» — вдруг вспомнил Димитрий.

Боже мой, еще и шлемы, ужаснулась Альбина-Беба. Она подумала, что, должно быть, следующим после ловли сирен мероприятием ее друзей будет сошествие в ад в снаряжении пожарников.

Альбина-Беба отдавала себе отчет, что у составляющих суть ее жизни проблем нет решения. Но, с другой стороны, она понимала, что рано или поздно так или иначе, с участием одних, других, а то и вовсе без участия людей эти проблемы сами собой разрешатся.

Склонная к утрюмому юмору, повелевающая миром сила, вдруг предстала перед Альбиной-Бебой в образе глубочайшего (всезнающего, если подобное определение уместно) покоя. Альбине-Бебе показалось, что она наконец-то ухватила за хвост знаменитую, принимаемую одними за истину, а другими за волю (не к соитию), синюю птицу. Жить следовало, не только разбивая все существующие на свете формы, но и при этом победительно плюя на этот самый свет, пусть даже он представлял из себя сплошные осколки.

Странно, но попытки вырваться за утвержденные (во времени и пространстве) нормативы, разбить их к чертовой матери, харкнув при этом в белый свет как в копеечку, время от времени предпринимали самые разные люди.

И делали они это каждый по-своему.

Отец конвертировал жизнь в деньги. При этом он имел дело с одними, внезапно разбитыми (судьбой?) телами, осколки (части) которых помещал в другие, опять же разбитые (тоже судьбой), но, в силу наличия денег, претендующие на некую коррекцию судьбы, то есть на продление существования тела.

Какие-то тут выстраивались новые судебные (в смысле «судьбы», а не «суда») линии и рисунки.

Полный сил и здоровья мотоциклист разбивался на смерть, чтобы его печень переместилась в изношенное, едва дышащее тело какого-нибудь банкира. Юная девушка принимала смертельную дозу транквилизаторов, чтобы ее свежее сердце забилося в сморщенной, как у вара, груди нефтяного шейха.

Альбина-Беба подозревала, что непросты и несчастны эти линии, продлевающие посредством (больших) денег одни жизни и сокращающие опять же посредством (не столь больших) денег жизни другие. Ибо мир Божий был устроен таким образом, что не было в нем ничего дороже человеческой жизни и — одновременно — ничего дешевле человеческой жизни.

Затемненным (где не востребованно хранятся вещи, изрядно — в случае извлечения — осложняющие жизнь) сегментом сознания Альбина-Беба понимала, что отец обречен, что в сущности его жизнь уже сейчас — это

жизнь не принадлежащего самому себе человека, а жизнь мертвеца, временно оставленного в живых. Но точно так же она понимала, что существование отца подчинено какой-то (не им определенной) цели. Эта цель размещалась за его спиной как сложная система зеркал, ослепляя или сообщая ложное (величественное) видение всем, кто в данный момент на него смотрел. Чем-то отец напоминал жреца древнего божества, которое через него общалось с миром. Личность отца была как прессом расплющена (до толщины купюры) деньгами. Как льдинка растворенная в стакане с виски. Как еще живое, но отвергнутое в качестве донорского сердца, судорожно билась в мясных лохмотьях послеоперационных отходов.

Мать конвертировала любовь отца в безумие. Спала с охранниками, пьянствовала, бессмысленно тратила огромные деньги, теряла подаренные бриллианты, плевать хотела на элементарные приличия. Таким образом, она тоже плевала в белый свет, жила в режиме самоуничтожения. И (тем же самым затемненным сегментом сознания, где до поры «заархивировано» знание о будущем) Альбина-Беба, в принципе, оправдывала ее, потому что во что еще, собственно, могла конвертироваться любовь расплющенного до толщины (тонщины?) денежной купюры, растворенного в виски, вырывающего сердца и — неизбежно — самого уподобившегося вырванному сердцу человека?

Уродство, вдруг подумала Альбина-Беба, не любит ходить в одиночку. Оно распространяется вширь, пока кто-то (что-то) не положит ему предел. Если бы мать любила отца, подумала Альбина-Беба, она (теоретичес-

ки) могла бы вытащить его из мясной ямы. Она же вместо этого предпочла сама сгнить в (другой) яме. Хотя и по отдельному, скажем так, сценарию. А может, все не так, подумала Альбина-Беба. Мать разделила его судьбу в гибели. Может, это и есть настоящая — высшая — любовь? Может быть, истинная любовь не в том, чтобы навязывать человеку свои представления о благе, а чтобы пройти вместе с ним его скорбный путь? И даже опередить его в гибели, переусердствовать в грехе, перепить в пьянстве?

Альбина-Беба вдруг подумала, что если бы отец был не миллионером, а бомжом, мать бы точно так же пьянствовала и изменяла ему.

Значит, снова подмена понятий, вздохнула Альбина-Беба, обмен сущностями. В последнее время бесконечность мира начала ее утомлять. Особенно не нравилось ей то, что в бесконечных пространствах бесследно растворялась истина.

Помнится, она однажды заметила Виталию Хвостову, что в отсутствие истины мир кажется ей гладким как яйцо, окаменевшим коконом. Я знаю, что он сплетен из волокон, сказала Альбина-Беба, но не вижу хвостика, за который можно потянуть, чтобы все это распутать и дойти до сути. Мне кажется, продолжила Альбина-Беба, сама структура этих волокон претерпела изменения, они стали как сталь. (Она уже устала изумляться сокрытому в каждом слове, двух словах — «стали» и «сталь» — руководящему величию языка).

«Хвостик есть, — оторвался от компьютера Виталий и внимательно взглянул на Альбину-Бебу. Работая на

компьютере, он надевал специальные антибликовые очки. Вот и сейчас он смотрел на Альбину-Бебу двумя крохотными радужными овалами, как если бы его мир был радугой, и, соответственно, на стеклянные, радужные же, осколки он сам его расколотил. — Он прост. Он здесь. Это я».

Не отдам, ни к селу ни к городу подумала Альбина-Беба, ни за что не отдам его Ильябое! Пусть лучше забирает... Димитрия Лекалова-Соннова! Пусть ему несет навстречу свои раскрытые, как книга, бедра! Пусть он шелестит ее страницами!

Это было удивительно, но она, оказывается, думала об отце для найденного ребенка. Думала неконкретно и без разлива (стального?) потока мысли на конкретные слова. Это была внутриутробная сторона мысли. Теперь А-Б представляла себе, как мыслят животные. В результате невидимо свершившегося тендера она пришла к выводу, что отцом Карабаша и, следовательно, ее мужем должен быть Виталий Хвостов, но никак не Димитрий Лекалов-Соннов.

Тот был многосложен, а главное, легко ускользал от конкретики в бесконечность, где его след растворялся, как след истины в мире.

Хвостов же был прост и надежен, как удачный компьютер. И, напротив, не ускользал, а высился посреди бытия как скала, за которой Альбина-Беба могла укрыться.

Димитрий, по мнению Альбины-Бебы, слишком легко впустил в свою душу хаос мира, как если бы душа была комнатой, а хаос каким-то отвратительным таинственным вороном, который влетел через открытую форточку

и, поскольку никто его не выгонял, устроился жить в комнате, обильно там гадя. Так что иной раз Альбина-Беба сама не понимала, с кем, собственно, разговаривает — с Дмитрием или с подчинившим его своей воле отвратительным таинственным вороном? Стержнем личности Дмитрия Лекалова-Соннова был... хаос.

Стержнем личности Виталия Хвостова... была личность Виталия Хвостова. Пусть несовершенная (а где они, совершенные?), но вполне автономная, а главное, не столь проницаемая для мирового хаоса. Ветер хаоса обтекал Виталия Хвостова, иногда, возможно, сбивал с ног, вышибал из глаз слезы, но при этом не уносил, как Лекалова-Соннова, в пустоту, где терялся след истины. В качестве отца для ребенка Виталий был предпочтительнее, как всегда предпочтительнее хоть «что-то» в сравнении с блистающим, искрящимся, фонтанирующим идеями «ничто». Когда речь идет о живом существе, с неожиданной рассудительностью подумала Альбина-Беба, лучше опереться на «что-то», потому что на «ничто», пусть даже великолепное «ничто», опереться невозможно.

В сущности, заметил однажды Альбине-Бебе Виталий, жизнь очень проста и вполне укладывается в два арифметических действия: делать выводы и принимать решения. В три, поправила его Альбина-Беба, в очередной раз изумившись всеохватности языка: еще и... действовать.

Она мстительно подумала, что, лишившись голоса, Ильябоя лишилась чего-то большего, нежели голоса. Она, как пчела из роя, выбилась из руководящего притяжения языка, погрузилась в одиночество, сравнимое раз-

ве лишь с одиночеством Господа. Собственно, это было совершенно естественное наказание для несостоявшихся самоубийц, добровольно отказавшихся от Его общества. А может, наоборот, подумала А-Б, слишком уж к Нему стремящихся, лезущих, так сказать, в вагон без очереди? И еще она подумала о компенсации, ибо наказанный (ая) всегда имеет в виду некую компенсацию и (самое удивительное) иногда ее добивается.

У Альбины-Бебы не было ни малейшего желания уступить в качестве компенсации Ильябое Виталия Хвостова.

«Возьми философа, — в отчаянье сказала она недавно Ильябое, — оставь мне компьютерщика».

Ильябоя, нехорошо заблестев глазами, немедленно раскрыла компьютер, взяла в руки электронную пишущую палочку.

«Мне мало философа», — возникла на дисплее издательская светящаяся строка.

«А что тебе надо?» — растерялась Альбина-Беба.

«Все твое — мое!»

Альбина-Беба вспомнила царя Валтасара и примерно схожие по смыслу огненные слова на стене дворца. Она не помнила, что предпринял Валтасар, увидев эти буквы, но твердо знала, что сделает сама: сорвет с шеи Ильябой компьютер и разобьет его к чертовой матери об ее поганую башку.

Она была близка к осуществлению хулиганского намерения, как вдруг на дисплее появилось: «Шучу. Мужики останутся с тобой».

Помнится, что-то сильно не понравилось Альбине-Бебе в этом тексте. Какая-то в нем ощущалась угрожаю-

щая незавершенность. Как если бы над повседневной жизнью Альбины-Бебы была раскинута некая невидимая сеть, готовая в любой момент на нее упасть. Как если бы Альбина-Беба была ночной мышкой, которую уже приметил скользящая в темном воздухе безжалостная сова.

Она вспомнила формулу Хвостова: делать выводы и принимать решения. Выводы были сделаны. Было принято и решение: немедленно съезжать с квартиры Ильябон. Дело оставалось за малым, а именно — за действием.

Но действие, с сожалением была вынуждена признать Альбина-Беба, не всегда совпадало во времени и пространстве с принятым решением. Во-первых, Ильябое было заплачено за квартиру на полгода вперед. Во-вторых, в ближайшие выходные они собирались на озеро Жеребец ловить сирен и не с кем было оставить Карабаша, кроме как с Ильябоей, — она в свое время (до того, как сделалась прославленным дизайнером) подрабатывала нянькой и знала, как управляться с грудными детьми, пожалуй, даже лучше, нежели внезапная мать — Альбина-Беба.

Изъять деньги у Ильябон без объяснения причин переезда не представлялось возможным, поскольку деньги с некоторых пор не представляли для нее большой ценности. Альбина-Беба не хотела ссориться с Ильябоей еще и потому, что та была посвящена в историю Карабаша и, соответственно, обидевшись, могла сильно навредить Альбине-Бебе, сообщив, допустим, о ребенке в милицию.

Она вспомнила, как они доставали деньги на съём квартиры, коляску, одежду, питание для Карабаша, и еще раз — уже с чисто практической стороны — отметила преимущества компьютерщика перед философом. Пре-

имущества толкового «что-то» перед бесподобным, блистательным «ничто».

Сразу со Студенческой улицы Карабаш был увезен в Жулебино — на квартиру старшей сестры Лекалова-Соннова, которая в данный момент находилась вместе со своим мужем и дочерью на позднем отдыхе в Крыму, но, по расчетам Лекалова-Соннова, должна была вернуться через десять дней.

Альбине-Бебе сильно не понравился кислый винно-табачный дух, непобедимо утвердившийся в этой квартире, большое количество бутылок во всех местах и оскорбляющий взгляд использованный презерватив, гнусно присохший к вытертому ковру на полу. Сколько Лекалов-Соннов ни пытался ногой отправить его под приглашающе разложенный диван, презерватив не желал расставаться с ковром. Поскольку родственники Лекалова-Соннова вряд ли, уезжая, оставили квартиру в таком скотском виде, напрашивался вывод, что хранитель ключей — Димитрий Лекалов-Соннов — времени тут даром не терял. Сволочь, подумала тогда Альбина-Беба, грязная, пьяная сволочь!

Идею молодого философа прямо оттуда отвезти Карабаша в ближайший «Дом малютки» да и отпраздновать это событие в ресторане, а потом вернуться в Жулебино, чтобы, значит, это... укрепить их дружбу, Альбина-Беба гневно отвергла.

Дрянь, мысленно (повторно) обратилась она к мирно укладывающему в рюкзак снасти для ловли сирен Лекалову-Соннову, как ты посмел мне это предложить! Гнев ее был сильнее времени и пространства и, в отличие от закона, имел обратную силу.

Чем дальше, тем хуже становился Лекалов-Соннов в ее глазах, хотя при этом оставался таким же, каким и был, а кое в чем так даже и лучше. Стало быть, лучше (чище) становилось сознание Альбины-Бебы. Она почти физически ощущала, как оно уподобляется белоснежному чистому шатру, в который нет входа Лекалову-Соннову, но есть — Хвостову.

— Когда мы вернемся с озера, — сказала она Хвостову, — я выйду за тебя замуж.

— Мы будем жить долго, — ответил он, — и умрем в один день.

Не возражаю, — сказала А-Б.

— Но ты останешься жить, — вздохнул Хвостов. — Без нас.

28

Помнится, еще в греховной квартирке в Жулебино у них состоялось нечто вроде конкурса проектов по добыче денег.

«Самое простое, — заявил Димитрий, — дожидаться ночи и ограбить какого-нибудь пьяного менеджера. Надо выбрать хорошо одетого, с портфелем и желательно не первой молодости. Таких здесь сейчас много ходит. Расселились в этих новых больших домах. У них в бумажнике не бывает меньше трех сотен баксов и они, в, общем-то, легко с ними расстаются».

«Почему?» — удивилась А-Б. Ее опыт свидетельствовал об обратном. Люди крайне трудно расставались даже и с куда меньшими суммами.

«А потому что для них явиться на работу с разбитой мордой — значит вызвать подозрения. Там этого не одобряют. Гладкая сытая морда — визитная карточка благонадежности. Ну, вот ты, допустим, — объяснил А-Б Лекалов-Соннов, — придешь в банк за кредитом или положить деньги, а тебя там встретит дядя с фингалом. Ты, естественно, развернешься и уйдешь. Поэтому они и берегут свои морды».

«А почему он должен быть с портфелем?» — поинтересовался Хвостов.

Лекалов-Соннов посмотрел на него, как на идиота.

«Потому что, когда сваливаешь, портфель можно открыть да и швырнуть из него веером бумаги. Пока этот козел будет ползать собирать, они почему-то всегда собирают, ты успеешь исчезнуть».

«А если он заорет?»

«Бей прямо в пасть. Или швырни в морду бумажник с документами. Он как увидит, что документы на месте, резко успокоится, не будет печалиться о деньгах».

Альбине-Бебе не понравилась погруженность молодого философа в тему. Он рассуждал о грабеже так, как будто уже не раз проделывал это на практике.

«Всего триста баксов, — покачал головой Хвостов, — а статья в УК — бандитизм. От трех до семи с конфискацией. Неоправданный риск. Какая радость ему, — кивнул на попискивающего в пеленках (тогда еще безымянного) Карабаша, — если мы сядем за ги-

потетические триста баксов на совершенно реальные три года?»

«А разве, — нехорошо усмехнулся философ, — бывает оправданный риск, если это, конечно, настоящий риск? Риск — всегда грубое насилие над обстоятельствами, осознанное пресечение мирного — в нищету и ничтожество — течения жизни. Она всегда почему-то клонится в ту сторону, видно, так устроен ландшафт. Может, и не сядем, — задумчиво продолжил Лекалов-Соннов. — Учитывая обстоятельства дела, юный возраст, характеристики с места учебы, первый раз, а также социальную напряженность в стране, нам, скорее всего, дадут условно».

«Не годится, — отрезал компьютерщик. — Я знаю, что такое российский суд. Меня таскали за левое подключение к Интернету. Разоримся на взятках».

«Ну, тогда... — похабно подмигнул Альбине-Бебе философ, — вечным, как мир, способом... А мы, рабы Божьи, тебя подстрахуем».

И опять — в который по счету раз! — всеобъемлющее величие языка ошеломило Альбину-Бебу. В слове «подстрахуем» заключалась квинтэссенция того, на что намекал философ: и «под» (в широком смысле, допустим, под правильной жизнью, под общепринятой нравственностью), и «страх», и, наконец, то с чем (теоретически) пришлось бы иметь дело Альбине-Бебе, согласись она с непотребным предложением. Под страхом х..., подумала она, — это же единая и неделимая суть проституции.

«Не будем фантазировать, — с презрением посмотрела на Лекалова-Соннова. — Лучше уж сидеть с ребенком в переходе, просить милостыню. Я достану деньги».

Она вспомнила, что отец обещал ей к зиме шубу. Надо было взять деньги, но только так, чтобы не ехать немедленно в сопровождении водителя и охранника в магазин. Сделать это было затруднительно. Отец организовал ее жизнь таким образом, что А-Б фактически не держала в руках наличных денег.

Она вспомнила, как однажды попросила у него денег на вполне богоугодное дело — спасение несчастных кошек и собак, обреченных в мединституте на зверскую (в прямом и переносном смысле) вивисекцию. Она договорилась с держателем приюта, который, сославшись на плохое состояние животных и дороговизну кормов, оценил это дело в две тысячи долларов.

Не дури, сказал ей отец, деньги зарабатываются не для того, чтобы тратить их на благотворительность. Они приходят именно оттуда, объяснил он, где боль, страдание, нищета, отчаянье и смерть. Причем для всех: людей, животных, рыб и птиц. Движение вспять деньгам претит. Благотворительность, подвел итог отец, это издевательство над их сутью. Призвание денег — усугублять, а не смягчать несправедливость. Они уничтожают тех, кто нарушает этот закон. Савва Морозов нарушил и погиб. Карл Маркс открыл этот закон, но уцелел. Хотя, задумался отец, денег ему всю жизнь не хватало, и близкие его почему-то кончали жизнь самоубийством.

А как же тогда все эти презентации, открытия новых больниц, помощь детским домам? — спросила А-Б.

Это другое, с удивлением (неужели до сих пор не понимает таких элементарных вещей?) взглянул на нее отец. Это имеет смысл только в том случае, если обещает ум-

ножение денег. Да, я организовал ремонт больницы в Клину, продолжил он, но только затем, чтобы превратить ее в акционерное общество, перевести потраченные деньги в акции, взять контрольный пакет, а потом выкинуть оттуда нищую старую шпану, всех этих ветеранов и льготников, переоборудовать здание под элитный конно-спортивный комплекс. Это советская власть лечила народ, добавил отец, наша власть лечить его не будет никогда. Иначе это уже будет не наша власть. Это раньше было: кто не работает — тот ест. Сейчас: кто не работает — тот не живет!

Можно было попросить денег у матери, но мать, хоть и была пьяницей, не была дурой. Она бы наверняка взялась выяснять, зачем Альбине-Бебе такая сумма, да еще наличными? А сумма требовалась немалая. Учитывая предстоящий съем квартиры, расходы (с перевозкой) на кровать и коляску, — никак не меньше пяти тысяч. Склонная к фантазиям, мать могла бы вообразить что угодно, а потом поверить в это как в свершившийся факт. Если уподобить мир матери океану (алкоголя?), то иногда посреди этого океана возникали некие плавучие острова с вымышленной реальностью. А-Б говорила об одном. Мать, глядя на нее со своего острова, как Робинзон Крузо, воображала себе совершенно другое.

Может, сказать, что проиграла в казино? — подумала А-Б. Но в казино невозможно играть в долг. Значит, придется объяснять, где взяла деньги на игру, выдумывать несуществующих людей. Нет, не подходит.

Альбина-Беба вдруг вспомнила про благотельствуемого отцом писателя-почвенника Иванова. Но есть ли

у него пять тысяч? Пропойца Иванов не производил впечатления человека, способного запросто вытащить из кармана да и отдать в невозвратный долг пять тысяч долларов. Пусть даже дочери лучшего друга. Опять же, ему могла закрасться в голову мысль о кокаине. Но даже если Иванов каждый день выжирал бутылку самого дорогого виски, все равно — всех получаемых от отца денег он истратить не мог. Наверное, он хранит их в банке «Прицел», подумала А-Б. Она оставила Иванова как вариант на крайний случай.

А-Б неторопливо перебрала в уме свой гардероб. К сожалению, за ее сапоги, куртки, ненадеванные кофточки и блузочки невозможно было быстро выручить необходимую сумму. Дорогую вещь легко купить, с грустью подумала Альбина-Беба, но очень трудно, если не невозможно оперативно продать даже за половину цены. Она в очередной раз констатировала мудрость отца, утверждавшего, что дорогие магазины с «фирменными» товарами существуют для идиотов, а также для случайных в мире денег людей, заполняющих наиболее темные, уродливые и отталкивающие ниши этого мира. Если уподобить мир денег готическому собору, помнится, заметил отец, то весь этот народец из шоу-бизнеса, авангардного искусства и масс-медиа можно уподобить отвратительным химерам, рассевающимся по периметрам шпилей.

И все же кое-что у А-Б имелось.

Бриллиантовые сережки, которые отец подарил ей на шестнадцатилетие. Серебряные цепочки и кулончики без счету. Золотой динар в пластмассовой коробочке, про который все забыли, а он лежал себе в шкатулке

Альбины-Бебы вместе с сережками, цепочками и кулончиками.

«Нет! — вдруг ударил кулаком по липкому, в лиловых пятнах (хранитель ключей Лекалов-Соннов определенно не баловал приводимых сюда девушек качественными спиртными напитками) столу компьютерщик, строго блеснув светлыми глазами. — Мы прямо сейчас скинемся на первые расходы, а потом разработаем стратегию динамичного добывания денег. Я не думаю, что это будет трудно. Тем более, — усмехнулся, — в такой доверчивой и горячей — в обе стороны — зарабатывать и тратить — до денег стране, как Россия. Главное, правильно все продумать и рассчитать».

«Вот как, — помнится, даже обиделась за отца, Осю и других, света белого за бизнесом не видящих людей А-Б, — неужели, по-твоему, зарабатывать деньги так просто?»

«Во всяком случае, не сложно, — ответил Хвостов, — хотя лично мне совершенно неинтересно. Это как... ну... — задумался, подбирая сравнение, — пить из захватанного нечистого стакана, спать с проституткой. Или быть членом правящей партии, целиком и полностью поддерживать политику президента и правительства».

«Но почему тогда все люди мечтают стать богатыми?» — спросила Альбина-Беба.

«Временный сбой в коллективном бессознательном, всеобщее помутнение рассудка, — влез в разговор Лекалов-Соннов. — Что-то похожее, правда, под другим знаменателем, имело место в семнадцатом. В газетах пишут про национальную идею, но не пишут, что она уже есть

и всем управляет. Был Третий Рим, была мировая революция. А сейчас — деньги. Они заменили ум, честь, совесть и все прочее. Нас ждут страшные испытания. Идея денег или деньги без идеи разрушают общество и государство. Сегодня в нашем государстве за деньги можно все. Деньги сжигают его изнутри, как раковые клетки. Министр за миллион долларов готов уничтожить целую отрасль промышленности. Мент за тысячу рублей пропустит потенциального террориста куда угодно. Если в государстве единственная единица измерения — деньги, то оно будет уничтожено теми, кто изъявит желание заплатить больше, чем согласно платить государство за свою защиту. Это элементарная, не требующая доказательства формула».

«Люди, конечно, мечтают стать богатыми, но почему-то не становятся, — возразил Хвостов, — готовы продать душу за малую цену, но почему-то никто не покупает. В результате человек нагружается подлостью, мерзостью, предательством и прочими грехами, но при этом остается нищим, злым и... обманутым. Я слышал, — продолжил Хвостов, — что многие сатанисты сейчас теряют веру, сомневаются в существовании князя мира сего. Дело в том, что он не вознаграждает их за совершенное зло, как будто зло превратилось в норму жизни, и они, сатанисты, живут почти что праведно. Богатыми становятся по какому-то другому принципу. Причем зачастую те, кто как раз об этом не мечтает. Мы сыграем на этой территории».

«То есть ты, — уточнила Альбина-Беба, — полагаешь, что мы сумеем заработать деньги быстро и... честно?»

«Во всяком случае, лично я не собираюсь никого обманывать, — ответил Хвостов, — а вот он... — посмотрел на философа, — не знаю».

Как хорошо, подумала Альбина-Беба, что у меня фамилия матери, а не отца. Она не сомневалась, что их схватят. По крайней мере, подумала А-Б, не задерут цену, чтобы отпустить.

Когда она была маленькой, родители рассказали ей про свой уговор: если родится сын, он будет носить фамилию отца, если дочь — матери. Альбина-Беба привыкла к материнской фамилии, но как-то все же поинтересовалась у матери, в чем тут дело? У твоего отца, ответила мать, уже в те годы была мания величия. Он еще был никем и ничем, но уже переживал, что, выйдя замуж, ты откажешься от его фамилии. Поэтому он решил, что лучше уж ты откажешься от моей.

Обсудив представленные на конкурс проекты, они, естественно, выбрали самый (в смысле наличности) быстрый, но (во всем остальном) наиболее рискованный.

Сестра философа, в квартире которой он так деятельно свинячил, работала менеджером в фирме, поставляющей кассовые аппараты. Прихожая была под завязку забита коробками. Возможно, это были демонстрационные образцы, а может быть, фирма таким образом расплачивалась с ней за работу. Лекалов-Соннов не знал. Отыскалась и коробка с кренделями бумажных лент для чеков.

Лекалов-Соннов извлек из кармана смятую квитанцию об оплате мобильного телефона.

«Ее заполняет плательщик, — объяснил он. — Нам остается всего лишь пробить чек на указанную сумму,

пришпилить чек к квитанции, шлепнуть печать “уплачено” и сказать дяде, что платеж поступит на его счет завтра во второй половине дня. Печать у меня есть. Значит, надо набрать чистых бланков — это нетрудно, они во всех платежных пунктах валяются пачками, выбрать место, поставить стол с кассой и вперед! Я думаю, — прикинул философ, — пару дней в разных местах мы можем смело поработать. Но надо будет обязательно перепрограммировать параметры машины. Эта сволочь зачем-то все о себе печатает, включая серийный номер и адрес завода-изготовителя! И выбрать подходящее место».

«С данными я разберусь, — сказал Хвостов, — заведем в нее номер одного из ГУПов Управления делами Администрации Президента, пусть ищут. Только машину все равно потом придется выкинуть. Лучше всего утопить. А вот насчет места... Везде опасно».

«Подземный переход?» — предложила Альбина-Беба.

«Хорошо, но как-то несолидно, — возразил Лекалов-Соннов, — подземный переход в России — место, где торгуют некачественным товаром. И потом там не очень светло. Лучше где-нибудь в магазине или... в супермаркете».

«Там опасно, — сказал Хвостов, — во-первых, все ходят, смотрят, спрашивают. Во-вторых, народ тертый, трудно будет договариваться. В-третьих, переодетые охранники, они сразу врубятся».

«Стало быть, не отыскать в России местечка для мошенничества во благо новорожденного?» — усмехнулась Альбина-Беба.

«А если вспомнить, что всякая жизнь от Бога,— серьезно добавил философ,— то получается, что для мошенничества во благо Бога, то есть Божьего мошенничества»...

29

Наиболее подходящим местом для сбора денег оказался... подземный мужской туалет на Тверском бульваре у памятника Тимирязеву. Дневным дежурным там подрабатывал некто по кличке Хрю, выдающийся, как объявили Альбине-Бебе Лекалов-Соннов и Хвостов, математик, прежде подрабатывавший опять же дежурным, но на сей раз ночным, в морге. Похоже, этот парень ничего не боялся и, следовательно, был готов ко всему. С этим самым Хрю были немедленно проведены телефонные переговоры. Долго уговаривать его не пришлось. Эйнштейн сортира, как в гневе обозвал его Лекалов-Соннов, согласился участвовать в деле за двадцать пять процентов.

«Сволочь,— сказал философ, повесив трубку,— уезжает в конце недели, послезавтра, на годичную стажировку в Штаты в Массачусетский технологический институт. Говорит, денег ни копыя. Врет, конечно. У нас на все про все два дня».

Но получилось и того меньше, хотя началось, можно сказать, блистательно.

Во-первых, Хрю, он же Эйнштейн сортира подсуетился и изготовил стенд: «МТС. Билайн. Мегафон. Оп-

лата налом (не путать с КАЛом) не отходя от кассы! "Наши звонки не пахнут". Веспасиан. "Наши звонки дешевле мочи". Авиценна». А-Б, правда, не поняла, причем здесь великий восточный целитель, но Хрю объяснил, что именно Авиценна считается родоначальником уринотерапии. Бесконечная же и тупая болтовня по телефону, по мнению Хрю, как раз и являлась (технологической) разновидностью уринотерапии. Не зря же существует такое выражение «ссать в уши», сказал Хрю, так что образно-логический ряд безупречен. Деньги пойдут! Во-вторых, еще в плохой квартире в Жулебине Лекалов-Соннов вспомнил, что внизу — в подвале, где обитали пьяные сантехники, он видел вполне приличную (видимо, отремонтированную ими) детскую коляску. И будто бы его сестра имела на эту коляску какие-то (Альбина-Беба, впрочем, не поняла, какие именно) права.

Коляска была изъята у недовольно матерящихся сантехников, сложена и помещена в багажник дремучих, как будто только что выгашенных из земляной ямы «Жигулей», принадлежащих мужу сестры философа, за руль которых Лекалов-Соннов в редких случаях (когда муж уезжал в командировку, а сестре, допустим, требовалось перевезти на дачу вещи) допускался. Малость забуксовал вчера на лесной дорожке, объяснил философ, сгоняя с сидения немалых размеров жабу, видимо, запрыгнувшую в машину на этой самой лесной дорожке.

В восемь утра они всей семьей лихо подкатили на пулеметно стреляющих из выхлопной трубы «Жигулях» к подземному туалету на Тверском бульваре. Строгий, застегнутый на все пуговицы ученый-естественник Тимиряз-

зев, как будто только что вышедший из туалета, без малейшего одобрения изучал их компанию, размышляя, к какому виду живности их отнести. Идущие по бульвару люди в изумлении смотрели на установленный у входа плакат. Пока философ и компьютерщик устанавливали в холле туалета кассовый аппарат, Хрю озабоченно шепнул присевшей на холодную скамейку, вцепившейся руками в коляску Альбине-Бебе, что есть проблемы.

«Вот как?» — честно говоря, Альбина-Беба не ожидала, что они начнут так рано.

«Ну да, ты только посмотри на этих вешалок... — Хрю кивнул в сторону теток у женского туалета. — Они тоже хотят... платить! Почему, говорят, принимаете только в мужском, дискриминация по половому признаку! А касса-то у нас... одна. Давай так. Ты прими у них деньги и вынеси квитанции. Хвост унесет стенд вниз, в мужской. Я пока посижу с коляской».

«Ты зачем плакат выставил на улицу?» — подбежал к ним Лекалов-Соннов.

«Хотел расширить круг плательщиков», — честно признался Хрю. Лохматый, с хитрыми косящими глазами, бесформенными, перемешанными в кашу чертами лица и длинными (загребущими) обезьяньими руками, он был похож на ведьмака, как их изображали в книгах святой инквизиции. Если бы Альбине-Бебе не сообщили, что он математик, она бы усомнилась, знает ли вообще этот человек таблицу умножения. — Все под контролем, — сказал Хрю, — она сейчас у них примет, — толкнул локтем Альбину-Бебу, — не отпускать же этих засых с деньгами?»

Плакат унесли.

А-Б вручила теткам квитанции с пришпиленными чеками и вернулась на бульвар к коляске.

Она должна была (желательно с опережением) сообщить ребятам по мобильному, если к туалету подъедет милицейский наряд. Тогда они уйдут по переходу в женский (у Хрю был ключ), а оттуда по сухому коллектору в проходной двор здания театра имени Гоголя. Ведьмак Хрю все предусмотрел.

Время от времени из туалета выскакивали то философ, то математик, победительно вскидывая вверх согнутые в локте руки. Из чего следовало, что сбор денег идет отменно.

И так продолжалось до тех пор, пока перед самым туалетом не остановился огромный серебристый «мерседес», из которого вышли... Ося и еще один, смутно знакомый Альбине-Бебе мужчина. Где-то она его точно видела. За ними дернулся было и водитель (он же охранник), но они велели ему сидеть на месте. Мужчины стремительно (как будто все утро сидели в пивной и сейчас им было невтерпеж) устремились в туалет, на ходу расстегивая ширинки.

«Ребята, осторожно! Это...» — мгновенно соединилась с философом Альбина-Беба.

«Узнал гада. Почему он в России? Пишут же, что он в бегах... Не успеваем свернуться. Поздно. Они здесь...» — задавленно прошипел в трубку Лекалов-Соннов и сразу отключился.

Некоторое время Альбина-Беба томилась неизвестностью, вцепившись в коляску, где мирно спал Карабаш.

За недолгую свою жизнь бедный ребенок успел наголодаться и, следовательно, тотально недоспать. Какой сон на пустой желудок? Сейчас он стремительно наверстывал упущенное: ел и спал, как будущий Илья Муромец, если, конечно, не принимать во внимание его выраженную восточную внешность. Хрю, едва заглянув в коляску, посоветовал А-Б прикрыть личико Карабаша платочком.

«А то заметут как мать будущего шахида, — нехорошо ухмыльнулся Хрю, и как только тебе пришло в голову рожать от... Бен-Ладена?»

Альбина-Беба с тревогой подумала, что если Ося ухитрился получить (и не вернуть!) кредит у ее отца, который принципиально не прощал долгов, то мгновенно разоблачить их компанию ему не составит ни малейшего труда. Другое дело, захочет ли он сдать их милиции? Альбина-Беба стала вспоминать, ищет прокуратура Осю или уже не ищет, но так и не вспомнила. В любом случае Россия на данном этапе (отрезке?) своей истории принадлежала Осе и ему подобным (не важно, пребывающим в фаворе или в опале) в неизмеримо большей степени, нежели им — компьютерщику, философу, Эйнштейну сортира и ей, Альбине-Бебе, отлученной отцом от наличных денег. Поэтому Ося был свободен и неограничен в любых своих действиях, в то время как они — предельно несвободны и ограничены, точнее загнаны в рамки, которые на самом деле являлись углом, стремительно переходящим в клин.

Опять пискнул мобильный.

«Эй, — услышала А-Б голос Хрю, — не знаешь, за его поимку случайно не назначена награда в миллион долларов? А то мы быстро...»

«Зачем тебе миллион?» — спросила А-Б.

«Приватизируем сортир, — сказал Хрю, — будем жить, как цари».

«А как ты его поймашь?»

«Ну, — ответил Хрю, — в сортире это сделать не сложно. Сортир — это вообще такое место, где с человеком можно сделать все что угодно. Да просто запрем его, как мышь в мышеловке, и сдадим ментам. Только бы они нас не кинули с деньгами».

«Увы, — разочаровала Хрю А-Б, — за его поимку награда не назначена. Зато он сам, — вспомнила она, — объявил награду в сто, что ли, миллионов долларов тому, кто доставит ему для суда и наказания... президента России».

«Тогда у нас мало шансов разбогатеть, — вздохнул Хрю, — президент в наш сортир не ходит».

Тем временем Ося и смутно знакомый Альбине-Бебе господин поднялись из туалета на бульвар. Ося хохотал. Смутно знакомый господин вроде бы разделял его веселье, но как-то неохотно.

«Я же вице-президент компании, я должен знать! — внезапно обострившимся слухом расслышала Альбина-Беба его слова. Она сидела, закрыв лицо газетой, чтобы Ося, не дай бог, ее не узнал. Ветер пружинил газету, как если бы она была парусом над лодкой обмана, в которой в данный момент плыла Альбина-Беба. — Кто это придумал? Это же черный пиар! Антиреклама! Сволочи, принимают на работу всякую шпану. Ставка на молодежь! Откуда у нас нормальная молодежь? Одна гниль! “Наши звонки не пахнут”. Веспасиан”. Это, что ли, тот римский император, который ввел налог на писсуары?»

Подожди, я сейчас позвоню... Черт, где телефон? Неужели оставил в машине?»

Альбина-Беба чуть-чуть приподняла газету и увидела прямо перед собой две пары брючных ног в дорогих ботинках, причем одни были с крохотной золотой монограммой, а другие — с тончайшими кожаными, чтобы не развязывались, шнурками. Одна пара (с кожаными шнурками) устремилась мимо, сердито скрипя по гравию. Другая (с золотой монограммой) взялась задумчиво перемещаться с пяток на носки.

«Я узнал тебя по ногам, — услышала Альбина-Беба сквозь газету голос Оси. — Такие ноги забыть невозможно. Я даже согласен на то, чтобы ты растоптала мое бедное сердце своими божественными ногами. Оно будет прыгать по земле, как лягушка, а ты топтать его, как прекрасная цапля. Ну а потом твой отец вставит мне новое сердце. Что ты здесь делаешь, девочка? Ты что, нанялась в няни? Или... Да нет, я же видел тебя совсем недавно. Ни малейших признаков. Значит, ребенок чужой. А! Ты в команде с этими, собирающими в сортире деньги ребятами? Экстремальный отдых? Неужели твоя жизнь настолько скучна, что ты клюнула на эту приманку, решила примерить на себя шкуру вокзальной проститутки, мелкой уличной мошенницы? Где, кстати, ваша охрана? Я помню эту фирму, организующую экстремальный отдых для богатых. Но я думал, она давно разорилась. Сейчас этот отдых, причем зачастую бессрочный — на кладбище, — организует непосредственно государство».

Альбина-Беба убрала от лица ненужную более газету. Лодка обмана не то чтобы получила пробоину, но бы-

ла, скажем так, идентифицирована. Если в человеческой природе присутствовало такое измерение — скорость мысли — то коэффициент его у Оси был исключительно высок. Альбина-Беба вдруг подумала, что если бы на месте Оси оказался писатель-почвенник Иванов, тот бы ничего не понял или, чего доброго, заплатил бы в сортире за телефон.

«Вы можете его остановить? — спросила Альбина-Беба. — Чтобы он никуда не звонил».

Прежде чем она успела договорить, Ося уже говорил по телефону:

«Борис? Сейчас Коля придет за своим телефоном, он лежит на сиденье. Быстро возьми его, скажи, что телефона нет, что я по ошибке забрал. Он попросит твой, не давай, скажи, что он на прямой связи с охраной. Скажи, что я хочу снять девочку, пусть он меня подождет, еще раз посмотрит бумаги по спутнику».

Коля, видимо, выслушал ответ водителя в режиме он-лайн. Он уже выбирался из лимузина, делая знаки Осе.

Ося махнул ему рукой, мол, не ходи сюда, я сейчас сам вернусь.

«Минут пятнадцать у вас есть, но не больше, — Ося опустился на скамейку рядом с Альбиной-Бебой, заглянул в коляску. — Похож на турка, — констатировал он, — ему уже сделали обрезание?»

«Сделали, — подтвердила Альбина-Беба, — но может быть, он араб или... еврей».

«Зачем он тебе? — спросил Ося. — Даже если он... — с сомнением посмотрел на Карабаша, — фаллаш, кажется, так называют эфиопских евреев?»

«Брошенный,— честно, как если бы разговаривала с самим Господом Богом, ответила Альбина-Беба.— Если бы не выгащила из бомжатника, он бы умер от голода. А ребята просто решили мне помочь».

«Мне очень понравился плакат: “Наши звонки не пахнут”. Веспасиан”, — сказал Ося.— Я попробую убедить Колю, что то, что вы собрали,— это ваш гонорар за рекламу. Чтобы не заводили дела. Боже мой, девочка,— вдруг воскликнул Ося,— если бы ты знала, как я тебе завидую!»

«Завидуете? Мне?» — Альбина-Беба подумала, что зависть Оси носит метафизический характер. В том смысле, что он завидует не тому, что Альбина-Беба в данный момент сидит на скамейке с неизвестно чьим (может, он дебил?) ребенком и, можно сказать, находится на волосок от тюрьмы, а, допустим, тому, что ее, Альбину-Бебу, Бог создал женщиной, а его, Осю, мужчиной. Или что ей, Альбине-Бебе, восемнадцать, она упруга и полна сил, а ему, Осе, полтинник, и он, хоть и бодрится, но уже безнадежно лыс, пергаментно-желт и как-то зловеще скован в поясице.

Из сортира выставилась и тут же убралась обратно бесформенная ведьмачья морда Хрю. Похоже, ребята не знали, что предпринять. В таких случаях, как правило, предпринималось наихудшее из возможного. И действительно, Хрю развинченной походной вышел из сортира, поигрывая свернутой в трубочку газетой. По тому, как тяжело осуществлялось поигрывание, Альбина-Беба догадалась, что внутри газеты спрятан обрезок металлической трубы или укороченный ломик. Хрю явно намеревал-

ся незаметно — по газонной дуге — обогнуть скамейку, подкрасться сзади да и тяпнуть Осю по башке спрятанным в газету ломиком.

«Подожди, — не на шутку встревожился опять мгновенно разобравшийся в ситуации Ося, — охранник его немедленно пристрелит!»

Альбина-Беба энергично (как мельница) замахала руками, давая понять Хрю, что все в порядке. Тот с перепуту кинулся в женскую половину сортира.

Ося молчал, задумчиво разглядывая носки своих ботинок, из чего Альбина-Беба сделала вывод, что Ося преувеличивает коэффициент скорости ее мысли. Похоже, Ося полагал, что для Альбины-Бебы не является секретом, почему он ей завидует.

Но пока это являлось для нее секретом.

Лекалов-Соннов определял подобную коллизию как «торможение на рассыпанных зернах». Перед Альбиной-Бебой, как перед курицей, было рассыпано множество зерен (причин, по которым Ося мог ей завидовать), но она не знала, какую склевать (выбрать) первой.

Между тем печаль в темных глазах Оси сгустилась до цвета его ботинок. Но живая мысль, тем не менее, вспыхивала внутри сплошной печали, как крохотные золотые монограммы на черных ботинках.

«Ты спрашиваешь, почему я тебе завидую? — спросил Ося, хотя Альбина-Беба не спрашивала. И сам же ответил: — Я завидую твоему... счастью».

Приехали, подумала Альбина-Беба. Получалось, что она опять все переусложнила, а именно расценила обык-

новенное издевательство, как скальпельную, а может рентгеновскую, быстроту мысли.

«Дело в том, — быстро, проглатывая слова, заговорил Ося, — что среди людей распространено неправильное понимание счастья. Когда про кого-то говорят, что он жил долго и счастливо, такому человеку, как ни странно, нечего вспомнить. Долгие годы так называемого счастья — свидетельство слабоумия, если угодно, атрофия души. Дело в том, что душа создана для боли. Без боли нет души и, следовательно, нет настоящей жизни. Ты посмотри на благостных пуховых старичков-одуванчиков, счастливо проживших вместе по сто лет. У нас их, правда, ликвидировали как класс, бросили — в прямом и переносном смысле слова — на помойку, но в некоторых западных странах они сохранились в первозданном виде. Они похожи на пустые коконы, из которых вылетела жизнь. Вот почему я, например, никогда не прошу у Бога счастья. Я знаю, что пять — десять лет так называемого счастья меня уничтожат, затопчут как носороги, превратят в полнейшего маразматика».

«Значит, вы счастливы в истинном значении этого слова, в том смысле, что несчастливы, — заметила Альбина-Беба, тревожно поглядывая на часы. — Почему вы мне завидуете?»

Вице-президент МТС подозрительно затаился в кожаных недрах «мерседеса». Альбина-Беба подумала, что он, видимо, завладел своим телефоном, или... охранник, он же водитель Оси, оглушил его ударом пудового кулака.

«Хорошо, я объясню тебе, что такое счастье, — сказал Ося. — Слишком примитивно считать, что счас-

тье — это несчастье только лишь потому, что оно навеки врезается в память, в то время как о годах счастья вспомнить решительно нечего. Я согласен и с тем, что только сумасшедший может принимать за счастье обрушившиеся на него беды и невзгоды. Это комплекс библейского Иова, одна из бесчисленных разновидностей религиозного безумия. Чтобы уяснить, что есть истинное счастье, следует отсечь крайности. Допустим, бессмысленное растворение в семейной жизни, когда десятки лет живут “душа в душу”. А заодно и неоправданное, превосходящее меру страдание, когда, в принципе, человек сам не знает, зачем живет, до того все погано. И тогда получается, что счастье — это не что иное, как неосознанное движение к некоей, не вполне ясной, но зовущей цели. Ты в процессе движения, ты сопереживаешь ей каждой клеточкой своего тела, всеми... я не знаю, что это такое, но так принято говорить... фибрами души. Фибры, — повторил Ося. — Похоже на жабры, да? Неужели у души есть жабры? Кажется, когда-то были фибровые, да? чемоданы. Неужели в них перевозили души? — усмехнулся Ося. — При этом ты одновременно сомневаешься в правильности цели и страстно ее желаешь. Одним словом, ты частица цели, крохотный камешек в грандиозной мозаике. Занять в ней предназначенное место — это и есть счастье. Вот почему для многих людей смерть на гильотине, расстрел или изгнание не являются несчастьем и несправедливостью. Они выполнили свое предназначение, а потому легко идут на смерть. Им больше нечего делать в этой жизни. Цель избавляется от них, как от пустой породы. Хотя вполне может стать-

ся, — пристально посмотрел на Альбину-Бебу Ося, — никакой цели нет, вообще ничего нет, и ты летишь, как бабочка на огонь. Может быть, наш мир отапливается крыльями бабочек? Может быть, именно это нежное и трепетное топливо единственное условие его существования? Я не знаю. Но этот сквозь темную неизвестность полет к неясной и, быть может, несуществующей цели и есть счастье», — перевел дух Ося.

«И вы, стало быть, его извели?» — поинтересовалась Альбина-Беба.

Она в очередной раз испытала странное ощущение, что время не то чтобы остановилось, но замедлилось. Почему-то она не боялась, что вице-президент МТС сообщит о них в милицию, что Хрю, Хвостов и Лекалов-Соннов подерутся с несговорчивым клиентом в сортире, что, в принципе, случится что-то из ряда вон.

Альбина-Беба вдруг увидела себя в образе бабочки, летящей сквозь эту самую темную неизвестность... куда? Она не знала куда, но ощущала смутную тревогу, глядя в черные с золотыми блестками (монограммами?) немигающие глаза Оси. Так, должно быть, бабочка внезапно видит прямо перед собой глаза птицы, перед тем как та ее схватит, скомкает клювом, да и проглотит. Но Ося не был птицей и совершенно определенно не собирался глотать бабочку (Альбину-Бебу). Он всего лишь с нечеловеческой какой-то печалью отслеживал ее путь сквозь темную неизвестность и, похоже, пытался от чего-то предостеречь.

От чего?

Смерть представляется сложной, пока человек жив, вдруг ни к селу ни к городу подумала Альбина-Беба, в сущности же, она очень проста. Пока человек жив, он как бы читает ненаписанную, точнее незавершенную книгу, и все-то ему кажется, что у этой книги нет конца. Димитрий Лекалов-Соннов, к примеру, сравнивал обширную и неустанно пополняющуюся книжную «смертиану» с другого рода — порнографической — средневековой литературой, повествующей о путешествии как одиночек, так и групп людей в глубь... женского полового органа, где эти самые чудесным образом уменьшенные в размерах путешественники обнаруживали густо населенные города, поля, мельницы, псовые охоты, рыцарские турниры. Одним словом, обнаруживали целый мир, существующий по собственным законам, не сильно, впрочем, отличающимся от общепринятых в то время. Ведь женщины — это большая и лучшая часть человечества.

Альбина-Беба вдруг поняла, от чего именно хочет ее предостеречь Ося.

Не от конечной цели полета сквозь темную неизвестность. Скорее он хотел объяснить, что цель эта изначально — всегда, во все времена и так далее — не стоит затрачиваемых на ее достижение сил и средств. Вероятно, не стоит, подумала Альбина-Беба, но ведь и повернуть вспять невозможно, потому что полет управляется чем-то более сильным, чем земная гравитация. Неужели это гравитация... души? Или сознания?

А может, вечного как мир обмана, подумала Альбина-Беба, и Ося всего-навсего предлагает мне составить оппозицию вечному обману?

Она уже успела потерять нить беседы, но в остановившемся (заторможенном, а может, замороженном) времени это не имело особого значения. В остановившемся, заторможенном, а может, замороженном мире мысль была первична, а время и, вероятно, человеческая жизнь вторичны. В этом мире невозможно было ни опоздать, ни прийти раньше назначенного времени.

Альбина-Беба должна была уяснить то, что должна была уяснить.

Вокруг этой оси в данный момент вращалась земля. Обстоятельство же, что проводником того, что должна была уяснить Альбина-Беба, являлся человек по имени Ося (ось!), наполняло ее душу победительным трепетом избранничества.

Не случайно, ох, не случайно тратил на нее свое дорогое время миллиардер и скиталец (Вечный Жид) Ося, которого днем с огнем (как Диоген человека) искала российская прокуратура и никак (как Диоген человека) не могла отыскать.

«Я дошел до предела, — продолжил Ося, — поэтому в этой жизни для меня уже невозможны ни счастье, ни несчастье в чистом виде».

«До предела чего?» — спросила Альбина-Беба.

«Это трудно объяснить, — покрутил в воздухе тонкими желтыми, как будто он курил не вынимая сигареты из рта или болел гепатитом, Ося, — но я попробую. Возьмем такую вещь, как деньги. Что такое капитал?»

Это отнюдь не исполнение желаний, не власть, не могущество, не красота, но... предел. Чего? Я долго думал, как это определить. Наверное, предел тоски по несовершенству мира. То есть, доходя до этого предела, ты как бы пробиваешь невидимую стену, переходишь невидимую границу. Ты... — понизил голос Ося, — сам становишься частицей беспредельной тоски Господа по несовершенству сущего. То есть тоска твоя становится абсолютной, потому что ты ее альфа и омега, объект, субъект и предмет. Тоска — это ты. В этой точке, на этой платформе ты постигаешь предел, за которым... ничего нет, потому что он, собственно, и есть беспредельность. Предел наступает тогда, — продолжил Ося, — когда ты, смертное и, стало быть, конечное существо, случайно или не случайно попадаешь в мир неоконченных мыслей и недочерченных линий, в мир, где одна беспредельность сменяет другую, в мир, где все возможно, но при этом то главное, фундаментальное, что должно быть исправлено или изменено, не может быть исправлено или изменено, а может быть только... уничтожено. И ты понимаешь, что это справедливо, что только так и должно быть и что нет в этом вины Господа, хотя то, что подлежит уничтожению как раз и является бьющимся сердцем мира, и ты сам — плоть и кровь этого сердца. Точно так же, как плоть и кровь Господа. Предел, — шепотом произнес Ося, — в беспредельности Господа. Его беспредельность — наш предел. Вот почему, заходит ли речь о деньгах, власти или славе, предел мечтаний — всегда ничто! Особенное ничто, — добавил Ося после паузы, — ничто, которое присоединяет тебя к себе, вбирает до самой души, растворяет в себе».

«Наверное, все так и есть, — осторожно тронула коляску Альбина-Беба, — но... как это связано со мной, с тем, чем мы здесь занимаемся?»

«Да очень просто! — рассмеялся Ося. — То, чем ты здесь занимаешься, и есть счастье! И я тебе завидую. И не дай Бог тебе дойти... до предела. Вообще-то, — вдруг с изумлением, как будто впервые увидел, уставился на Альбину-Бебу Ося, — я сам не знаю, зачем тебе все это говорю и почему все это говорю тебе? Но раз говорю, значит, так надо. Я устал обо всем этом думать, — вдруг признался он. — Предел многолик и повсеместен. Момент его постижения можно уподобить реакции, в результате которой возникает “черная дыра”, поглощающая душу и сознание. Я вдруг понял, — сказал Ося, — что, несмотря на то что у меня есть определенное влияние и кое-какие финансовые возможности, я не в состоянии не только предпринять нечто позитивное в масштабах страны, но даже... хоть как-то изменить собственную жизнь. Разве только, — рассмеялся, — застрелиться. Но прежде чем такие люди, как я или твой отец, успевают застрелиться, их успевают сто раз застрелить другие люди. В сущности, все это бессмысленное броуновское движение внутри “черной дыры”, внутри предела, который все определяет, но ничего не решает. В общем, сматывайтесь отсюда! — Ося извлек из кармана бумажник, пробежал пальцами с блестящими ногтями, как быстроногий, в желтых рейтузах конькобежец по льду, по многочисленным пластиковым карточкам. — У меня здесь только триста долларов, — произнес разочарованно, — знаешь, не имею обыкновения ходить с наличными. Привет отцу! — Ося

поднялся со скамейки, двинулся в сторону “мерседеса”. Крохотные золотые монограммы на его ботинках вспыхивали на солнце, как будто он был древним богом Гермесом, ходившим (летавшим) в сандалиях с золотыми крылышками. — Я так одинок, — неожиданно обернулся он к Альбине-Бебе. — Я так хочу тебя!»

31

Альбина-Беба почти физически (даже сильнее, как если бы все ее тело до последнего атома превратилось в эрогенную зону) ощутила волны желания, исходящие от идущих по бульвару (и, вероятно, не только идущих по бульвару, но и сидящих на скамейках, а также смотрящих на нее из многочисленных окон) мужчин. Эта волна подхватила ее, понесла куда-то ввысь, где, казалось, сам воздух содрогался от страсти, продолжая свой воздушный род. Альбина-Беба, однако, успела подумать, что число свершаемых в мире половых актов неизмеримо больше, нежели необходимо для продолжения человеческого рода.

Поднявшись ввысь, в альков, если можно так выразиться, воздуха, Альбина-Беба увидела внизу тяжело вращающееся нечистое море народного секса, насквозь пронизавшего жизнь на всех ее этажах и во всех проявлениях, начиная от детского сада и заканчивая домом престарелых, включая тюрьмы, лечебницы для умалишенных и даже (кто знает?) космические челноки, где к астронавтам-мужчинам все чаще подсаживали астронавтов-женщин.

Всю свою жизнь — с самого детства — она шла по урезу этого моря, швыряющего в ее сторону клочья плотной белой живородящей пены.

Лысый доктор в детском саду спускал с нее трусики и гладил, млея, гладкие мраморные половинки, роняя слюну.

Усатый проводник в поезде «Москва — Адлер», на котором она, кажется, после второго класса ехала с родителями в Сочи, зазвал ее к себе в купе и там долго уговаривал «показать», обещая за это шоколадку. Но она не дала себя уговорить, и тогда он предложил ей «посмотреть» на «свой». Альбина-Беба замешкалась с ответом, и он быстро извлек его на свет Божий. Альбина-Беба воочию увидела процесс его преобразования из гадкого кожаного мешка в подобие... круглого пенала, куда влезало множество карандашей и ручек. Да, именно с круглым пеналом, который она носила в своем портфельчике, помнится, сравнила Альбина-Беба увиденное. Почему-то она подумала тогда о своих родителях. Но в этот самый момент из пенала полетели белые брызги. Они почему-то взлетали очень высоко и падали, тут же застывая, на синее одеяло поверх нижней полки. «Салют в твою честь», — подмигнул ей усатый проводник, вручая шоколадку, которую она растерянно приняла.

И не счесть было подобных случаев в ее жизни. То бледный изможденный паренек демонстрировал ей свой длинный и тонкий, синюшный какой-то член в окне дома напротив. То приличный на первый взгляд старец вцепился в лифте, когда она шла в гости к подруге, ей в грудь с такой силой, что синие пятна держались месяц.

У старца воняло изо рта, и бедная Альбина-Беба чуть не потеряла сознание. Она ударила его коленом в пах, но старое отродье, похоже, только этого и ожидало. Оно затряслось в мазохистском оргазме, хрипло изрыгая какие-то матерные заклинания. Уходя из гостей, Альбина-Беба прихватила с пустого блюда двузубую вилку. Теперь она знала, зачем гости воруют вилки! Спускаться вниз пришлось на том же самом лифте. Другой просто не ходил. На сей раз старец отсутствовал, но на полу была лужа мочи, а воздух в лифте все еще был омрачен пронзительным (похоже, сексуальный старец гнил заживо) смрадом. Альбина-Беба, помнится, подумала, что, наверное, это привидение, грязно материализующееся при виде девушек. Дух скверного старца был приговорен скитаться в лифтах, хватать девушек за грудь, смердеть и оставлять на полу лужи мочи.

Самое удивительное, что ни в детстве, ни после А-Б никому и никогда не рассказывала про эти случаи, подсознательно ощущая себя частицей (купальщицей) всеобщего нечистого моря.

Повзрослев, Альбина-Беба уже сама охотно окуналась в его гаденькую водичку. Происходило это, как правило, внезапно и как бы совершенно против ее воли. Во всяком случае, еще за несколько мгновений до того как ее накрывала душная, сладкая, парализующая волна, она ни о чем таком не помышляла.

А-Б не любила вспоминать про эти эпизоды и сильно их стыдилась.

Но молодой философ Лекалов-Соннов однажды объяснил ей, что пара-тройка (десяток-другой) подоб-

ных, на первый взгляд немотивированных поступков неизбежны в сексуальном активе любой, даже самой добродетельной, женщины, равно как и пара-тройка (десяток-другой) случайных (или постоянных) любовников, о которых невозможно без ужаса вспомнить. Это совершенно естественно, заметил Лекалов-Соннов, так же, как и внезапная мысль о смерти. Человек бодр, весел, молод, здоров, все у него хорошо, но вдруг он задумывается о смерти и понимает всю неизбежную тщету, но и — одновременно — безальтернативную красоту жизни. И женщина вдруг, подвел итог молодой философ, ни с того ни с сего дает случайному уроду для того, чтобы ощутить горькую тщету и — одновременно — недоступную, смертельную красоту... любви.

32

Последний подобный случай произошел с Альбиной-Бебой совсем недавно в... морге, точнее в прозекторской, где на железных столах лежали разновозрастные мужские и женские трупы.

Причем ладно бы партнером оказался какой-нибудь отважный супермен, преодолевающий себя в обществе мертвецов. Так нет, худой и сутулый аспирант-хирург с вялым, как раскисший огурец, членом и впалым, как пустая тарелка, животом. Белая, как сало, его кожа, похоже, не знала свежего воздуха и солнечных лучей. В довершение всего у него был скошенный, как у птицы под

клювом, подбородок и лоснящиеся, в крупных кристаллах перхоти волосы.

Альбина-Беба сама не понимала, как все это могло случиться?

Она пришла в морг, чтобы узнать расписание практических занятий, который этот самый аспирант вел в их группе.

Едва только уловив с его стороны смутное движение навстречу (но, может, и не было никакого движения), она сама набросилась на него, стащила штаны, обнаружив под ними несвежие, шибяющие мочой, растянутые трусы, а под трусами... почти ничего, до того этот хирург был озадачен ее решимостью.

Альбине-Бебе пришлось немало потрудиться, прежде чем она привела его затхлое орудие в относительную готовность. Она неистовствовала, едва не отрывая у аспиранта яйца, истекала соком, скосив глаза на расположившихся вокруг мертвецов. И потом, когда она, урча, лежала на железном столе, сотрясаемая чередой оргазмов, как будто сквозь нее стучал по рельсам поезд, она видела перед собой строгое белое лицо мертвой женщины (почему-то А-Б показалось, что в прежней жизни эта женщина была учительницей физики) и волосатые ноги огромного мужчины. Они лежали на столе «валетом». Кем был этот не старый еще мужчина, Альбина-Беба даже приблизительно не догадывалась. Но она почему-то была уверена, что он был мастак по части секса. Она живо представляла себе, как он тискал огромными ручищами баб и рычал от страсти, как кабан. Теоретически жизнь могла свести его с предполагаемой учительницей

физики. А теперь вот лежат, и ничего-то им не надо, не без грусти подумала Альбина-Беба.

Ей было так противоестественно сладко на железном столе в морге, что она даже забыла про своего партнера. А когда вспомнила, то увидела, что он почему-то стоит перед столом, в сходящемся углу ее широко раскинутых ног и строго (почти как белая учительница) смотрит на нее. Альбине-Бебе даже явилась в голову мысль, что аспирант — оживший труп, зомби или, на худой конец, вампир.

Но страшно ей не стало.

«Ты чего, дружок? — удивилась она. — Не... кончил?»

«Нет, — не без достоинства ответил он, — но это не имеет значения. Главное для меня — удовольствие дамы».

Да много ли их у тебя было, этих дам, с сомнением покосилась на него Альбина-Беба. Ей вдруг сделалось не то чтобы холодно, но как-то одиноко и бесприютно на железном столе, где вскрывают трупы. Она попробовала свести ноги, ибо именно туда — в расслабившееся лоно — струились холод и печаль, но хирург неожиданно воспрепятствовал этому ее намерению. Он опустил на колени, так что голова его оказалась на одном уровне с разведенными (теперь уже его руками) ногами Альбины-Бебы. А руки у этого (тяготеющего к гинекологии?) хирурга были как клещи.

А вот это уже, пожалуй, лишнее, подумала А-Б. Она решила, что аспирант собирается заняться оральным сексом, но тот вдруг взял с соседнего стола фонарик с синей (почему-то в российских моргах использовались именно

такие) лампой и направил неестественный мертвенный свет прямо в живое лоно Альбине-Бебе.

«Забыл, как выглядит эта штука? — поинтересовалась Альбина-Беба. — При естественном освещении она выглядит естественнее».

«Не важно, — продолжая светить, ответил он, — просто пытаюсь понять».

Лицо его, прежде казавшееся Альбине-Бебе абсолютно не заслуживающим внимания, вдруг преобразилось. Оно как-то одухотворилось и даже некое спокойное мужество, перемешанное с отчаянием (какое мужество без отчаяния?) отразилось на нем.

Альбина-Беба не вполне понимала причины этого преобразования. Гибко извернувшись на холодном, залежанном (если это слово здесь уместно) мертвыми телами столе, свесив вниз упругие живые груди (в синюшном свете они, впрочем, казались какими-то русалочьими), она убедилась, что и внутренняя ее плоть в синюшном свете выглядит не слишком привлекательно. Как если бы аспирант смотрел в сизый, слизистый, влажный, весь в пупырышках калейдоскоп. Добровольно смотреть в такой калейдоскоп, наверное, могли только те, кто не имел возможности отказаться (гинекологи) и некоторые отчаянные смельчаки. Альбине-Бебе не хотелось употреблять эпитет «извращенцы».

«Что? — забеспокоилась она. — Что именно ты пытаешься понять?»

Почему-то ей вспомнились так называемые «мини-романы», которые время от времени, к месту и не к месту сочинял Виталий Хвостов. Он утверждал, что

у этого якобы открытого им жанра большое будущее, потому что в каждый «мини-роман» вмещается нечто большее, чем жизнь. Жизнь плюс, объяснял Хвостов. Вот только что это за плюс, он объяснить не мог. Говорил, что объяснить это может только Бог. А Бог, как известно, крайне редко пускался в какие-либо объяснения чего-либо.

«Она давала ему, когда хотела. А он хотел все время. Поэтому у них частенько случались конфликты».

«Преданные и верные женщины встречаются столь же часто, как неподвижный ветер».

Иногда хвостовские «мини-романы» претендовали на некую (бессмысленную, как представлялось Альбине-Бебе) философичность: «Бог суров, но это Бог». Или: «Вера и обман — родители чуда. Вот только дети у них всегда рождаются мертвые».

У Альбины-Бебы возникло ощущение, что влипший в калейдоскоп аспирант-хирург пытается понять примерно то же самое, что (посредством «мини-романов») компьютерщик Хвостов. Но таинственный плюс ускользал от понимания: в бессмысленность и многозначность любого словосочетания, в стенки и складки лона А-Б. Плюс был везде и нигде.

Они никогда этого не поймут, подумала она, потому что понять, как возникает живая жизнь, невозможно. А если и возможно, то это ничего не меняет.

Случались у Хвоста и утопические, а может, анти-утопические — в духе Вольтера — «мини-романы»: «Глупые птицы обломали все ветви на древе власти. Отныне на него могли забираться только змеи».

И житейско-нравоучительные: «Всю жизнь он наслаждался свободой и одиночеством. Когда он умер в своей квартире, его обнаружили через две недели по запаху свободы и одиночества».

«Она дала в морге, — вдруг взяла и сама сочинила даже не мини-роман, а подобие некоей логической головоломки А-Б. — Вопрос: она дала при жизни или после смерти?»

«Уже не пытаюсь, — поднял на Альбину-Бебу белые в синем свете глаза аспирант, — я понял».

«Что именно?» — сведя ноги (зачехлив калейдоскоп), Альбина-Беба перевела дух. Мгновение назад ей показалось, что он хочет ее... укусить. Волком выгрызть... бюрократизм.

«Я понял, как, собственно, это устроено, — ответил руководитель практики, — точнее, — добавил после паузы, — по какому принципу».

«Вот как?» — заинтересовалась Альбина-Беба. Она вообще-то и сама знала как. Но никогда не отказывалась поставить свое знание на кон, где его могло, как крупная карта мелкую, перешибить другое знание. В смысле знаний Альбина-Беба была азартным игроком, неутомимым потребителем.

«Это устроено по принципу солнца, — между тем продолжил аспирант. — Одних оно испепеляет, других заставляет всю жизнь дико мерзнуть, третьих... — задумался. — Третьи, наверное, самые счастливые, так сказать, растительные, технические потребители солнца. Они ебутся, как жрут и пьют, не достаивая себя размышлениями».

«И куда себя относишь ты?» — Альбина-Беба подумала, что в могильном фонарном свете хирург разглядел странные вещи. — К испепеленным, замороженным, или... растительным техническим потребителям?» — поинтересовалась она.

Аспирант выключил фонарик, и Альбина-Беба как будто провалилась в темное пространство между жизнью и смертью, точнее, между вопросом и ответом.

«К замороженному пеплу, — ответил, подумав, он, — бьющемуся в горячем растительном ознобе».

«Ответ в духе Конфуция, — констатировала Альбина-Беба. — Хотя не думаю, что кто-то задавал Конфуцию подобные вопросы».

Какой-то он и впрямь был странный, этот аспирант. Про него говорили, что он гений. Он участвовал в сложнейших нейрохирургических операциях в Клинике мозга (А-Б знала, потому что ее отец был главным акционером, то есть фактическим владельцем этой клиники), специализировался на фрагментах женского мозга, отвечающего за секс и все с ним связанное. Он считал, что именно там находится ключ к женской сущности, пролегает столбовая дорога коррекции (женской) личности. Этот участок мозга, утверждал он, с одной стороны, удивительно напоминает по форме... влагалище, а с другой — отличается повышенной, в сравнении с другими участками мозга, температурой (теплоотдачей), как будто там постоянно происходит какая-то реакция.

А еще этот гений считал, что общество вправе поворачивать этот ключ в нужную ему, обществу, сторону. Он публично заявил в ток-шоу на ТВ, что если государство

профинансирует разработанный им проект, он готов дать России идеальную женщину: ответственную мать, неутомимую труженицу, верную жену. Мой проект преобразования женской сущности, продолжил он, кардинально оздоровит Россию. Будет раз и навсегда покончено с такими вещами, как проституция, ревность, безумная роскошь, преступность и шоу-бизнес. Главное же, человечество наконец-то сможет преодолеть тысячелетнюю наркотическую зависимость от золота. Девяносто восемь процентов находящегося в обращении золота — это женские украшения, пояснил гений, и только два — золотые часы, запонки и цепи мужчин, главным образом, российских богачей и бандитов.

«Вы предлагаете свезти всех женщин в лагеря для перевоспитания?» — поинтересовалась ведущая ток-шоу.

«Никаких лагерей, — ответил гений, речь идет о ментальной нейрохирургической операции на левом полушарии мозга каждой новорожденной девочки. Никакой трепанации, никакого скальпеля. Операция производится лазером и занимает несколько секунд. В пятидесятых годах прошлого века, — напомнил он, — в США всем новорожденным удаляли аппендицит. Так что первичный опыт в этой области у человечества имеется».

«А мужчинам, — гневно спросила у него ведущая, — разве не будет полезна такая операция?»

Гений ответил, что мозг мужчины устроен иначе. В отличие от женского, в нем нет выраженного фрагмента, отвечающего за секс. Соответствующие ферменты растворены в других участках мозга, отвечающих за ум, волю, честь, талант, но главным образом за... сон. К со-

жалению, это так, констатировал гений, идеальные сексуальные запросы мужчины большей частью реализуются во сне, тогда как сексуальные запросы женщины могут быть реализованы исключительно в реальности. Женщины в силу своей природы лишены возможности видеть «ликвидные» сны. Поэтому их «неликвидные» сексуальные устремления направлены вовне. Это противоречие губит мир, обрекает человеческую цивилизацию на перманентный дискомфорт.

А еще Альбина-Беба своими глазами читала в институтской многотиражке, что он — единственный из российских специалистов — удостоился приглашения в Сингапур для участия в уникальной операции по разделению взрослых сиамских близнецов-женщин, сросшихся головой. Разделить их, впрочем, не удалось. Точнее удалось, но только затем, чтобы обе они скончались с разницей в пять минут.

Впрочем, все это будет позже.

А тогда в морге она понятия не имела, с каким гением свела ее судьба на железном прозекторском столе. Тогда, помнится, она решительно пресекла его попытку уподобить фонарь фаллоимитатору.

«Думаешь, не влезет? — будто бы даже слегка обиделся гений. — Ошибаешься. Если оттуда вышел наш мир, туда влезет... все что угодно, да хоть рояль вместе с пианистом».

«Или онанистом», — подмигнула ему Альбина-Беба. Ей показалось, что она разгадала тайну хирурга. Он был настолько самоуглублен, что мог получать сексуальное (как и любое другое) удовлетворение только от общения

с... собой. Если, конечно, это можно было назвать тайной. Мир для него, включая Альбину-Бебу, лежащих на железных столах мертвецов и (это в будущем) сиамских близнецов, был расходным материалом, на котором он оттачивал свое мастерство, имея в виду единственную (для всех гениев) награду — продвижение (с возрастающей скоростью) в мир собственного безумия, чтобы (в идеале) это безумие заменило собой мир. Причем желательным не только ему, но всему человечеству.

Неужели, вздохнула А-Б, гениальность — это успешная попытка превратить индивидуальное безумие в массовое? А если попытка не удастся, безумие так и остается безумием? Но ведь простое, без охранной грамоты гениальности безумие наказывается, подумала она, люди боятся и ненавидят своих безумных братьев. Особенно безумных неудачников.

Она оделась.

Хирург лежал, покуривая, на железном столе. Альбине-Бебе показалось, что огромный волосатый мужчина на соседнем столе не то вздохнул, не то застонал. Должно быть, ему до смерти (после смерти) захотелось закурить.

«Остаешься здесь?» — без особого удивления спросила у аспиранта Альбина-Беба.

«Да, хочу сделать одно вскрытие, есть очень интересная патология височной кости. Переночую в морге, — рассеянно ответил он, — я держу здесь комплект постельного белья и одеяло. В обществе мертвых хорошо думается и спокойно спится. Они, видишь ли, светят отраженным светом жизни, как луна отраженным светом солнца. А чем хорош отраженный свет? — задал вопрос

гений и сам же на него ответил: — Тем, что не искажает истину».

Но Альбина-Беба уже закрывала дверь, поэтому, может быть, это только ей послышалось. Тем не менее, выйдя под липы на душную летнюю ночную Пироговскую улицу, она некоторое время размышляла над, может стать, вовсе и не произнесенными словами гения. Получалось, что неискаженная истина об Альбине-Бебе заключалась в том, что она озверело трахалась в морге на железном прозекторском столе с малознакомым и мало-симпатичным человеком, а соседство мертвецов только распаляло ее безумную похоть.

Такая истина совершенно не устраивала Альбину-Бебу.

Она погнала ее прочь, как паршивую собаку с ухороженного и огороженного дачного участка. Но сознание, в отличие от дачного участка, не могло быть огорожено. И нежелательная истина (паршивая собака) затаилась в его невидимых пределах, чтобы в один прекрасный, точнее не прекрасный (А-Б не сомневалась, что он настанет), день явиться на свет Божий во всей своей омерзительной очевидности.

Альбина-Беба постаралась забыть об этом своем случайном партнере. Она всегда забывала о том, о чем (о ком) не хотела помнить.

Но вдруг, спустя какое-то время, ранней осенью встретила (точнее, увидела) аспиранта на залитом закатным солнцем стилобате храма Христа Спасителя. Он стоял на мраморе в совершеннейшем одиночестве, обратив несимпатичное лицо со скошенным подбородком к солнцу. И солнце направленно обливало его остываю-

щим красным огнем, как будто хотело отметить или, напротив, изгнать его, как соринку из своего глаза, вместе с закатной огненной слезой.

Пока Альбина-Беба раздумывала — подойти к нему или нет, он вдруг исчез, как будто растворился в солнце, уплыл одинокой соринкой вместе с закатной огненной слезой, но, скорее всего, просто спустился по ступенькам вниз, где сгущавшиеся синие тени отнимали у солнца власть над миром.

Альбина-Беба вдруг вспомнила, что японские летчики-камикадзе, если им по каким-то причинам не удавалось поразить цель, не выпрыгивали из своих самолетов-торпед с парашютом (такое почему-то не поощрялось), но уходили вверх — в сторону солнца — пока не иссякало горючее и самолет не падал вниз.

Она подумала, что гений-хирург в каком-то смысле тоже камикадзе, летящий навстречу... чему? Она подозревала, что то (навстречу чему он летел) было не то чтобы химически чистым пороком, но каким-то поглощающим порок, как более серьезное преступление поглощает менее серьезное, универсальным (апокалиптическим) знанием. В то же самое время Альбина-Беба уже не подозревала, а доподлинно знала, что в своих интеллектуальных обобщениях и духовных прорывах многие обладатели этого знания, а гений-хирург, несомненно, относился к их числу, поднимаются на высоту, недоступную отмеченным многими достоинствами добродетельным людям. Порок, таким образом, можно было уподобить бритве, вскрывающей суть вещей, сумеречному (как в море) свету, выхватывающему из солнечной тьмы некую страш-

ную истину. Получалось, что «малые сии» черпали представления о добре и зле, учились жизни не у праведников, по определению, а у сроднившихся с пороком обладателей универсального знания. В отличие от обычных людей их краткая несправедливая жизнь представляла тяжелой и вечной, как страшная истина, тогда как относительно длинная и относительно добропорядочная жизнь обычных людей — быстрой и никакой, как смерть.

33

Альбина-Беба не то чтобы очнулась или проснулась — она не теряла сознания и не засыпала, — но как бы вернулась из одного (реального, но «выпаренного» из времени, как соль из раствора) мира в другой — еще более реальный, потому что соль и раствор в нем пока что составляли единое целое. Миры сменяли друг друга, словно она смотрела (А-Б надеялась, что не в тот, в который смотрел в морге гений) в калейдоскоп. Множественную же их совокупность можно было уподобить огромному зашитому мешку. Прямо на глазах Альбины-Бебы его вскрывала неведомая (видимо, скрывающаяся в небе, как в объемном кармане) бритва (она надеялась, что не сумеречная бритва порока), а может, осколок цветного стекла из (она надеялась, что не того) калейдоскопа. Из прорези прямо на голову Альбине-Бебе вываливались разного рода сомнительные истины о ней же, Альбине-Бебе.

Единственно, непонятно было, кто, собственно, размахивает перед ней мешком, крутит перед ее глазами калейдоскоп, и почему ей не отделаться от ощущения некоей глубинной связи между двумя калейдоскопами — где вертелись миры и... того, в который так упорно и пристально смотрел в морге гений-хирург. В каком-то подозрительном они пребывали единстве, эти калейдоскопы. Тот, где складывались и разлетались миры, как будто помещался внутри другого, в который смотрел в морге гений-аспирант.

Альбина-Беба, не обращая более ни малейшего внимания на Осю, влипшего дорогими, с золотыми монограммами ботинками в остановившееся время, как в расплавленный асфальт, на входящих (в) и выходящих (из) туалета мужчин (дикая и неуместная вдруг явилась ей мысль, что для тех, кто сейчас внутри, время материализовалось в виде писсуаров, к которым они прикрепилась посредством гибких — струйных — вожжей), на сигналивший и мигающий фарами «мерседес» (этот хозяином вторгся в остановившееся время, как трубящий ангел Апокалипсиса), вдруг вспомнила, как молодой философ Димитрий Лекалов-Соннов, нежно работая быстрыми гибкими пальцами (не философу, а пианисту пристало иметь такие пальцы) внутри ее калейдоскопа, вскользь заметил, что это — революционный орган.

И вновь Альбина-Беба, как дуновение ветра, ощутила Божественную стихию языка. Физиологический внутренне-внешний орган — да, это бесспорно. Но еще и устремившийся ввысь трубами — железными полыми зубами — торжественный (музыкальный) орган, на ко-

тором (она не могла с этим спорить) иной раз исполнялись очень даже революционные мелодии.

«Революционный орган или орган?» — уточнила она, лениво потянувшись, у Лекалова-Соннова.

«Не имеет значения, — одобрил вопрос философ, — потому что именно там заархивирована вся жизнь, точнее, история женщины. А ты ведь не хуже меня знаешь, — изогнувшись, поцеловал Альбину-Бебу в революционное место, — что не бывает истории без революции».

Альбине-Бебе вдруг сделалось стыдно. Она задала себе вопрос, на который не могла ответить с самого детства: зачем она (когда, как ей кажется, этого никто не замечает) нет-нет да посматривает на... мужские ширинки? Зачем размышляет, домысливая, дорисовывая картину, как там уложен член, а главное, какого он, сердешный, роста-размера?

Ответа не было.

Альбина-Беба подумала, что молодой философ понял все в принципе правильно, но не до конца. Это не просто революционный орган, а орган перманентной революции. Весы, которые всегда при ней, на которых невидимо взвешивается каждый встречный и поперечный мужчина. Альбина-Беба с грустью призналась себе, что это крайне неточные весы, самочинно преобразующие желаемое в действительное, а главное, оскорбляющие и безмерно унижающие действительное, как если бы эта сомнительная функция записана в их, выражаясь современным технологическим языком, «меню».

А-Б вспомнила, как в прошлом году на южном (средиземноморском) побережье Франции (они отдыхали

там всей семьей) она мучила и изводила одного парня, хотя тот совершенно этого не заслуживал.

Скорее даже напротив.

Он был всем хорош: симпатичен, неглуп, учился на экономическом факультете в каком-то французском университете, не был стеснен в средствах, его отец держал в России и, кажется, еще на Ближнем Востоке, сеть мебельных фабрик. Парень был искренне расположен к Альбине-Бебе, выполнял (угадывал) все ее желания и, в общем-то, ей нравился. Разве только она слегка уставала от его неоспоримой логики (с ним невозможно было спорить, потому что он всегда был прав). Уставала от его спокойного мужественного совершенства, как если бы она встретилась с... инопланетянином или каким-то таинственным сверхчеловеком, знающим истину в конечной инстанции, той самой, где она «обжалованию не подлежит».

Это-то и бесило А-Б.

Она считала, что все на свете должно подлежать обжалованию.

Отец говорил с Максимом (так звали парня) о возможности продвинуть свой медицинский бизнес во Францию, и (Альбина-Беба чувствовала), Максим давал ему дельные советы. Отец, помнится, даже предложил ему составить бизнес-план первых мероприятий, сказал, что в расходах можно не стесняться. При этом со значением посмотрел на Альбину-Бебу, но та сделала вид, что не поняла. Хотя, наверное, не так уж и плохо было выйти замуж за этого парня, перевестись учиться во Францию, может быть, даже завести детей, которые будут говорить по-французски лучше, чем по-русски.

Понравился парень и матери, хотя тут, как водится, не обошлось без скандала.

Помнится, они сидели в кафе на площади.

Мать вдруг начала без конца заказывать вино.

Через полчаса она напилась как свинья и взялась похабно приставать к Максиму, бормоча что-то вроде того, что если тот на ней... женится, она обеспечит его до конца жизни, потому что одних нефтяных акций на нее записано на полмиллиарда долларов. Она купит яхту, и они поедут в long-long jorney, во время которого она покажет ему такую любовь... Он даже понятия не имеет, какой может быть любовь в ее исполнении. Да будет ему известно (с алкоголическим румянцем на щеках, блестящими птичьими глазами и трясущимися, тянущимися к Максиму руками мать была омерзительна, как только может быть омерзительна не первой молодости женщина, соблазняющая молодого человека), что... да, эта самая штучка... устроена у нее по-особенному. Вот почему ни один мужчина, который с ней спал, а их было немало, ох, немало, икнув, хихикнула мать, уже никогда ее не забудет. Если он не готов дать ответ прямо сейчас, то можно не спешить. Для начала она готова сделать Максима компаньоном своего мужа, потому что имеет над мужем неограниченную власть. Он выполнит любые ее желания, потому что...

Альбина-Беба вскочила из-за стола, отшвырнула ногой стул. Ну почему, подумала она, программу нейрохирургического исправления женской половины населения России нельзя начать с моей матери?

Переведя взгляд на упавший стул, мать потеряла скверную мысль.

Но та, которую она подобрала, даже не с земли, а... выволокла из преисподней?.. оказалась еще хуже. У меня там... седая серебряная прядь, громким шепотом известила она парня, в форме... монеты. Я хочу, чтобы этой монетой владел только ты, мой милый мальчик!

Альбина-Беба залепила матери оплеуху, но Максим перехватил в воздухе ее руку. Еще и каратист, спортсмен, с ненавистью посмотрела на него А-Б.

Не обращай внимания, сказал он, это поток сознания, она себя не контролирует, надо отвезти ее домой.

Они отвезли ее, плачущую, пытающуюся стащить с себя шорты, на виллу, которую снимали. Отец был там, сидел за столиком у бассейна с бутылкой доброго французского вина. Он догадался, в чем дело, но ничего не сказал. Только посмотрел на парня, как на... товарища по несчастью. Альбину-Бебу, помнится, охватила жгучая, как перец, злость.

«Почему вы все смотрите на нее как на больную, тогда как ей надо элементарно дать по морде?» — спросила она у парня.

«Я думаю, это уже было, — ответил он, подумав, — но, видимо, не принесло нужного результата. Она принадлежит к тем редким женщинам, которых... мужчины любят, как патриоты Родину. То есть не имеет значения, что она делает и как к тебе относится, ты ее просто не можешь не любить, и все».

Вечером окаменевшая от ярости Альбина-Беба поехала с Максимом в дансинг.

Он был в белом льняном костюме, и местные девки так и норовили поддеть его грудями, прилепиться к его

сокрытому в просторных льняных брюках орудию нижним бюстом. Они уже привыкли к тому, что русские красивее, богаче и щедрее французов, но еще не успели привыкнуть к тому, что русские превосходят французов в любви. А потому жаждали доказательств и подтверждений, бросались на Максима со всех сторон.

Он заказывал самое дорогое шампанское и танцевал лучше всех.

Альбина-Беба вдруг вцепилась в какого-то албанца с прической под Элвиса Пресли и лисьим личиком начинающего сутенера. Она целовалась с ним взасос прямо посреди зала, а Максим, с которым она пришла в дансинг, стоял, окаменев, у стойки с двумя фужерами шампанского по пятнадцать евро.

Потом А-Б обхватила албанца за талию и (в издевательской поступи танго) двинулась с ним к выходу, а Максим смотрел на нее и как будто не верил своим глазам.

«Люби меня как Родину!» — крикнула ему Альбина-Беба.

Она почти физически ощущала, как бесконечно ее любит этот странный парень, но уходила с нечистым пропотевшим албанцем... в парк, на пляж, а то и в... туалет, не будет же он специально снимать номер в гостинице, и наслаждение, которое она должна была получить от позорного албанца, находилось в прямой зависимости от страдания, которое она должна была доставить Максиму. Более того, предполагаемое наслаждение только в этом случае и имело смысл. А при любых иных обстоятельствах переставало быть наслаждением. Вот оно как, подумала А-Б, машинально отмечая, что руки албанца ощу-

пывают не столько ее тело, сколько ее матерчатую сумочку, оказывается, удовольствие можно получать не только от любви, но и от ненависти, то есть все равно от тебя (она думала о Максиме), но... без твоего непосредственного (физического) участия.

Она до сих пор не знала, зачем так поступила.

В эту же ночь парень уехал на своем двухместном спортивном «феррари».

Сильные фары пронзили жасминовую, в шуме моря и стрекоте цикад ночь, как чистая воля — грязные реалии жизни. Воля, конечно, их пронзила, но, как догадывалась А-Б, ценой безмерного страдания.

Альбина-Беба лежала в номере, обхватив подушку, и думала, что, если он сейчас вернется, постучит к ней, она бросится к нему на шею, выйдет за него замуж, поселится с ним в Париже или где там он живет, и пусть их дети забудут русский язык, а сама она забудет... Родину.

Но не вернулся, не постучал.

Альбина-Беба поняла, что судьбы людей сугубо штучны. Ей не дано повторить судьбу матери. Максиму — судьбу ее отца. А Родина... всегда остается Родиной.

34

А совсем недавно она продолжила обсуждение этой волнующей темы с молодым философом.

Обычно Димитрий Лекалов-Соннов во время обсуждений чего-либо был многозначен, противоречив и взаи-

монисключающе, как сама стихия знания, которую (теоретически) можно систематизировать, но (практически) нельзя привести к единому знаменателю, причислить под одну гребенку.

Альбина-Беба подумала, что имя и фамилия, а также клички и прозвища молодого философа, как, собственно, и любого другого человека, самоговорящи и, если угодно, саморазоблачающи.

Димитрий.

Имя наводило на мысль о Лжедмитрии, аки тать в нощи, прокравшемся некогда на Русский престол. Так и молодой философ самозванцем (диверсантом) в маскировочном халате по-пластунски, а то и нагло — во весь рост — пробирался в запретные сумеречные зоны знания, в пределы, где ищущая мысль расстреливалась с многочисленных охранных (а может, охотничьих, если допустить, что мысль — птица или зверь) вышек.

Лекалов.

Первая составляющая фамилии свидетельствовала, что по некоему лекалу хотел перекроить мир молодой философ. Альбина-Беба в принципе представляла себе, что это за лекало. Простое как сама жизнь и вовсе не золотое. Но чем отчетливее проступали сквозь туман повседневной суеты очертания лекала, тем тревожнее становилось у нее на душе. Лекало-то, может, было и простое, да только разевало пасть (если у лекала была пасть и если оно само не являлось одной сплошной пастью) на сильно сложный крой. Что-то такое запредельное кроилось из разложенного на столе дорогостоящего суконца, куда ребята лезли со своим примитивным лекалом. А-Б подозревала, что это

платье для короля, ребята же намеревались, в лучшем случае, пустить материал на армяки для народа, в худшем — испортить материал к чертям собачьим, чтобы ничего и никому из него нельзя было сшить, чтобы все остались кто в чем был. Это не могло не тревожить.

Хотя, казалось бы, чем-чем, а тревогой Альбину-Бебу было трудно удивить. И молодой философ любил повторять, что тревога — основополагающий стройматериал реальности. Здания из тревоги, или тревожные здания, полагал он, обладают значительным запасом прочности. Нет ничего более естественного для человека, чем прожить жизнь в состоянии тревоги. Тревога, говорил Лекалов-Соннов, это универсальное состояние между фундаментальностью и пустотой, луч прожектора, направленный в неизвестность, третий глаз, которым человек смотрит в будущее. Тревога — все, перефразировал Бернштейна Лекалов-Соннов, предмет тревоги — ничто. Но Альбина-Беба душой, каковую молодой философ почитал за синтетическую вне- или (над) умственную антенну, реагирующую на хаотично носящиеся в земной атмосфере импульсы истины, доброты, справедливости и жалости, ощущала, что тревога — это разлитая поверх жизни пленка смерти. А-Б и ребята подобно рыбам взлетели в воздух, пробив пленку, но вновь воссоединиться с водой (жизнью) она им не позволяла. Вдоль и впереди по курсу пространства рыбьего их полета пленка приобрела крепость мембраны, разделяющей мир жизни и мир смерти.

«Знаешь, на что я обратила внимание, — заметила как-то А-Б молодому философу, задумчиво читающему старинную книгу под названием «Русская Смута», — что

лезвия топоров, — показала на свирепо выставившегося на них с гравюры стрельца, — удивительно напоминает по форме... классическое лекало».

«Ну да, — растерянно пробормотал Лекалов-Соннов, — это именно те лекала, по которым кроится история. Вот только формы у них меняются. Сейчас они могут быть в виде гриба, невидимого вируса, а то и... чего-то такого, что и в микроскоп-то не рассмотреть».

Соннов.

Альбина-Беба подозревала, что сны — это второе по важности универсальное лекало, по которому кроится человеческая жизнь. Не зря гений-хирург говорил о «ликвидных» (мужских) и неликвидных (женских) снах, разрывающих ткань мироздания подобно гнилому занавесу в дрянном театришке.

Молодой философ учил А-Б определять в толпе «людей сна». Почему-то у них были длинные носы и как бы существующие отдельно от мира глаза, не то чтобы грустные, но удивительно спокойные. Эти люди одновременно бодрствовали и спали — в метро, в толпе на улице, на скамейке за книгой и даже за рулем машины. Лекалов-Соннов объяснил Альбине-Бебе, что это мерное спокойствие людей, утоляющих голод.

Вот как, удивилась она, значит, во сне они... едят?

Нет, ответил молодой философ, они утоляют иной, так сказать, метафизический голод. Осуществляют трансферт образов реального мира в бюджет сна.

А что значит, мерное? — спросила А-Б.

Мерное, объяснил Лекалов-Соннов, значит предопределенное свыше. Так драконы пожирали алмазы,

чтобы из пасти вылетало пламя. Так гоблины меняли золото на кедровые орехи, потому что у них встает только тогда, когда они нажираются этих самых орехов, а без орехов они не трахали своих гоблинш. Мерный обмен от слова «мера», уточнил Лекалов-Соннов. Но истинное значение слова «мера» — жизнь.

Альбина-Беба подумала, что молодой философ спятил.

Но в этот самый момент (дело происходило в метро) молодой человек с длинным носом и чистыми неподвижными глазами идиота тронул рукой серебряную серьгу в ее ухе.

Альбина-Беба в недоумении отшатнулась.

Молодой человек приветливо, но без теплоты, ей улыбнулся: «Извините, задумался».

«Теперь ты понял?» — спросил Лекалов-Соннов, — твоя серьга в бюджете его сна. Вполне возможно, она вскоре вернется оттуда обратным трансфертом (Лекалов-Соннов не иначе как готовился к зачету по экономике) в реальный мир в виде идеи или концепции, а может... какого-нибудь дикого поступка. Все может быть. Логичная конвертация между двумя мирами отсутствует. Каждый турист меняет там деньги по своему собственному — мерному — курсу».

«А топоры и лекала, — вдруг спросила, хотя и не собиралась, Альбина-Беба, — по какому курсу там идут топоры и лекала, точнее, лекала-топоры, или топоры-лекала?»

«Тебе лучше этого не знать, девочка», — вдруг серьезно и совершенно спокойно произнес молодой философ.

Альбина-Беба с изумлением увидела, что коротенький его (как у кота) нос определенно удлинился, а глаза

заледевели, как если бы молодому философу в данный момент снилась Антарктида. Или он утолял (метафизический, бюджетный?) голод... снегом и льдом.

«Ты хочешь сказать, — гордо вскинула голову Альбина-Беба, — что нам пришла пора расстаться?»

«Рано или поздно это случится, — так же серьезно и спокойно ответил Лекалов-Соннов, — хотя лично для меня это будет трагедия. Видишь ли, — ласково (уже не как «человек сна») приобнял Альбину-Бебу за пружинную талию, — к п... — пожалуй, впервые за все время их знакомства он полнозвучно произнес живое, как человеческая цивилизация, слово, — привыкаешь как... к Родине».

35

Альбине-Бебе вдруг явилась в голову совершенно идиотская мысль, что один раз в жизни каждую женщину обязательно посещает (не может не посетить) Бог. И что ее, Альбину-Бебу Он уже посетил в образе того парня в Ницце, а она его оскорбила, как только может оскорбить мужчину женщина.

Максим умчался от нее в ночь на двухместном «феррари», вонзив на прощание белые стрелы фар в цветущие кусты у изгороди виллы, как если бы они были злым сердцем Альбины-Бебы. Но до сих пор, когда она бывала с другими мужчинами, А-Б ощущала на себе (как белый свет фар сквозь цветущие кусты) проходящий сквозь этих мужчин чей-то (его или не его?) даже не скорбно со-

жалеющий, но озадаченно прощающий, точнее бессильно понимающий взгляд. Ибо она отказала ему в том, что было записано за ней по праву рождения (первородного греха) и чем распоряжаться (вне логики, выгоды и просто здравого смысла) было даровано ей Им самим, создавшим ее женщиной. Если, конечно, у Него не было важнее дела, чем смотреть на предающуюся блуду А-Б.

Она не знала наверняка, какое именно испытывает чувство (будто бы) наблюдающий за ней Максим. Если его и можно было определить как ревность, то специфическую — с сильнейшей примесью неизбывной печали. Причем не к этим, сменяющим друг друга случайным и неслучайным мужчинам, а к срединному принципу Божьего мира, согласно которому человек в назначенное время обязательно встречается с Господом своим и обязательно же... предает Его, отступает от Него, отвергает Его. Чтобы затем, предав в главном, раскаяться и (это в лучшем случае) неприкаянно слоняться по периферии Его промысла, памятуя о том, что Он всегда (точнее, когда наступит время) простит.

В этой связи у Альбины-Бебы хватало наглости считать, что ее грех в Ницце — не грех вовсе и что (это вообще выходило за всякие рамки) они еще встретятся. В назначенный час она выйдет ночью на балкон виллы и увидит мощный свет фар двухместного «феррари», пронзающий цветущие кусты. Она легко сбежит вниз, сядет в машину, и они помчатся вниз по серпантину в сторону моря или вверх — на вершину размеченной огоньками горы. Маршрут в принципе не будет иметь никакого значения. Единственное (всеобъемлющее) значение

будет иметь только то, что она рядом с ним и что ее ему верность окончательна, непреложна и (до смерти) постоянна, какой только может быть верность, прошедшая через неверность, предательство и изначальное (природное) человеческое несовершенство.

Вот почему Альбина-Беба была в любой момент готова расстаться с любым (и) своим (и) мужчиной (ами). И даже милые ее сердцу Сон и Хвост не были здесь исключением. Они это чувствовали, а потому, когда ветер предстоящего расставания наполнял парус семейного кораблика, они бросались на мачту, чехлили парус.

«Прости,— спохватился Сон,— я не хотел тебя обидеть».

«Не готов эмигрировать с Родины?» — усмехнулась Альбина-Беба.

«Эмиграция с Родины для меня — смерть,— склонил повинную голову молодой философ.— Помнишь, когда Одиссей вызвал Ахиллеса из царства мертвых, тот сказал, что лучше быть последним пастухом среди живых, чем царем среди мертвых. Так и я,— обнял Альбину-Бебу,— предпочту быть бомжом на моей Родине, чем профессором права в эмиграции».

«А вот для меня,— надменно посмотрела на Лекалова-Соннова, объединив в его лице весь род мужской, Альбина-Беба,— вы — не Родина. Я вам не принадлежу. То есть иногда, конечно, принадлежу, но не вся. Вся никогда».

«Ну да,— не стал спорить Димитрий,— это комплекс флоберовской Саламбо. Она хотела стать невестой Бога. Ты думаешь, что твоя Родина там,— указал паль-

цем в небо,— или здесь,— постучал Альбину-Бебу пальцем по темени.— Ты думаешь, что уже не принадлежишь нам, но еще не принадлежишь и ему. Я допускаю,— понизил голос,— что ты чувствуешь его в своих снах, видишь золотую щетину на его щеках, напряг в его штанах или в чем там он ходит в твоих снах, упиваешься сладкой скорбью в его взгляде. Но ты совершаешь довольно распространенную ошибку, смешивая сознание и...— медленно опустил взгляд сначала на теснимую грудями футболку, а потом ниже, на голубые джинсы Альбины-Бебы, рельефно натянутые на бедра, как знамя на сильный ветер,— физиологическую Родину. Впрочем,— задумчиво посмотрел вдаль, где золотые купола недавно отреставрированного храма (ничего не поделаешь, воображение беззаконно) тоже победительно натягивали на себя голубую футболку неба,— это весьма распространенная женская ошибка. Что ты будешь делать,— рассмеялся Лекалов-Соннов,— когда тебе стукнет пятьдесят и все то, что ты собираешься ему предложить сейчас, потеряет свежесть, упругость, натяг, привлекательность, прелесть и так далее? Чтобы избавиться от иллюзий,— посоветовал молодой философ,— сходи-ка ты, милая, в общественную женскую баню».

«Зачем?» — по инерции спросила Альбина-Беба. Ей вдруг сделалось грустно, как и всегда, когда кто-то открывал ей глаза на то, что она в упор не видела, точнее не хотела видеть.

«Ты увидишь обобщенный образ женского тела,— не отказал себе в удовольствии разъяснить Лекалов-Соннов,— такую большую энциклопедию со всеми страница-

ми и доведенным до логического завершения сюжетом. Конечно,— продолжил Димитрий,— я допускаю, что иллюстрации в первых главах симпатичнее, нежели в последующих, но тот, кого ты намерена нам предпочесть, лишен возможности выбирать. Он обречен читать эту книгу сразу, от и до, во всей ее полноте, не пропуская ни единой буквы. То есть,— безжалостно завершил молодой философ,— он видит тебя не так, как видишь себя ты. Не восемнадцатилетней спортивной шалуньей, а с поправкой на время и пространство. Вот почему в вашем гипотетическом романе речь может идти не о преходящей красоте тела, но исключительно о вечной красоте души. А здесь я,— посмотрел ей прямо в глаза,— тебе не помеха. Здесь,— добавил после паузы,— тебе вообще никто не помеха. Естественно, кроме тебя самой».

«Ты точно не помеха»,— подтвердила Альбина-Беба. Ей одновременно понравилось и не понравилось, что Димитрий Лекалов-Соннов вынес за скобки Виталия Хвостова. Понравилось, потому что Альбина-Беба высоко себя ценила и полагала совершенно естественным (и даже необходимым), что все мужчины должны в нее влюбляться. Не понравилось, потому что компьютерщик нравился ей больше философа. Но Сон, как ящерица, отбросил Хвост.

«Но тебе,— не отвел взгляда философ,— рано или поздно придется выбирать».

«Я знаю,— ответила Альбина-Беба,— что основная иллюзия жизни заключается в том, что человек думает, что именно он-то как раз и есть единственное исключение из правил. У всех будет как у всех, а у него не как у всех.

Всех сократят на службе, а его оставят. Всех застрелят, если угодил в заложники, а его отпустят. Все помрут, а он будет жить, пока самому не надоест. Я знаю, ты считаешь, что исключений из правил не существует. Но они существуют. В моем сознании и в моей душе».

«Значит, ты всего лишь пытаешься заменить одну неизбывную тоску другой», — сказал Димитрий.

«Как это?» — не поняла Альбина-Беба.

«Тоску больших чисел, — пояснил он, — на тоску исполнения желаний. Неужели ты не понимаешь, что тоска от осознания того, что ты как все, в сущности, равновелика тоске от осознания того, что ты единственная в своем роде? Это закрытая таблица. Из нее нет выхода».

«Меняю тоску больших чисел, — уточнила Альбина-Беба, — на тоску единственного числа. На том стою и не могу иначе. Золотой принцип риэлтора», — подмигнула молодому философу.

«Или девичья мания величия, — поморщился Лекалов-Соннов, — неуместная абсолютизация истекающей телесной красоты. Знаешь, почему эти античные девчонки давали каждому встречному и поперечному на ступенях храмов? Они надеялись, что их посетит бог, и, если ему понравится, он оставит их вечно молодыми. Я думал, что ты умнее».

«Не надо думать, — надменно возразила Альбина-Беба. — Откуда ты знаешь, может быть, я не укладываюсь в твою метрическую систему и мне тесна твоя закрытая таблица? Вдруг ты измеряешь линейкой скорость света, или рубишь саблей... воду? Но прежде чем мы расстанемся, — мстительно продолжила она, — скажи мне,

что будет после смерти. Ты не поверишь, — горестно (как склонная в подпитии к примитивному философствованию шлюха) усмехнулась она, — но в канун расставания я обычно задаю этот вопрос своим ребятам».

«И они отвечают?» — поинтересовался молодой философ.

«Некоторые, — ответила Альбина-Беба, — хотя далеко не у всех есть оригинальные мысли на сей счет».

«Ну да, — задумчиво проговорил Лекалов-Соннов, — скажи мне, что будет после смерти, и я тебе скажу кто ты. Но ты, наверное, не удовлетворишься таким ответом: мне доподлинно известно, что после смерти я не смогу тебя трахать».

«Неправильный ответ, — рассмеялась Альбина-Беба. — Теоретически — после моей смерти — это возможно. Если тело будет в относительной сохранности, а у тебя случится приступ некрофилии».

«Но я имею в виду свою смерть», — с неожиданной тоской произнес Лекалов-Соннов.

Он, помнится, даже остановился, вцепившись побелевшими пальцами в коляску, и посмотрел на Альбину-Бебу так, как будто час его смерти уже пробил и только в ее власти было этот час отсрочить.

«Тогда давай это сделаем немедленно, — пожалела молодого философа Альбина-Беба. — Пока мы живы. Как только вернемся домой. Это уже другой античный комплекс. Эрос и Танатос в одном флаконе, — не удержавшись, съехидничала она. — Я тоже думала, что ты умнее».

Альбина-Беба заметила, что они незаметно и согласованно ускорили шаг, словно их ноги одобрили ее пред-

ложение. Альбина-Беба подумала, что ноги (особенно если вспомнить, что находится между ними) иногда мыслят более решительно и конкретно, нежели головы.

«Мне кажется,— продолжил Димитрий,— каждый человек сам определяет, что с ним будет после смерти. Сознание ищет свое продолжение, как правило, на путях познания, реже — добродетели или порока. Кто-то хочет постигнуть историю человечества, пройти весь путь от начала до конца. Кто-то понять устройство Вселенной. Кто-то — заново и безошибочно прожить жизнь. Кто-то — сосредоточиться на делах, которые не успел закончить при жизни, допустить, дописать поэму или сделать научное открытие. Есть люди, которые хотят конкретно блаженствовать в раю. Другие хотят мучиться и одновременно мучить других в аду. Дело в том, что страдание,— пояснил молодой философ,— это один из достаточно распространенных способов познания мира. Вот только,— добавил задумчиво,— конечный результат все равно не меняется. Он всегда один и тот же, как бы кто к нему ни шел. А потому,— строго посмотрел на притихшую Альбину-Бебу,— Бог не обязан вознаграждать ни за добродетель, ни за страдание. В мире немало людей, которым элементарно нравится страдать. Как, впрочем, и жить в относительной добродетели. В сущности, рай и ад — это всего лишь продолжение, точнее творческое развитие того, что происходит в сознании человека».

«Стало быть, каждому воздается по... потребностям?»

«Смертью,— мрачно уточнил Лекалов-Соннов,— каждому за все и про все воздается смертью, независимо от способностей, потребностей и проделанного труда».

Альбина-Беба вспомнила, что говорила на эту тему с гением-хирургом, когда тот вдруг ни с того ни с сего позвонил ей на дачу среди ночи. Она уже успела забыть об аспиранте, растворившемся в закатном солнце на стилобате храма Христа Спасителя, но он, бесследно растворившийся в солнечном свете, неожиданно выпал в осадок в лунном.

Альбине-Бебе не спалось.

Она сидела у окна и смотрела в ночное небо. По нему с непонятной (при очевидном безветрии) быстротой перемещались рваные (серебряные в лунном свете) облака, отчего каким-то тревожным, кованым казалось небо, а вместе с ним и вся окружающая (собственная не исключение) жизнь. Как-то она не так выковывалась. Если уподобить кованое небо щиту, то пронзительно-дырявым был щит. Сквозь него, как стрелы, летели серебряные клочья облаков, поражая душу А-Б неизбывной (девичьей?) тоской.

Гений предложил Альбине-Бебе ни больше ни меньше, как... немедленно (завтра) выйти за него замуж.

«Вот как? — удивилась Альбина-Беба. — А... зачем?»

Проблема замужества периодически (как парус одинокий) возникала на ее горизонте, но пока она не видела себя чьей-либо женой. А-Б живо припомнила скошенный птичий подбородок гения, его блестящие и круглые птичьи же глаза, сальные, опять же напоминающие перья, волосы, длинный и тонкий, пластилиновый (неужели то-

же птичий?) член, и ей захотелось немедленно прогнать эту неопрятную, нечистую птицу из доступного ее мысленному взгляду пространства. Она подумала, что скорее согласилась бы стать женой того огромного волосатого мужика, солидно успокоившегося на соседнем железном столе, чем женой отнюдь не успокоившегося (зачем звонит?) гениального хирурга, зачем-то светившего ей фонариком туда, куда нормальные (не гинекологи) мужики обычно бабам не светят.

«Да пора мне жениться, время не ждет, — честно объяснил, зачем, аспирант. Хотя, кажется, он к тому времени уже успел досрочно окончить аспирантуру. Во всяком случае, больше он не разменивался на такие мелочи, как ведение у студентов практических занятий по анатомии. — Во-первых, устал ходить по блядам. Во-вторых, мне предложили кафедру в Medical Science Research Centre в Бостоне. Я бы мог тебя туда перевести. Ты бы училась, получала зарплату как мой ассистент, а заодно вела хозяйство. С green-card нет вопросов. Платить обещают прилично. У них там хорошая техника, системный подход к трансплантологии мозга. У нас же этим почти не занимаются. Только примитивной пересадкой органов. А главное-то мозг. Оттуда поступает команда на разрушение того или иного внутреннего органа, запускается программа самоуничтожения организма. Но ведь может поступить и команда на восстановление этого самого органа, отмену программы самоуничтожения. На исследование этого дела денег у нас, естественно, никто не дает. Зачем? Проще поймать на улице человека да и вырвать у него печень. Хотя твой отец приглашает к себе, обеща-

ет дать лабораторию. Но он сам себе не хозяин, ходит под криминалом. И потом, сильно завязан с властью. Если не выложит им на блюдечке *neverending life*, они его закроют и заркоут. Знаешь, — как со старой боевой подружкой поделился гений с А-Б информацией интимно-этнографического характера, — из всех баб я больше всего люблю русских. А из всех русских баб — тебя».

«Чем я заслужила такую честь?» — взгляд Альбины-Бебы случайно упал на часы. Было семнадцать минут третьего. Самое время узнать, почему я первенствую среди всех русских баб, подумала она.

«У нас тобой общее прошлое, — ответил гений. — Может быть, его было не так много во времени, — развил мысль дальше, — но все непреложное кратко. Молния бьет в дерево ровно мгновение, а дерево валится или потом стоит обугленным годы. В нас с тобой ударила молния. Наши сущности соединились, точнее, спеклись, как две частицы в ядерном синтезе. Ты, конечно, об этом не думала, но это так. Нам с тобой уже не разойтись».

«Как сиамским близнецам?»

Альбина-Беба вспомнила, что гений принимал участие в операции по их разделению. Кажется, их даже было несколько, этих операций. После одной сиамские близнецы умерли. После второй выжил один. А третья была самая успешная, оба разделенных близнеца — два сорокалетних ста-пятидесятикилограммовых африканца с одним на двоих мужским хозяйством уцелели. Интересно, подумала А-Б, что кому досталось? Каждому по яйцу и тонкому члену? Или одному яйца, а другому пустой член?

«Мы связаны крепче, — сказал гений. — Сиамских близнецов соединяет патология, нас соединил... Бог».

Альбина-Беба подумала, что Бог как-то странно соединил их — в морге на железном прозекторском столе при мертвых под простынями свидетелях. Только ноги у свидетелей были наружу, как если бы им предстоял путь... куда? Явно не на свадьбу предполагаемых молодоженов.

Туда, куда отправились свидетели, ногами не ходят.

Альбина-Беба не собиралась обсуждать свое общее прошлое с гением-хирургом. Она относилась к этому прошлому, как к позорному эпизоду. О нем следовало забыть. А если и вспоминать изредка, то только в (само) воспитательных целях.

Сомневалась она и относительно соединения их сущностей. Они, подумала А-Б, соединились не в ядерном синтезе, а в направленном ультрафиолетовом свете. Такое соединение вряд ли можно считать корректным и долговечным. Но что-то между ней и гением-хирургом определенно имело место, если она разговаривала с ним по телефону ночью, в то время как лунный молот выковывал в небе из серебряных облаков разнообразные предметы. То подобие готического, со шпильями, собора, то лохматую меховую ушанку, то какое-то надменное лицо с презрительно кривящимися тонкими губами, но без малейших признаков ушей. Станные эти вещи стремительно и направленно летели неизвестно куда при полнейшем безветрии, о чем свидетельствовали недвижные кроны черных в ночи деревьев.

Альбине-Бебе открылось тождество между двумя видами света — лунного, в котором в данный момент

рождались летящие серебряные предметы, и ультрафиолетового из фонарика, в котором некогда родилось мнимое ее с аспирантом единство. Я же не пытаюсь натянуть на голову эту... ушанку, проводила А-Б взглядом улетающее ночное облако, почему же он решил уподобить свет фонарика солнцу?

Она сказала гению, что их общее прошлое не имеет шансов развиваться в перспективное будущее. Из крокодильего яйца вряд ли вылупится птица Феникс, Сирий или Алканост. Кстати, заинтересовалась А-Б, что за птица, чем она занимается и куда летает?

Некоторое время гений молчал, из чего Альбина-Беба заключила, что он не силен в сказаниях и мифах.

«Это сумасшедшая птица-алкоголик, — наконец, ответил он, — она живет в глухом лесу у спиртовой реки. А летает всегда строго на восток».

Альбина-Беба поняла, что аспирант непросто и (по отношению к собственному незнанию) разнузданно победителен, как, собственно, и надлежит гению.

Она немедленно вспомнила про мать, улетевшую отдышаться в Эмираты.

Альбина-Беба поехала ее провожать, и, когда они прощались в Шереметьеве, она обратила внимание, как сильно и непобедимо пахнет от матери... спиртом. Именно живейшим спиртом, а не благородным коньяком Hennessy, рюмку которого она выпила «на дорожку» в аэропортовском кафе. Как будто она только что (если допустить, что птица Алканост действует как баклан) вынырнула на свет Божий из... спиртовой реки и (здесь гений не ошибся) устремилась строго на восток.

«Будущее не должно тебя волновать,— между тем продолжил хирург.— В принципе, его не существует. Существует непрожитое. Оно, собственно, и есть будущее. Это непрожитое торчит из нас как... антенны, принимающие сигналы из других миров».

Ну, твоя-то антенна скорее болтается, чем торчит, подумала Альбина-Беба. А еще она подумала, что наряду с непрожитым существует «нетрахнутое», которое воспринимается острее и конкретнее, нежели гипотетическое непрожитое. А может, подумала она, «нетрахнутое» входит составной частью в непрожитое?

«Ты хочешь сказать,— уточнила она,— что мы с тобой что-то не довели до конца?»

Хотя, мгновенно припомнила она (точнее, великий и могучий русский язык припомнил за нее), мы довели до твоего не сильно твердого конца все, что было возможно и даже больше.

Может быть, он хочет трахнуть меня на кладбище, в крематории, или в музее восковых фигур? — подумала Альбина-Беба. Наверное, это романтично, но почему я должна выходить за него замуж?

«Видишь ли,— снисходительно объяснил аспирант,— если мы с тобой что-то и не довели до конца, то это... ты да я, да мы с тобой. Далеко не все из прошлого можно обозначить как непрожитое. Но то, что можно — неотвратно. Оно обречено на продолжение, и в данном случае я выступаю всего лишь в роли статиста судьбы, если угодно, статиста непрожитого. Собственно,— продолжил он не вполне понятную Альбине-Бебе мысль,— neverending, но everlasting погоня за непрожитым».

тым и есть жизнь. Есть люди, которые слышат ультразвук. Есть — которые видят магнитные поля. А вот я ощущаю непрожитое. Я делаю тебе предложение не потому, что ты прекрасная дама, ты дама далеко не прекрасная, — нагло заявил гений, — а потому что мне так диктует твое непрожитое. Каким-то образом оно взаимодействует с моим. Решай сама. Мое непрожитое, — ухмыльнулся он, и Альбина-Беба вдруг увидела, хотя это было невозможно, прямо перед собой его блестящие круглые птичьи немигающие глаза, — объемнее твоего, в смысле протяженнее во времени. И потом имей в виду, что иногда непрожитое оказывается сильнее прожитого, точнее проживаемого, и если у него нет возможности переформатировать реальность, заместить проживаемое, оно попросту ликвидирует объект, так сказать, возвращает его в океан первичного смысла».

Это точно, мысленно согласилась А-Б, если бы я была мужчиной и у меня было такое длинное тонкое и сложно встающее непрожитое, я бы... не выходила из морга.

«Но у тебя есть шанс, — продолжил гений. — Твое обреченное непрожитое имеет шанс продлиться в моем. Все просто, — закончил он непонятную мысль. — Хочешь жить — выходи за меня замуж».

«Значит, если я не выйду за тебя замуж, — поинтересовалась Альбина-Беба, — со мной что-то случится? Ладно, долой эвфемизмы, я умру. Так мне надо тебя понимать?»

«Понимай, как хочешь, — зевнул гений, — от твоего понимания или непонимания, в принципе, ничего не зависит».

«Но почему я сама тогда ничего не чувствую?» — разозлилась Альбина-Беба. Она едва сдерживалась, чтобы не послать куда подальше любителя экстремальных — на железных прозекторских столах — совокуплений. — Со-гласись, это должно волновать меня больше, чем тебя?»

Некоторое время хирург молчал, собираясь с мыслями.

«Ты хочешь ясности в вопросе, где ее не может быть по определению, — произнес он неожиданно скучным, как если бы объяснял студентам основные принципы трепанации черепа (сколько дырок сверлить, как подпиливать и снимать верхнюю крышку и так далее) голосом. — В мозгу есть участок, — продолжил он, — отвечающий, как мне представляется, за смерть. Его можно уподобить вмонтированной в компьютер заводом-изготовителем плате. Там определенно закодирована какая-то информация. Я принимал участие в четырехстах двадцати девяти нейрохирургических операциях и всегда наблюдал за этим периферийным фрагментом головного мозга, который медицинская наука считает второстепенным и не связанным с нервной деятельностью. Есть даже такое определение “аппендикс головного мозга”. Так вот, — продолжил гений, — я обратил внимание, что незадолго до смерти пациента этот участок вдруг становится девственно гладким. Он как бы разглаживается, с него как будто ластиком стирается какая-то информация. Считается, что это происходит от падения внутричерепного давления, но это не так. Это означает, что человек умрет. Более того, — понизил голос гений, — по тому, как выглядит этот участок — полностью он разгладился или нет, я могу судить о том, успешно ли идет операция, о шансах пациен-

та выжить. То же самое происходит и с тобой, — предположил он. — Ты ничего не чувствуешь, потому что там... все уже стерто. Чувства и ощущения, какими человек отслеживает смерть, у тебя уже отключены. Я точно знаю. Я вижу это сквозь твой череп».

«Вся власть — Совету черепастых!», вспомнила Альбина-Беба лозунг сатанистов, украшающий стены домов, лифты, афиши, асфальт под ногами, бетонные тела мостов, туннелей и транспортных развязок. Если раньше лозунг закрашивали или соскабливали, то теперь он торжествовал практически повсеместно. Его, лозунга, было так много, что, казалось, население, в принципе, смирилось с неотвратимостью правления Совета черепастых.

«Допустим, — устало согласилась А-Б. Она уже поняла, что все это не словесная игра, что за всем этим что-то определенно кроется. В смысле одновременно скрывается (прячется), выкраивается (как саван?) и покрывает (поглощает) происходящее своим господствующим смыслом. Она догадалась, почему язык издевается над мыслью. Потому что язык — от Бога, а мысль... от кого? — Но при чем здесь ты со своим на хрен мне ненужным Бостоном?» — спросила она.

«Честно говоря, я сам не знаю, — вдруг рассмеялся гений. — Мир изменчив и беззаконен, но две вещи все же присутствуют в нем постоянно, а именно — свободный выбор и последний шанс. Если уподобить судьбу машине, а человека водителю, то это педали сцепления и тормоза. Ты выбираешь скорость и направление, но можешь и затормозить, развернуться, куда-нибудь свернуть.

Трудно понять,— продолжил он,— кому, зачем и по какому принципу предоставляется этот самый последний шанс. Но иногда предоставляется. Твой последний шанс — я. А может,— неуместно засмеялся опять, и Альбина-Беба подумала, что не только мифическая птица Алканост, но и гении-нейрохирурги крутятся вокруг спиртовой реки,— я просто в тебя влюбился?»

«Ты говоришь про мою жизнь, которая висит на волоске,— ответила Альбина-Беба.— Расскажи про смерть, которая щелкает ножницами вблизи этого несчастного волоска. Что случится, если я приму твое предложение? Смерть ослепнет? Или волосок превратится в канат?»

«Этот волосок — твоя душа.— Альбине-Бебе показалось, что хирург даже обрадовался ее вопросу.— Смерть не может ослепнуть. Но ты можешь на мгновение оказаться вне зоны ее видимости, в слепом пятне ее зрачка, и ножницы щелкнут вхолостую. Собственно, это и есть последний шанс. Что-то, стало быть, в тебе есть, раз он тебе предоставляется. Не очень существенное,— уточнил после паузы,— если тебе самой доверено решать, но есть. А вообще-то,— зевнул,— можно рассматривать происходящее всего лишь как возможную отсрочку от призыва в армию мертвых. Дело в том, что после смерти непрожитое неотвратимо, с непреложностью математического закона материализуется. Поэтому,— продолжил гений,— в сущности, не имеет значения, примешь ты мое предложение или нет. Вопрос стоит так: или мы проживем наше непрожитое сейчас, при жизни, или же потом — после смерти. Честно гово-

ря, я не вижу большой разницы. Я исхожу из известной народной мудрости: зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Или — в нашем случае — зачем откладывать на после смерти то, что можно сделать при жизни?»

«А как быть, — поинтересовалась Альбина-Беба, — с тем непрожитым, которое у меня, так сказать, не состоялось с другими людьми?»

Почему-то перед глазами у нее возникла белая борода писателя Иванова. Альбина-Беба подумала, что белая борода — это что-то вроде штрих-кода смерти, который мужчина победительно носит на своем лице. Белая борода сродни красной рубашке жениха, если, конечно, допустить, что смерть — невеста. А еще она подумала, что выпивающий каждый день семьсот пятьдесят граммов виски (он сам ей признался) Иванов не боится невесты, хоть сейчас готов к призыву в армию мертвых и что их непрожитое, если его каким-то образом материализовать в реальность, вряд ли доставит ей радость. А-Б вдруг почувствовала, как жесткая белая борода колет ей щеки, шею и грудь. Она чуть не потеряла сознание от запаха смешанного с нечистым дыханием виски.

«Это не имеет значения, — не без грусти ответил гений, и Альбина-Беба поняла, что сейчас он мысленно измеряет пространства ее непрожитого с другими и, видимо (ничего не поделаешь, таковы все мужчины), искренне огорчается обширности этих пространств. — Чем человек при жизни отличается от человека после смерти?» — спросил гений, и сам же ответил: — При жизни человек, если уподобить его музыканту, играет на

одном-единственном музыкальном инструменте одну-единственную пьесу. Но после смерти он уподобляется целому оркестру, то есть играет сразу на всех инструментах сразу всю музыку. И ему не тесно в океане звука, потому что он слышит все. Я понимаю, — добавил гений, — вообразить это себе достаточно сложно, примерно так же, как младенцу в утробе матери вообразить, допустим... операцию по искоренению взяточничества и воровства на таможне, — привел он, как показалось Альбине-Бебе, весьма странный пример. — Но ты, — наконец-то перешел к сути, — как я понимаю, не очень хочешь выходить за меня замуж?»

«Нет, — твердо ответила Альбина-Беба. — Боюсь, я не расслышу нашу мелодию в океане звука, а воровство и взяточничество на таможне неискоренимы. — Она подумала, что лучше лежать в гробу, быть верной женой земли, воровать и брать взятки на таможне, чем выйти замуж за этого парня, копающегося сверкающими под операционными лампами хирургическими инструментами в чужих, пульсирующих под снятой крышкой черепа мозгах. — Но ты так и не объяснил мне, — сказала она, — что происходит с человеком после смерти? Если твое объяснение мне понравится, — добавила издевательски, — может быть, я подумаю над твоим предложением».

Некоторое время гений молчал, видимо, изумленный ее наглостью. Но гении, в особенности нейрохирурги — особенные люди, предсказать их мысли невозможно. Как, вероятно, и конечные результаты операций, которые они делают.

«Я люблю тебя бесконечно,— вдруг произнес хирург.— Моя любовь к тебе по ту сторону обыденных чувств. Я предлагаю тебе себя плюс жизнь, но ты уходишь в смерть минус меня, потому что я тебе противен и ты не желаешь пачкать об меня свой белоснежный подол. Ты не хочешь, чтобы я незаконно придержал тебя в этой жизни, как... контрабанду на таможене. Это высшая и... последняя стадия самооценки. Честность, которая не снилась таможенникам. Ты... богиня таможни! — вдруг ошарашил Альбину-Бебу безумным сравнением. Наверное, успела подумать она, на таможене затормозили какие-то его хирургические инструменты или аппаратуру.— В твоих прохладных чреслах, как в лебединых компьютерах, заархивированы кубометры страсти. Волосы у тебя между ног — сахарный тростник, источающий ром. Хотя, если мне не изменяет память, ты там бреешь, но все равно! Груды твои — сферы мироздания. Сосцы — стрелы, вылетающие из рая. Стан — лебедь, уносящий в небо мою грешную душу», — аспирант заговорил как царь Соломон в «Песне песней».

Может, он это... онанирует? — подумала Альбина-Беба.

Происходящее подозрительно напоминало ей секс по телефону.

Утратившая голос Ильябоя развлекалась сочинением сценариев для так называемых телефонных секс-линий и эротических спектаклей. А раньше (до утраты голоса), как она призналась А-Б, сама несла абонентам похабную околесицу. Пока А-Б занималась ребенком, Ильябоя ухитрилась вовлечь в недостойное сочинительство фило-

софа и компьютерщика. Общими усилиями они набросали синопсис «народного секс-сериала» под рабочим названием «Донор спермы».

Альбина-Беба принципиально отказалась войти в авторский коллектив, но, проходя мимо в жеребьячем восторге колотящих по клавиатуре друзей, все же невольно скашивала глаза на дисплей.

«У министра культуры встал в пять утра».

«Гера нехотя распечатал пальцами склеившуюся за ночь, как конверт, пизду Ирины, но потом ему расхотелось по седьмому разу перечитывать ее хлюпающее письмо».

Альбина-Беба, впрочем, сомневалась, что «Донор спермы» затмит победительно шествующие по театрам и экранам знаменитые «Монологи вагины». Несколько большие шансы на успех имел другой проект Ильабои — «Анальные хроники». Впрочем, Альбина-Беба не считала себя специалистом в сложном и изменчивом эротическом шоу-бизнесе.

«Хорошо, — прервал тем временем «Песнь песней» гений. — Так и быть, я расскажу тебе, что происходит после смерти. Ты действительно хочешь услышать?»

«Неужели ты готов открыть мне военную тайну нейрохирурга, а может, гинеколога?» — усмехнулась Альбина-Беба.

«Это действительно тайна, — не отреагировал на ее иронию гений, — но ее знание не сделает тебя счастливой».

«Почему же?» — вежливо полюбопытствовала Альбина-Беба.

Она вдруг подумала, что, пожалуй, тоже смогла бы сочинить неплохой сценарий, допустим, под названием «Оргазм в морге, или Мертвые не кончают». И еще подумала, что человек — позорное и временное явление на земле, если его (в данном случае ее, Альбины-Бебы) мысли организованы подобным образом.

«Потому что того, на что все надеются, нет».

«Ну вот, — огорчилась Альбина-Беба, — а как же оркестр, который играет tutti?»

«Он играет, — сказал гений, — но исключительно в твоём угасающем, распадающемся сознании. Если ты была хорошей девочкой, а все умирающие полагают, что они были хорошими мальчиками и девочками, то в мгновение смерти сознание дарит тебе вечность, иллюзию вечной жизни. Ты вживую переживешь все то, что записано на участке мозга, который стирается. Это, собственно, и есть жизнь после смерти. Очертив земной круг, ты летишь к звездам, растворяешься во Вселенной в полной уверенности, что минули тысячелетия и ты превратилась в частицу мирового разума, хотя с момента твоей смерти прошло едва ли больше двадцати секунд».

«А как же непрожитое?» — спросила Альбина-Беба.

«Ты забыла, — усмехнулся аспирант, — что оркестр играет tutti, а таможня оставляет добро себе. Непрожитое укладывается в эти двадцать секунд. В сущности, — уточнил, подумав, — в них укладывается все сущее. Бог создал мир не за семь дней, а за двадцать секунд».

«Ты хочешь сказать, — удивилась Альбина-Беба, — что мы — всего лишь двадцатисекундные фантомы в распадающемся сознании... умирающего Бога?»

«Если отвлечься от того,— сказал гений,— что эти двадцать секунд, собственно, и есть вечность. Они будут длиться всегда и никогда не закончатся. Человек бессмертен потому, что Бог умирает с каждым из нас».

«Откуда ты знаешь, что все происходит именно так?» — Альбина-Беба не сомневалась, что он знает и все происходит именно так, но ей сделалось грустно. Так же грустно ей сделалось, когда она узнала, что Деда Мороза не существует. И чуть позже, когда Ильябоя (опять Ильябоя!) объяснила ей, оттянув в сторону трубы, основополагающий принцип продолжения человеческого рода.

«Это и есть военная тайна нейрохирургов и, возможно, гинекологов,— ответил гений.— Если ты меня выдашь, меня уволят с работы, разжалуют в фельдшеры, переведут в ветеринары».

«А может»... — не договорила Альбина-Беба. Вдруг пришедшая в голову мысль бесконечно ее поразила. Она не решилась открыть ее соискателю своей руки. Сумасшествие сумасшествию рознь, подумала Альбина-Беба. Кто делится своим сумасшествием с другими, тот умножает его в своем сознании.

«Так ты выйдешь за меня замуж?» — быстро спросил гений, которого, похоже, сумасшествием (как рыбу водой) было не испугать.

«Потом,— ответила Альбина-Беба,— в непрожитом. Там, где меня хватит на всех».

«Ты не обидишься, если я встречусь с твоим отцом и официально попрошу твоей руки?» — спросил гений.

«Зачем?» — искренне удивилась Альбина-Беба.

«Ради чистоты эксперимента, — объяснил он. — Операция, даже если у нее нет шансов на успех, должна быть проведена по всем правилам хирургического искусства. Хотя, конечно, я не могу исключить, что он примет меня за брачного афериста».

«Не волнуйся, я скажу ему, что ты не брачный аферист. А если он спросит, откуда я тебя знаю, я скажу, что мы трахались в морге на прозекторском столе», — Альбина-Беба на всякий случай отключила телефон.

37

А-Б вновь с изумлением обнаружила себя на бульваре перед туалетом, на скамейке с коляской посреди своей остановившейся жизни. Точнее, не остановившейся, а разделившейся на множество рукавов или каналов, как река перед окончательным впадением в море.

Ей показалось, что мифический (о котором ей говорил по телефону гений) оркестр уже играет tutti, но ей почему-то это не доставляет ни малейшего удовольствия. Если моя жизнь, раздраженно подумала Альбина-Беба, движется по принципу накопления (архивации) непрожитого, то где тогда проживаемое в режиме реального времени? Если я уже не существую, то почему не вижу себя со стороны?

Она подумала, что если на одну чашу весов поместить видимые горизонты ее непрожитого — Карабаша (что с ним, бедненьким, станет?), предстоящую (Альби-

не-Бебе казалось, что они собираются туда целую вечность) ловлю сирен на озере с подозрительным названием Жеребец, похабной тучей нависшую над их тройственным союзом Ильябою, а на другую — текущую реальность, воплотившуюся в сбор денег у сортира и беседу с разыскиваемым прокуратурой миллиардером Осей, то непрожитое перевесит, как свинец перевешивает воздух, как «все» перевешивает «ничто».

Он хорошо рассказал мне про непрожитое, опять вспомнила гения Альбина-Беба, не сказал только, что у непрожитого по определению нет будущего. Жить в непрожитом означает жить в будущем... без будущего. С людьми, которые есть, в мире, которого нет.

— Послушайте... — она вдруг вспомнила, что Ося не Осип, как она его чуть не назвала, а Иосиф, а вот отчество у него, как у поэта Мандельштама — Эмильевич. — Иосиф Эмильевич, у вас есть все, чтобы оставшуюся часть жизни пропеть скворцом, заесть ореховым пирогом, — всплыли в голове А-Б соответствующие строки. — Зачем вам лишнее, то, что доводит до суммы и тюрьмы?

— Видишь ли, — подумав, ответил миллиардер, — я всего лишь формула в проектном задании, где значатся сума и тюрьма. Отказаться от участия в проекте для меня равносильно смерти. Но я готов отказаться, — внимательно посмотрел на нее Ося. — Только... вместе с тобой. Можем стартовать прямо сейчас, — кивнул в сторону «мерседеса». — Из меня получится хороший скворец. Я гарантирую, что наш скворечник и ореховый пирог будут на уровне. Поехали? Если хочешь, бери с собой черноголового, — показал на коляску. — Я определяю его

в хорошее место, он будет учиться, не будет ни в чем нуждаться. Я могу даже его усыновить, — вдруг поднял глаза вверх, как бы призывая в свидетели своего благородства Господа Бога. — Орехового пирога хватит на всех. Если конечно, — задумался на мгновение, — проектанты позволят нам доесть пирог.

— Я вам не верю, — рассмеялась Альбина-Беба. — Дрожжи для моего орехового пирога еще не поднялись, а ваш пирог принадлежит не вам, а этим мифическим проектантам. Они кто — масоны, розенкрейцеры, иллюминаторы? Вы никогда не удовлетворитесь одной лишь мной и ореховым пирогом. Поэтому, собственно, вас и взяли в проект. А если удовлетворитесь, я первая же начну вас презирать. У нас с вами нет будущего, кроме... настоящего. — Она хотела добавить: «Потому что мы оба стремимся к тому, чем никогда не сможем овладеть», но сдержалась.

— Значит, ты полагаешь, что будущее — это то, чего... никогда не будет? — спросил Ося.

— Да. И потому оно прекрасно, — ответила Альбина-Беба, — точнее, божественно. Вы стремитесь к той степени понимания мира, внутри которой скрывается тайна власти, но никогда ее не постигнете, потому что власть от Бога. Над вашим проектом, следовательно, есть другой — Божий.

— В мире — тайна, а в тайне — Бог. Ты хочешь сказать, что я сую в замок не тот ключ? — на полном серьезе уточнил Ося.

— Деньги, конечно, это универсальная отмычка, — сказала Альбина-Беба, хотя еще мгновение назад думала

о чем-то другом. Во всяком случае, совершенно точно не о деньгах. — Но ключ к существу, включая все проекты в мире, один-единственный, и этот ключ в руке Господа. Все под контролем. Хотя, некоторые проектанты не вполне отдают себе в этом отчет.

Она не знала, почему так говорит. Слова как будто сами вылетали из ее рта.

— Но ведь в отсутствие ключа дверь можно и взорвать, — возразил Ося. Сдается мне, что ключик заржавел, а замочек зарос грязью по самые уши.

— Вот только обломки разлетятся по большой траектории, — сказала Альбина-Беба, — трудненько будет от них спрятаться.

— Хорошо, я согласен на настоящее, — быстро проговорил Ося. — Где твой загранпаспорт? Надо туда поставить штамп, что у тебя есть ребенок. Успеешь до вечера собраться? А я пока займусь твоим паспортом. Ты права, — вздохнул он, — моя жизнь — склад лишних страстей и ложных иллюзий. Но я... почему-то... как старьевщик живу на этом складе, дышу их пылью, переставляю с места на место, экспериментирую с проклятыми проектами. Из одного в другой, из другого в третий. Есть власть, нет власти. Больше денег, меньше денег. Какая, в принципе, разница — одной иллюзией больше, одной меньше? Но ты, — погладил желтыми пальцами Альбину-Бебу по белой щеке, — всегда будешь первой ложной среди лишних и... первой лишней среди ложных.

— Как и вы, Иосиф Эмильевич, — сказала Альбина-Беба, — я имею в виду — во власти и в России.

— Ты сама — ключ, — рука Оси как бы невзначай скользнула по ее груди.

— Это, видимо, ручка от двери, — усмехнулась Альбина-Беба, — ну, а где замочная скважина, знает каждый ребенок.

— Я все понял, — между тем продолжил Ося, — своим ключом ты отомкнула дверь камеры моего, скажем так, непонимания. Но при этом ты вытолкнула меня в другую камеру, где нет ни стен, ни потолка, ни двери, которую можно отпереть и, следовательно, выпустить узника. Боюсь, что мы все томимся в этой камере. Если всё, а судьба человека в первую очередь, от Бога, если некая определяющая сила ведет тебя в ту или иную сторону, к чему тогда пророчества и предостережения? Неужели Бог предостерегает против... Себя, Своей воли?

— Он предостерегает внутри разнонаправленности мира, — сама себе удивляясь, ответила Альбина-Беба, — точнее, против разнонаправленности человека. Божественная воля совершенна. Несовершенен человек. Он, видите ли, довольно часто делает вид, что не знает, где Божья воля, хотя, в действительности, конечно же, прекрасно знает.

— А почему, — спросил Ося, — почему он несовершенен, если создан по образу и подобию?

— Таковы условия игры, — ответила Альбина-Беба, — по крайней мере сейчас. Может быть, они устарели, не знаю. По жизни человеку сдаются разные карты, но две среди них неизменны: тоска по совершенству и стремление к нему.

— И все? — удивился Ося. — Разве с этими картами можно выиграть?

— Человек несовершенен, потому что... теоретически, естественно, должен пройти свой собственный — персональный — путь к совершенству. Все делают вид, что не знают, где Бог. И все при этом знают, что Бог в повседневном преодолении несовершенства. Вот чего Он хотел, создавая человека. Свободного выбора, который в том, чтобы идти Его путем... без понуждения... к совершенству, которое есть красота и конечный пункт маршрута.

— Крестным путем? — спросил Ося. — К мучительнейшей смерти?

Альбина-Беба вдруг подумала о том, что Карабаша надо крестить. Если крестным отцом вполне мог быть Лекалов-Соннов, то лезущая в крестные матери Ильябоя совершенно ее не устраивала. Альбина-Беба призналась себе, что... боится Ильябою. Ей казалось, что Ильябоя преуспела в чем-то таком, в чем сама Альбина-Беба еще далеко не преуспела, и это знание делает Ильябою сильнее Альбины-Бебы. Она, впрочем, не вполне представляла себе, что это за знание, а потому оно казалось Альбине-Бебе универсально опасным, как острейшая бритва (а еще почему-то... коса). Взмахнув бритвой (косой), Ильябоя могла в любой момент превратить А-Б в ничто. Чему может научить ребенка крестная мать, сочиняющая эротические сериалы под названием «Анальные хроники»? — подумала она.

— Это как кому выпадет, — ответила Альбина-Беба.

— Но пока что-то не получается с совершенством, да? — участливо поинтересовался Ося.

— Все претензии — к самому себе, — ответила Альбина-Беба. — И отвечать, в конце концов, исключительно за себя. Все остальное... — запнулась.

— Смягчающие илиотягчающие обстоятельства? — подсказал Ося.

Альбина-Беба замолчала, вдруг ощутив страшный холод внутри остановившейся на бульваре жизни. Ей показалось, что замерзает сама ее душа при том, что идущие мимо люди радовались неурочному осеннему теплу, весело поддевали ногами сухие листья, а некоторые так даже смахивали со лба пот.

Альбина-Беба знала, что следующий вопрос Оси будет про любовь. Как быть с любовью, спросит Ося, с этим вместилищем несовершенства? Бог — любовь или не любовь? — спросит Ося и со значением посмотрит Альбине-Бебе в глаза, как бы намекая, что он, Ося — и Бог и любовь одновременно.

Если бы он приволок откуда-нибудь огромный ореховый пирог, подумала, глядя на Осю, Альбина-Беба, я бы зарылась в него, как в перину, и лежала бы в этом пироге пока не согрелась. А потом, согревшись, я бы показала ему, что такое любовь в моем, естественно, исполнении.

Но Ося не спросил про любовь, а уселся на скамейку рядом с Альбиной-Бейбой, вытянув ноги поверх осенних листьев, устлавших бульвар. Похоже, Ося ощущал себя вполне комфортно внутри остановившейся жизни, как пассажир в мягком вагоне поезда. Ему, разыскиваемому прокуратурой государственному преступнику, как и Альбине-Бебе, участнице обманного сбора денег в мужском

туалете, некуда было спешить, за исключением, естественно, того, что им обоим следовало не просто спешить, а нестись отсюда прочь сломя голову.

— А может, ты согласишься выйти за меня замуж? — вдруг спросил Ося, чертя по сырой осенней земле узкими носами ботинок.

Я становлюсь популярной, подумала Альбина-Беба, осталось только дожидаться предложения от Хрю. Она вдруг вспомнила, что Хрю — тоже гений и тоже намылился в Америку. Ну а в том, что и Ося (злой) гений, сомнений в России не было ни у кого.

— И мы уедем в Америку? — спросила Альбина-Беба.

— В Америку? — удивился. — Можно, хотя мне не очень там нравится.

Между тем холод немного отпустил. Сквозь облака обозначило себя солнце. Альбина-Беба как будто переместилась в глубь спустившегося с неба испеченного орехового пирога. Она перевела дух, посмотрела на свои руки. Ногти были синие, а пальцы белые, как будто лепестки фиалок лежали на снегу. Краски мира сделались насыщенными, а окружающие предметы объемными и (не в смысле цвета) прозрачными, как если бы стремились открыть Альбине-Бебе свою суть. Внутри оставившейся жизни, как внутри голограммы, вдруг образовалась некая всеобъемлющая ясность, вобравшая в себя (как часть пейзажа) Альбину-Бебу. Словно Божественное, не иначе, (хоть и действующее по принципу рентгеновского) излучение просветило ее до последних атомов души, и сейчас она с понятным интересом

рассматривала снимок в иных обстоятельствах, совершенно ей недоступных.

У Альбины-Бебы даже мелькнула мысль, что если уподобить Господа врачу, а всех людей — ожидающим приема больным, то именно этот снимок они прижимают к груди, переступая порог заветного кабинета, именно этот снимок, надев очки, внимательнейшим образом рассматривает Господь.

Ему предстояло уяснить из этого снимка, что Альбина-Беба не хочет замуж ни за гения-нейрохирурга, ни за гения-миллиардера Осю, ни за гения-математика Хрю, хотя тот, кажется, еще не делал ей предложения. Альбина-Беба подумала, что единственная причина, мешающая ему немедленно сделать это, заключается в том, что Хрю в данный момент собирал в сортире деньги у обладателей мобильных телефонов. Видит Бог, подумала Альбина-Беба, есть нечто странное в том, что все три ее жениха — гении и все три зовут ее в Америку. Хрю, правда, пока никуда ее не звал, но Альбина-Беба не сомневалась, что позовет. Она не возражала выйти замуж за компьютерщика Хвоста, но лишь потому, что тот более подходил в отцы Карабашу, нежели философ Сон. А еще из снимка (он, впрочем, вдруг начал растворяться в осеннем воздухе, как будто и не было никакого снимка) явствовало, что сильнее всего на свете — всех испытанных ею наслаждений и радостей, денег, умных книг, полученных подарков и прочего — ей хочется быть... матерью. Именно это опережающее (она же вполне могла выйти замуж и законно или свободно — без мужа — родить) непобедимое желание

побудило ее унести из грязного подвала угасающего Карабаша, который сейчас расцвел и окреп и которого она любила невыразимой в словах сверхматеринской любовью.

А еще снимок свидетельствовал, что если она кого и любит из своих многочисленных друзей и знакомых, так это Максима, того самого неизвестно почему, за что и зачем оскорбленного и униженного ею парня, умчавшегося от нее в Ницце прочь сухой летней ночью на красном спортивном «феррари».

Недостижимая, как сон (по требованию), мечта (по объявлению) объяла ее до самого доньшка души: как бы им троим — ей, Карабашу и Максиму — навеки воссоединиться в мире, где нет зла, а есть одно лишь спокойствие и одна лишь любовь.

Таков был (если верить снимку) диагноз Альбины-Бебы.

Она с грустью (как и всегда, когда речь шла о ее изначальном несовершенстве) подумала, что готова во имя этой недостижимой мечты предать весь свой в данный момент существующий мир, включая в общем-то бескорыстно и от чистого сердца помогающих ей компьютерщика и философа.

Ничего не поделаешь, вздохнула Альбина-Беба, женщина и предательство — вещи, в отличие от гения и злодейства, очень даже совместные. Женщина редко замечает чистоту сердца, а если и замечает, то склонна принимать ее за необъяснимую слабость. А слабость мужчины, подумала Альбина-Беба, эта та территория, которую (как неприятельская армия) обязательно (даже

без большой на то необходимости), обязательно занимает женщина.

Боже, как я люблю их, подумала Альбина-Беба, как я люблю Карабаша и Максима. Ей послышалось довольное кряхтенье Карабаша. Видимо, он проснулся и в данный момент предвкушал радость от предстоящего кормления.

А потом ей послышался шинный стон, хлест веток, свист уносящегося в сухую эвкалиптовую тьму красного «феррари». Ей увиделся свет фар на горном серпантине под Ниццей. Почему-то фары выхватили тогда на змеином шоссейном витке прощальным светом из сухой эвкалиптовой тьмы... мельницу, торчавшую на горе, как (на советском плакате двадцатых годов) кукиш с пропеллером, и большое резное распятие, установленное чуть выше по дороге, ведущей к собору.

Альбина-Беба была в этом соборе. Скорбный, увенчанный терновым венцом Иисус смотрел с креста на поднимающихся к собору людей и — поверх них — на водяную мельницу, перемалывающую зерно в муку. Помнится, когда они проезжали это место, она заметила Максиму, что Иисус — плотник, а не мельник, непонятно, почему распятие установлено у мельницы.

«Ну, — засмеялся Максим, — во-первых, Иисус — друг всякого полезного дела, в особенности такого, как изготовление хлеба насущного. Во-вторых, мельница — это аналог времени, перемалывающего людей, да собственно, и саму жизнь».

«А вода? — поинтересовалась Альбина-Беба. — Что тогда вода?»

«Вода — воля Божья, — ответил Максим, — и Божье же соизволение. Бог, — внимательно на нее посмотрел, — там, где чистая вода».

Она вдруг чуть не расплакалась, до того ей захотелось прижать к сердцу сыночка Карабаша и унесшегося на «феррари» Максима, которого, как открылось сейчас на бульваре А-Б, она единственного из мужчин и любила в своей короткой грешной жизни, причем любила душой, а не телом, ведь между ними ничего не было.

И сейчас душа ее страдала и одновременно раскаивалась, а тело горело и вождделело. Альбине-Бебе было бесконечно стыдно, потому что даже сейчас, когда обиженный ею Максим находился неизвестно где и неизвестно с кем, она, проклиная себя, мысленно воображала себе его... восставший член, прикидывала, что бы она ухитрилась сделать с (над) (под) этим членом.

Альбина-Беба поймала себя на мысли, что больше всего в жизни любит людей, которых, в сущности, не знает, которые оказались случайными в этой самой ее жизни. У Карабаша в любой момент могли отыскаться родители, а Максима она прогнала от себя сама. Неужели, подумала Альбина-Беба, это и есть мое истинное будущее, то самое, которое никогда не настанет? Она вдруг поняла, что такое смерть. Смерть, поняла Альбина-Беба, это когда непрожитое и «небудущее» сливаются в точке неслияния воедино.

Между тем Ося вежливо кашлянул, намекая, что он не возражал бы услышать ответ на свой вопрос.

Альбина-Беба с большим трудом припомнила этот вопрос.

— Благодарю за доверие,— ответила она,— но я полагаю, Господь Бог не одобрил бы наш брак.

— Почему? — быстро спросил Ося.— Ведь сейчас, кажется, даже гомосексуалистам не возбраняется заключать браки и даже венчаться в храмах?

— Мне кажется,— вздохнула Альбина-Беба,— что наш брак — это... во всех отношениях умножение несовершенства. Поверьте,— отбросив брезгливость (как Наполеон в чумном госпитале в Акре или мать Тереза в лепрозории), нежно прикоснулась А-Б к желтой, поросшей редким черным волосом, напоминающей вылезшую из рукава пиджака змею руке Оси,— я не имею в виду вас, я вас слишком мало знаю, но исключительно себя.

— Вообще-то это венчание в храме,— припечатал сверху второй рукой руку Альбины-Бебы Ося,— чем-то напоминает мне приобретение трехспальной кровати, где одно местечко почему-то отводится Богу, хотя Он, как говорится, ни сном ни духом... Лично мне, например, не понятно, почему все, что связано с Богом, обязательно — до смерти? Если венчался, то живи с женой до смерти. Если принял сан, то служи до смерти. Если забрался в монастырь, то и там сиди, пока не умрешь. Если все время думать, удобно ли Он устроился на этой самой трехспальной кровати, можно с ума сойти. Ты ведь знаешь, что я крестился,— продолжил Ося,— ношу крестик,— похлопал себя по груди.— Об этом писали в газетах. Вообще-то,— посмотрел в небо, где показалась стая каркающих, каких-то расхристанных ворон,— я не могу сказать, что сильно и сознательно гневил Бога. Я Его

люблю, хотя и не вполне понимаю Его линейность — все до смерти. Может быть, я иной раз излишне динамично орудовал внутри созданных им обстоятельств, первым подлетал с глубочайшей тарелкой к котлу, из которого Он наделял нас, грешных, хлебовом...

— Он? — уточнила Альбина-Беба.

— А кто же еще? — искренне удивился Ося. — Если всякая власть от Бога? А кто, как не власть, наделает деньгами? Но я никогда не грешил ради греха. Грех, как таковой, никогда не рассматривался мной, как объект радости или большого удовольствия. — Ося опять посмотрел в небо, но вороны стаи были в нем поистине неисчерпаемы. Неприятные, неэстетичные птицы летели над бульваром, как будто репетировали конец света.

Тогда, правда, подумала Альбина-Беба, полетят другие птицы, с огненными глазами и железными клювами. Они не дадут нам расслабиться.

— Так, — продолжил Ося, — грешил по мелочи. Но при этом, скажу честно, не обременял Бога своими проблемами. Знаешь, — склонился к самому уху Альбины-Бебы, отчего (в иных ситуациях и при иных словах) эрогенное ее ухо испуганно напряглось и как будто окаменело, — я просто не знал... о чем Его просить. Он все давал мне Сам, причем, даже больше, чем я мог мечтать. Ну а обращаться к Нему, чтобы в нужное время... у меня... встал или... чтобы партнеры не кинули, мне казалось недостойным. Наверное, — сказал Ося, — секс и деньги — это оставленные Им области человеческого существования. В них сидят не Им назначаемые губернаторы.

И тем не менее мне всегда казалось, — упавшим голосом произнес Ося, — что Он... тоже любит меня... Хотя, — посмотрел по сторонам, — я не могу понять, за что и почему Он меня любит, для чего постоянно держит у моей набитой пасти наполненную ложку? Неужели хочет, чтобы я раздал все нищим? — как будто сам искренне удивился этой мысли Ося. — Но деньги невозможно раздать нищим, как говорится, по определению. Их перехватывают уже на стадии намерения. Сдается мне, — погладил по руке Альбину-Бебу, — наш с тобой союз не будет Ему в тягость.

Но только после нашей смерти, — уточнила А-Б.

38

Альбина-Беба снова вспомнила сказанные в Ницце у мельницы слова Максима, что Бог — это чистая вода. Ей открылась прямая зависимость между убыванием в мире Бога и чистой воды. Не в силе Бог, перефразировала А-Б народную мудрость, не в правде, а в воде! Он окончательно оставит землю, подумала Альбина-Беба, когда на ней не останется чистой воды, когда люди отравят и загадят ее всю до доньшка.

Образ слитного существования Бога и воды показался ей весьма продуктивным. Особенно — в философском плане. Альбина-Беба подумала, что вот они сидят с Осей на скамейке и обсуждают, как бы пустить в иссякающую (чистую) Божественную воду еще одну грязную струйку.

Она вспомнила, как они стояли с Максимом на эвкалиптовой горе возле мельницы над чистой водой, а под ними, частично в дымке, частично в золоте, расстилались зеленые, с каймой белого песка у слитого (как Бог с чистой водой) с морем воздуха холмы департамента Приморские Альпы.

«Боже, — вздохнула Альбина-Беба, — до чего красив и совершенен наш мир».

«Совершенен? Ты сказала совершенен?» — Максим замер с бутылкой красного вина в руке, из которой как раз намеревался выдернуть штопором пробку.

«Как жаль будет с ним расставаться, — продолжила Альбина-Беба. — Ты часто думаешь о смерти?» — повернулась к Максиму, протянула руку. Она не возражала выпить за красоту и совершенства мира прямо здесь и сейчас — на эвкалиптовой горе у мельницы — и не понимала, почему Максим медлит с пробкой. Неужели человек — тоже в своем роде закупоренная бутылка, а пробка... смерть, удивилась А-Б. Разве можно определить качество вина, не вышибив из бутылки пробку?

«Но он не всегда кажется таким красивым и совершенным, — сказал Максим. — Он кажется совсем другим, когда смотришь на него...» — замолчал, решительно выдернул пробку из бутылки.

«Сквозь смерть», — догадалась Альбина-Беба. Почему-то ей тоже вспомнились зеленые холмы другого времени, департамента другой империи. Она подумала, что существуют разные точки обзора красоты и совершенства окружающего мира. Ей стало грустно. Она ре-

шила, что Максим сочтет ее сумасшедшей, если она предложит сейчас выпить из горла за... Иисуса Христа.

«Скорее, сквозь слепоту», — пролив немного вина на землю, Максим протянул бутылку Альбине-Бебе.

«Ты пантеист, новый язычник, веришь, что у Земли есть разум?» — спросила она.

«Вообще-то, — заметил Максим, — мир был задуман как отражение и дополнение человеческой души. В принципе, ландшафт земли вторичен, первичен ландшафт души. В идеале они должны были дополнять и пополнять друг друга. Совершенство мира заключается в бесконечном чередовании равно прекрасных пейзажей души и природы. Это двуединое зеркало, в которое смотрится...» — Максим замолчал, принял от Альбины-Бебы бутылку, задумчиво из нее выпил.

«За Него», — подмигнула ему Альбина-Беба.

«За кого?» — спросил Максим.

«Кто смотрится в двуединое зеркало, — сказала Альбина-Беба, — если конечно Он все еще смотрится».

«Почему нет?» — с интересом посмотрел на него Максим, как если бы она тоже была зеркалом. — Куда Ему еще смотреться?»

Альбина-Беба неплохо ориентировалась во взглядах, которые бросали на нее мужчины. Можно даже сказать, читала их, как книгу, в которой были не слишком сложные тексты.

Первая глава называлась «лицо». Ее можно было уподобить такому медицинскому термину, как «анамнез». Мужчина тупо (или живо) перебирал в памяти лица знакомых женщин, ища некие схожие с другими женщинами

черты, то есть подобие. Установленное подобие либо добавляло ему (физиологической) прыти, либо уводило мысли в иную (не сексуальную) плоскость, если, допустим, вспомянутая, похожая лицом на Альбину-Бебу женщина доставила в прошлом мужчине неприятности: обокрала, обманула, наградила нехорошей болезнью и так далее.

Вторая глава носила название «грудь» и, пожалуй, была наиболее краткой и лаконичной в книге. Она прочитывалась практически мгновенно.

Третья — «нижний бюст» — была почти порнографической. Текст в ней становился крайне сбивчивым, горячечным, прыгающим внутри очерченных взглядом телесных сфер и, как правило, матерным.

Четвертая глава «ноги» — не носила обязательного характера, а если и присутствовала в книге, то отличалась неким эстетизмом и минимальным присутствием мата. Дело было в том, что многие мужчины в принципе не воспринимали красоту женских ног, относились к ним, как к чему-то, так сказать, прилагающемуся. В смысле, что некуда было этим, даже самым бесконечным и распрекрасным ногам деться, кроме как раздвинуться.

Далее — после четвертой главы — взгляд элементарно заземлялся, если у сочинителя не было возможности перевернуть страницу и приступить к следующей главе, которая писалась уже отнюдь не взглядом. Или, напротив, воспалялся, как если бы типографская краска вечной, сочиняемой мужчинами про женщин и наоборот, книги была из пороха. Если, конечно, такая возможность намечалась или была предопределена (оплачена).

Альбина-Беба подумала, что знаменитое высказывание относительно того, что в типографской краске скрывается дьявол, весьма применимо к этой neverending, неустанно сочиняемой (даже сейчас на бульваре) миллионами совершенно анонимных авторов книге.

Но она была вынуждена признаться себе, что такого текста, как во взгляде Максима, ей еще читать не доводилось. В нем не было привычного разделения на примелькавшиеся главы. Взгляд как будто объял ее всю — транзитом — минуя пол, но включая душу.

Альбина-Беба испытала совершенно новые, доселе не изведенные чувства. Теоретически она знала, что любовь может быть шире рамок тела, но не знала, что средоточием любви может оказаться не сознание и не главы книги, которую листают взгляды мужчин, но... душа, внутри которой вопросы пола растворялись, как сахар в чае.

Честно говоря, Альбина-Беба в последнее время вообще сомневалась, есть ли у нее душа.

Но душа была.

Она трепетала и стремилась навстречу Максиму, в то время как немوتствующее тело покорно следовало за душой. Трепет души оказался первичнее постоянно наполняющей бедра, требовательно взыскующей физиологической радости сладкой воды. Теоретически Бог мог присутствовать в этой воде, но фактически никогда не присутствовал. Его взгляд проходил сквозь грешную воду, как сквозь вынужденную ложь, налипающую на истину. Мир держался на необоримой силе двух притяжений: земли и полов. И этот порядок не мог быть нарушен, пока на земле существовали люди.

Обычно переполняющая бедра Альбины-Бебы сладкая вода греха виртуально изливалась в окружающий мир, видоизменяя его, смещая привычные ориентиры. Альбина-Беба смотрела на мир сквозь воду, сама была водой и одновременно плыла в ней. Иной раз (как на танцах в Ницце) напор грешной воды доходил до иступления.

Так был смыт с лица земли несчастный, разбудивший ее душу, Максим.

Он исчез, не вынеся позора, и только свет фар «феррари» как будто до сих пор светил из темного эвкалиптового серпантина.

Станным образом фантомный свет вновь и вновь достигал души Альбины-Бебы, и ее душа снова трепетала и винилась, и не могла взять в толк, как же так получилось, что похабная сладкая вода тела растворила в себе чистый трепет души?

«Мир прекрасен,— продолжил Максим,— потому что в идеале он отражает ландшафт души. Жизнь, собственно, и задумывалась как непрерывное чередование совершенных пейзажей — внешних и внутренних».

«Но что-то не сработало,— заметила Альбина-Беба,— произошло какое-то резкое взаимное ухудшение».

«Возможно,— не стал спорить Максим,— но лично для меня достаточно, что в данный момент в мире, как в зеркале, отражаемся мы».

«Все совершенство мира, как на ниточке, держится... на нас?» — усмехнулась Альбина-Беба.

Максим молчал.

Альбина-Беба посмотрела на бутылку.

В дополнение ко всем своим мыслимым и немыслимым достоинствам Максим был еще и изрядным трезвенником. Вино в бутылке убавлялось в основном благодаря усилиям Альбины-Бебы.

Это было удивительно, но ей показалось, что с каждым глотком вино становится вкуснее.

Боже, подумала она, как он ошибается во мне и... в мире, неужели он не понимает, что совершенство в лучшем случае наказуемо, в худшем — подлежит немедленному уничтожению? Почему, подумала Альбина-Беба, все истинное беззащитно и как будто изначально выставлено на поругание, в то время как все низменное, скверное и лживое защищено броней и неуязвимо?

Она почувствовала, что ниточка, на которой несколько мгновений держался мир, оборвалась и мир камнем полетел вниз. Впрочем, внешне все осталось без изменений, из чего Альбина-Беба заключила, что свободное падение вниз — обычное состояние мира. Воздух был по-прежнему прозрачен, но над эвкалиптовыми рощами он плавился и дрожал. Как будто сладкая, переполняющая бедра Альбины-Бебы вода пробила границы плоти и вступила во взаимодействие с прозрачным воздухом.

Вволю отпив из бутылки, Альбина-Беба встала перед сидевшим на камне Максимом во всю свою природную ширь и мощь: развернула бедра, как если бы прежде бедра были зачехленным знаменем, выкатила вперед груди, как если бы груди были гаубицами, широко расставила ноги, как если бы ноги были вратами рая.

Можно сказать, А-Б встала перед Максимом, «как лист перед травой», хотя она и не вполне понимала смыс-

ла данного сравнения. По ее мнению, оно было более применимо к описанию горделивого, но, как правило, краткого (как порыв ветра, пригибающего траву и ставящего торчком листья) дефиле основного мужского органа перед основным женским. Одному органу почему-то было предписано природой «стоять», как «листу», другому же — трепетать, как «траве».

Они по-прежнему находились на горе, и у Максима, таким образом, не имелось возможности смотреть на мир иначе, как сквозь конус расставленных ног Альбины-Бебы.

Она вдруг ощутила в себе невозможную силу, как если бы могла удовлетворить разом (или в очередь) всех вожделеющих мужчин мира, начиная от онанирующих подростков, заканчивая мастурбирующими старцами.

«Ты хочешь меня?» — спросила Альбина-Беба у Максима.

«Да», — ответил тот.

«Тогда возьми, — предложила Альбина-Беба. — Прямо здесь и сейчас».

У нее возникло странное ощущение, что это не вполне правильное предложение, но еще больше ей хотелось, чтобы Максим им воспользовался, преодолел угадываемое Альбиной-Бебой сомнение. Ибо в преодолении им сомнения скрывался сверхнормативный ресурс ее страсти, которая в данный момент была для нее выше летящего вниз мира. Альбине-Бебе вдруг открылось, в какой именно низ летит мир. Это был телесный низ. Язык не делал ни малейшей тайны из направления падения.

«Беру!» — Максим поднялся с камня, резко притянул Альбину-Бебу к себе.

Она подчинилась, как всегда подчинялась мужчине, когда решение было принято.

Целуя ее, Максим не стал закрывать глаза.

Их взгляды встретились.

Альбину-Бебу пронизала дрожь, как если бы в Максиме каким-то образом материализовалось неутоленное желание всех мужчин мира. Она едва не потеряла сознание. Но тут же пришла в себя. Отступать было не в ее правилах. Она вдруг ощутила себя ответственной за красоту, силу и достоинство всех женщин мира, как если бы они стояли вокруг и подбадривали ее, умоляя не ударить в грязь лицом.

Альбина-Беба так рванула на себе рубашку, что пуговицы полетели в разные стороны. Потом просунула горячие руки под ремень на брюках Максима. Его живот был гладок и мускулист, а член тверд как камень, с которого Максим только что поднялся.

Альбина-Беба застонала, расстегнула ремень, не забывая при этом и про высвобождение собственного телесного низа. Ее не смущало ни ложе из вереска, ни открытость этого ложа посторонним взглядам. Она даже успела подумать, что хорошо бы бросить под зад куртку Максима, чтобы не искушали муравьи.

В это самое мгновение из-за поворота вывернула растянувшаяся на каменистой дороге процессия, направляющаяся к храму. Звонящую тишину нарушило детское пение. Католическое свадебное шествие в разбрасываемых лепестках роз, как в летящем снеге, двигалось к храмово-

му алтарю, где брачующихся поджидал священник. Поющие дети были, как ангелы, в белом, а сами ангелы (в виде воздушных змеев) реяли над процессией и, казалось, трубили в золотые трубы, потому что венчал шестивие конный (Альбине-Бебе еще не доводилось их видеть) оркестр.

Дети, ангелы, пение, музыка, набожные друзья и родственники брачующихся (самих брачующихся Альбина-Беба как-то не разглядела), конный оркестр срезали страсть, как охотник птицу в наивысшей точке полета. Тяжело дыша, Альбина-Беба и Максим скатились по вереску вниз, спрятались за вековым, не иначе, вязом. Бокowym зрением Альбина-Беба даже успела рассмотреть сидящую на ветке сойку, которая не испугалась шума, а напротив, с любопытством (по крайней мере, так показалось А-Б) на них посмотрела.

Дети-ангелы пели очень громко. Альбина-Беба хотела спрятаться от их пения, но оно заполнило мир, как если бы мир был сплошным ухом, а А-Б висящей на нем серьгой. И храм на горе как будто победительно увеличился в размерах. Альбине-Бебе даже показалось, что он медленно стронулся с места, поехал вниз, как гигантский утюг, чтобы припечатать, точнее, прижечь их, грешных, к земле.

«Похоже, сегодня не судьба», — запахла на груди беспутовичную рубашку Альбина-Беба.

«Почему? — спросил Максим. — Они скоро пройдут».

«Они не пройдут никогда, — возразила Альбина-Беба. — Но даже если пройдут...» — вдруг замолчала.

«Что тогда?» — с любопытством посмотрел на нее Максим.

«Они будут идти вечно, — сказала Альбина-Беба. — Вечно и по мою душу. Точнее, мимо моей души».

Она понимала, что то, что они только что собирались сделать — неправильно. Но не испытывала ни малейшей радости от этого понимания. Она почувствовала себя воровкой, которая вдруг ни с того ни с сего застыдилась воровать. Или проституткой, которая на тысяча первом клиенте усомнилась в благочестии своего ремесла.

Максим, похоже, ожидал от нее каких-то объяснений, но она решила больше никому ничего не объяснять. В особенности, мужчинам. Кому хочу — тому даю! — злобно подумала Альбина-Беба. Ему — нет!

«Есть вещи, которые ниспосланы нам свыше, — сообщила она Максиму. — Стричь ногти по четвергам — к деньгам. Носить по средам черные носки — к удаче. Есть по понедельникам чечевичу — к здоровью. Спать с мужчиной — отныне и вовеки веков только в законном браке».

«Зачем же дело стало? — пожал плечами Максим. — Решать тебе».

«А ты не боишься, что... растворись во мне? — Альбина-Беба почувствовала, что страсть, которая мгновение назад, казалось, ушла невозвратно (растаяла в ангельском пении, свалилась в вереск, как подстреленная птица, намоталась на клюв живой птице-сойке), вновь возвращается к ней... (конным оркестром?) — Я буду любить тебя всей душой, но моему телу... будет слишком мало одного тебя».

«Женщина была изначально запланирована с запасом, так сказать, с расширением файла, — ответил Максим. — В ней предусмотрено свободное место для вмещения дополнительных сущностей».

«Я знаю, где находится это место», — перебила его Альбина-Беба.

«Женщина — это открытая таблица...» — продолжил Максим.

«Иногда, — снова перебила его Альбина-Беба. — Главным образом, по ночам. Но не так часто, как ты думаешь. Я знаю, что это за таблица. Но ты ошибаешься, называя ее открытой».

«Я имел в виду другую таблицу, — засмеялся Максим, — ту, с помощью которой женщина измеряет мир. Только что ты измерила ею...»

«Тебя?» — спросила Альбина-Беба.

«Себя, — ответил Максим. — Но тебя почему-то не обрадовало, что ты оказалась лучше, чем сама о себе думала».

Альбина-Беба вдруг вспомнила мать, внутри которой, стало быть, тоже скрывалась открытая таблица. Причем не просто безразмерная, а еще и нелогичная, если не сказать, безумная. Но мать все равно измеряла ею мир.

Альбину-Бебу изумило долготерпение мира. Выходило, что женщина была в мире первична, а единица измерения, которой она измеряла мир, — вторична.

«Это душа», — сказал Максим.

«Значит, она и есть главная причина всех несовершенств и трагедий?» — спросила Альбина-Беба. — Зачем

она, если от нее одна лишь боль и вопросы, на которые нет ответа?»

«Она сама ответ на эти вопросы», — сказал Максим.

«А может, — предположила Альбина-Беба, — душа — это зеркальное отражение смерти?»

«Я люблю тебя», — взял ее за руку Максим.

«Неужели, — продолжила Альбина-Беба, — от души, как от смерти нельзя скрыться? Если можно потерять душу, то, выходит, можно потерять и смерть?»

«Она тебя найдет, — сказал Максим. — А я найду ее».

«Душа или смерть?» — спросила Альбина-Беба.

Но конный оркестр вдруг грянул то ли тарантеллу, то ли какую-то неаполитанскую (видимо, свадьба была итальянская) песню, и она не расслышала, что ответил Максим.

Они двинулись к машине. Альбина-Беба поискала взглядом бутылку вина, где, по ее мнению, еще оставалось на донышке. И она увидела ее, прислоненную к камню, но почему-то... полную и даже заткнутую пробкой, как будто Альбина-Беба и Максим вообще из нее не пили.

Уже потом, в машине, Альбина-Беба подумала, что, скорее всего, это был обман зрения. Наверное, свет падал под таким углом, что бутылка казалась полной, хотя на самом деле должна была быть почти пустой.

Альбине-Бебе показалось, что она только что прожила очередную (какую по счету?) жизнь, но оказалось, что она по-прежнему сидит на скамейке с коляской, а Ося по-прежнему ожидает от нее ответа, чертя носками ботинок землю, как если бы он вознамерился овладеть древним искусством клинописи.

— Я думаю, Иосиф Эмильевич,— произнесла она,— что вы ошибаетесь. Наш союз будет безмерно тягостен Господу, как всякое удвоение скверны.

Внутри остановившейся жизни некуда было спешить.

Альбина-Беба подумала, что люди в ней сродни осенним листьям, оторвавшимся от дерева, но еще не упавшим на землю. Она была готова лететь вечность в вечность сквозь вечность. Ей нравилось новое состояние укрупнения мысли, вольного поиска смысла, очищения от пут бытия. Окружающие люди представляли носителями сложных идей, логических головоломок, неожиданных страстей. Некая даже первичная (зачем-то ведь они существовали?) ценность как будто проглядывала в людях.

Внутри остановившейся жизни плоть не то чтобы совсем немотствовала, но почтительно пропускала вперед сознание. Избавившись от наручников плоти, сознание расширялось, вбирало в себя мир и одновременно растворялось в мире, становясь его мыслящей частицей.

Альбине-Бебе было интересно, она одна угодила в остановившуюся жизнь или вместе со всеми? А может, не со всеми, а только с тем, с кем в данный момент беседовала, то есть с Осей?

Не сказать, чтобы эта мысль сильно ее обрадовала.

Альбина-Беба считала, что она одна достойна вечности, и напарник в виде Оси (Иосифа Эмильевича) совершенно ее не устраивал. Закон больших, точнее, общих чисел, хорош, подумала Альбина-Беба, но только до тех пор, пока человек сам под него не попадает. А он попадает, загрустила она, рано или поздно неизбежно попадает. Особенно ее заинтересовало число смерти. Оно всякий раз оказывалось ничтожно малым относительно продолжающих жить людей, но в то же самое время оно являлось отсроченно всеобщим. Выходит, помимо больших и малых, вздохнула А-Б, существуют неизбежные числа. И, стало быть, главный (управляющий, как говорил Лекалов-Соннов, миром) закон — это закон неизбежных чисел.

В этот момент в кармане у нее заверещал мобильник.

Из коляски подал голос Карабаш.

Красный кленовый лист, как наглая мужская пятерня, опустился ей на колени.

Мир наполнился звуками.

Незримая рука (неужели та самая пятерня?) как будто схватила Альбину-Бебу за шиворот и вытащила из остановившейся жизни, впихнула в формулу неизбежного числа.

«А я ей, блядь, так и сказал, пошла ты на хуй, сука!» — донесся до Альбины-Бебы разговор идущих по бульвару симпатичных молодых людей.

— Альк, долго ты будешь сидеть там с этим дядей? — услышала она в трубке голос Хрю. — Надо смеяться, а ты сидишь. Или у тебя с ним проблемы?

— Через пять минут, — сказала Альбина-Беба. — Ты успеешь добежать до ларька, купить своей девушке цветы.

— Это мимо, — усмехнулся Хрю. — Как только я прихожу к своей девушке с цветами, я обязательно застаю ее с другим. А если не застаю, то она в этот день не приходит домой ночевать. Я не знаю, почему так получается, — добавил Хрю после горестной (видать, нахлынули воспоминания) паузы, — но добрые чувства, внимание к ближнему строго наказуемы.

— Сколько собрали? — поинтересовалась Альбина-Беба.

— Нормально, — ответил Хрю. — У нас еще появилась идея. Но это уже без меня, — вздохнул он.

Какая идея? — полюбопытствовала Альбина-Беба.

— Классная, — хрюкнул в трубку Хрю, — безотказная, а главное, с неисчерпаемым потенциалом.

— Если потенциал неисчерпаем, — предположила Альбина-Беба, — значит, речь идет о какой-то умственной или физиологической мерзости.

— Откуда знаешь? — насторожился Хрю. — Хвост говорил?

— Про что?

— Да про удлинение члена! — крикнул Хрю. — Ты чего, пока мы тут бабки за МТС собирали, он придумал тренажер для членбилдинга. Две недели упражнений, и член... как у носорога! Теперь только изготовить первую партию, дать объявление в Интернете, и все — бабки рекой потекут!

— А... что это за упражнения? — против собственной воли поинтересовалась А-Б.

— Двойной эффект,— охотно объяснил Хрю.— Во-первых, специальная лампа-излучатель. Это китайская технология, лампа работает по принципу генного пылесоса, сначала как бы втягивает гены, а потом их же излучает. Ну, ты помнишь, китайцы облучали цыпленка утиными генами, превратили его в утку, а потом показали Мао Цзедуну. Тот сразу велел облучать его генами молодых китайских спортсменов. Так вот, сначала заряжаем лампу от гигантского члена, ну, того, заспиртованного в колбе, который ты им показывала в мединституте. Потом высылаем лампу дяде с маленькой пипиской, и вперед! Одна лампа — один цикл, шесть облучений. Рост гарантирован. Да, а для страховки надо еще подвесить гирьку, ходить с ней две недели. Слушай,— понизил голос Хрю,— а ведь такая штука и в Америке пойдет на ура, а? Или нет? Наверное, нет. Там же негры с такими... ломами ходят. Нет, Америку этим не удивишь,— загрустил Хрю.

— Но ведь еще сто лет назад помер,— возразила А-Б.

— Кто?

— Ну этот... с огромным членом, мещанин из Пензенской губернии... Никаноров.

— Умер, а член-то его живет! — засмеялся Хрю.— Это не имеет значения, генная лампа засасывает не живые клетки, а ответственные за размер члена гены из кода ДНК. Подожди... — зашипел, заглушаемый шумом писсуаров и трубным ревом унитазов,— тут какой-то урод спрашивает, почему у него телефон вырублен. Да не волнуйтесь вы! Не через тридцать минут, а в течение суток! Ах, мы эвакуируемся!

Вся жизнь — эвакуация, вдруг подумала Альбина-Беба, сначала из материнского чрева, потом из родного дома, потом с череды работ, а там и... из самой жизни. Даже гены, вспомнила она страшный член мещанина из Пензенской губернии Никанорова, эмигрируют в лампы, а из ламп в другие члены.

— У нас мало времени, — вздохнула А-Б. — Один человек всегда может сказать другому нечто важное. Тем более, такой умный человек, как вы, такой дура, как я. Я жду, Иосиф Эмильевич. Вас слушали, — вспомнила она, что писали про него в газетах, — президенты и премьер-министры. Мы не можем с вами расстаться просто так.

— Мне нравятся твои друзья, — задумчиво произнес Ося. — Я понимаю, вы не хотите гнить в смердящей яме, которая сейчас называется Россией. Помню, я сам не хотел гнить в другой смердящей яме, которая называлась СССР. Вы играете в игру под названием «революция», «протест», «за социальную справедливость» и так далее. Это нормально. Каждый молодой человек, если только он не дебил, не полная скотина, не законченный мерзавец, не может не содрогнуться от устройства мира, в котором ему предстоит жить. Собственно, такая судорога — неизбежное следствие процесса взросления, постижения жизни. Общество, в общем-то, давно адаптировалось к этому явлению, канализировало его в плоскость той самой игры, в какую вы сейчас играете. До поры оно смотрит на нее сквозь пальцы. Я знаю, — взял за руку А-Б Ося, — что вы собираетесь сделать. Это только кажется, что в мире много тайн, — усмехнул-

ся он, — на самом деле мир прозрачен, как... — задумался, подбирая сравнение, — платью голого короля. К тому же, — еще крепче сжал руку А-Б Ося, — я сам хочу принять участие в вашей игре. А если я вхожу в какую-нибудь игру, то только затем, чтобы выиграть!

— Это называется, шла по шерсть, а вернулась стриженной, — вздохнула А-Б. — Иосиф Эмильевич, вы отзываете свое предложение руки и сердца?

— Нет-нет! Вот моя рука! — Ося поднес пергаментную, как петушина нога, руку к самым глазам А-Б. — Жаль только, — добавил он, — что я не могу вот так же предъявить тебе мое сердце.

— Значит, наша встреча не случайна? — спросила А-Б.

— В этом мире случайны только жизнь и... смерть, — ответил Ося.

40

Ну вот, подумала А-Б, я все ждала, когда оркестр начнет играть tutti, а он, оказывается, уже давно играет tutti. Она томно подняла руки вверх, обхватила ими затылок и сладостно, так что майка под мышками напряглась как парус на добром ветру, потянулась.

Этот жест (так они договорились заранее) означал, что возникла непредвиденная угроза, с которой она одна не справится. А-Б, впрочем, сомневалась, что Лекалов-Соннов и Хвостов, включая примкнувшего к ним Хрю,

справятся с возникшей угрозой. С Осей не могла совладать могучая российская прокуратура, что же говорить о трех негодных мальчишках?

— Да,— вздохнул Ося,— я ненавидел СССР за его прочность. Он олицетворял собой идею, которая по определению не знала отступления. Куда бы ни заносило семя коммунизма — на Кубу, в Анголу, в Никарагуа, в Афганистан — оно там прорастало, казалось, навечно. Это семя разламывало камень, шурупом-саморезом ввинчивалось в бетонную отвесную стену. А человек,— тревожно посмотрел по сторонам Ося,— не просто не любит, но тайно ненавидит все окончательное, что надолго, что ему представляется незыблемым и вечным, пусть даже оно приносит ему сплошную пользу. У религий нет шансов в этом мире,— сказал Ося,— как, впрочем, и у свободы, демократии, тоталитаризма и диктатуры. Единственно возможный способ их существования — чередование, как правило, многократное даже при жизни одного поколения. Нет ничего более непрочного, чем то, что представляется вечным и несокрушимым,— продолжил Ося,— и нет ничего более долговечного, чем то, что должно было умереть еще вчера, про что человек думает, что эта мерзость не может сколько-нибудь долго длиться, потому что она противна всем Божественным, да и человеческим установлениям. Но она длится и длится.

— Неужели вы полагаете, что СССР с его стотонными ядерными ракетами и миллионами танков был менее прочен, нежели нынешняя Россия с... ничем? — удивилась А-Б.

— Увы,— горестно кивнул Ося,— потому что нынешняя Россия поставлена на самый грязный, скользкий, ненадежный, но в то же самое время самый несокрушимый фундамент — деньги. Что такое деньги? — спросил Ося и сам же ответил: — Продажность, коррупция, стяжательство, то есть подвижная комбинация вечных грехов, на которых во все времена стоял мир. Почитай Ветхий Завет. СССР погубила идея. Дело в том, что идея, а в основе СССР все же была идея, всегда более подвержена исчезновению и смерти, чем абсолютная безыдейность. Идея, в особенности социальная, ограничивающая произвол денег, предполагает спрямление перманентной человеческой греховности, то есть определенное насилие над ней, в то время как отсутствие идеи позволяет этой греховности расправлять плечи, виться кольцами, вольно расползаться по всему бесконечному пространству бытия. Беда в том,— продолжил Ося,— что всякий неостановленный грех подобно леднику сползает вниз — с гниющей головы в толщу народа. По мере сползания вниз суть коррупции, предательства и стяжательства предельно упрощается. Внутри народа они приобретают системный, так сказать, жизнеобразующий характер. Едва придя в магазин продавщицей, вчерашняя школьница уже знает, что надо воровать и обвешивать. Только заступив на службу в милицию, отслуживший армию паренек знает, что надо снимать с пьяных часы и отнимать у кавказцев деньги. Любой террорист сегодня в России пронесет за сто долларов что угодно куда угодно. Любой постовой пропустит бородатого чеченца через все посты. Метафизика общественного развития заключается в том, что на-

род относится к добродетели точно так же, как относится к ней власть. Если власть — сволочь и вор, то народ мгновенно превращается в двойную сволочь и двойного вора. Власть ворует нефть, газ и золото, народ... рубит и продает лес, который растет у него прямо за избой, обдирает мох, дотла вычерпывает рыбу из озера, тащит все, что лежит на земле без присмотра. Простые люди, особенно в больших странах, исключительно покладисты на все плохое, потому что эти малые сии во все времена слабо различают добро и зло. Какие-то они в этом плане дальтоники. Потому-то раньше в каждом селе и стояла, как свеча, церковь. Она освещала добродетель и выхватывала из темноты грех. Но идея разрушила церковь, потому что ей не нужны были конкуренты. Я смеюсь, когда слышу, что Россия — неуправляемая страна. Еще как управляемая, но самыми скверными, низменными инстинктами! Таким образом, — завершил краткую лекцию о положении дел в стране Ося, — вы хотите уничтожить то, что уничтожить невозможно. Вы подняли руку на... самого сатану, которого пока никому не удавалось победить. Сейчас в России правит не власть, но деньги плюс низменные инстинкты. Деньги отливаются в форму власти, причем в любую форму. Надо — в либеральную. Надо — в диктатуру. Либеральная власть вас всего-навсего обдерет и посадит. Диктатура — уничтожит.

А-Б подумала, что сходит с ума. Она вдруг припомнила сразу два хвостовских мини-романа, странным образом имеющих отношение к теме ее разговора с Осей.

«К смене власти человек относится, как к смерти жены».

«Он умел зарабатывать, но не умел тратить, а потому был счастливым и несчастным одновременно».

Вот только к кому конкретно относится второй мини-роман, она не знала. Сама А-Б пока не много заработала в своей жизни. Гораздо больше потратила. Ося зарабатывал и тратил много, а потому (по хвостовскому мини-роману) был однозначно счастливым.

— Значит, выхода нет? — спросила она.

— Почему? — пожал плечами Ося. — Выход всегда есть. Вы покушаетесь на мир власти, тогда как уничтожать следует не мир власти, но мир денег. Единственная действующая сегодня в России национальная идея — это деньги. Единственная радость, которую дано испытывать современному россиянину — это радость от обладания деньгами. Все остальное оплевано, оболгано и разрушено. Кто вне денег, тот вне жизни. Это железная закономерность, и эти парни во власти последовательно проводят ее в жизнь. Их не смущает, что вне жизни оказывается практически все население несчастной России. Говорят, что Россия прошла критическую точку, и теперь уже никогда не развалится. Чепуха! Достаточно всего лишь разработать и запустить такую схему, при которой развал страны будет финансово выгоден группе людей, принимающих решения, и все — Россию растащат на куски! Я, впрочем, — почесал себя за ухом Ося, — не уверен, что эта схема уже не приведена в действие...

— Но деньги не могут быть ликвидированы, как класс, — возразила А-Б. — Уничтожить деньги — это все равно что запретить людям есть, пить и... — вдруг покраснела, — заниматься сексом.

— Да, — свысока, как ей показалось, посмотрел на нее Ося, — деньги не могут быть уничтожены посредством уничтожения их, скажем так, отдельных обладателей. У денег свой собственный жизненный цикл. Сменив владельца... — понизил голос Ося, — они только молодуют! Деньги можно заменить только тем, что не просто возместит их функцию, но превзойдет ее, растворит в себе. Видишь, — спросил Ося, — как быстро мы подошли к сути дела, так сказать, поднялись на самый пик проблемы.

С пика проблемы окружающая действительность представляла грустной и бесприютной.

А-Б подумала, что, в сущности, жизнь — это бесконечная череда обманов. Разве материнство — счастье? — подумала А-Б. Нет, это сугубо вынужденное дело, сопряженное с невыносимой болью и диким, растянувшимся во времени, разочарованием. Разве человек приходит в мир, чтобы радоваться и утверждаться? Нет, он приходит в мир, чтобы непрерывно страдать и унижаться. И чем он от природы умнее и совершеннее, тем сильнее его страдания и отвратительнее унижения. Разве учителя в школе любят учеников? Нет, в лучшем случае они к ним равнодушны, но гораздо чаще они их открыто (и ведь есть за что!) ненавидят. Разве ученики учатся в школе разумному, доброму, вечному? Нет, они постигают там самые грязные — физические и бытовые — стороны человеческих отношений. Разве дети любят своих родителей? Нет, они их не любят. В основном (пока от них зависят и пока те сильнее) боятся, а так — презирают и не считают за людей. Разве так называемая

первая (вторая, третья и так далее) любовь — благо? Нет, это торопливая, болезненная грязь, сильно замешанная на обидах, ревности, бессмысленных, не имеющих отношения к реальности переживаниях и неизбежном разочаровании. Разве работа, где надо непременно находиться с девяти до шести, способна приносить хотя бы скромное удовлетворение? Нет, это отнятое у жизни, впустую потраченное время.

А-Б подумала, что тотальный многоуровневый обман, собственно, и есть человеческая жизнь.

И еще подумала, что смерть — вершинная точка (пик) этих обманов. На пике они обретают новое качество, стягиваются, как веревки, в узел, свиваются в неоспоримую истину.

Смерть — единственное, что не обман, вдруг поняла Альбина-Беба.

Но и она, смерть, ходила в обмане, как в шелках, в ложной человеческой надежде, что после нее будет что-то еще.

— То, что вы говорили про Россию, очень интересно, — сказала Осе А-Б, — но ведь ни одна страна в мире не выдержит такого воровства. Если все у нас основано на воровстве и деньгах, а деньги в основном приходят к нам как плата за наши природные ресурсы, то ресурсы скоро иссякнут, и что тогда?

— Новый проект, — вытянул ноги, скрестил на груди руки, одним словом, расслабился Ося, — тот самый, который возместит функцию денег, растворит деньги в себе, чтобы затем придать им новую сущность.

— Что же это за проект? — с тоской спросила А-Б.

— Вечная жизнь для избранных, — ответил Ося, — и вечная смерть для всех остальных. Выбирай, — протянул навстречу А-Б две узкие желтые ладони.

— Допустим, — осторожно, как костяные лезвия, отвела в сторону его ладони А-Б, — я поняла, что такое деньги, но ответьте мне, что такое вечная жизнь для избранных и вечная смерть для всех остальных?

— Мошенничество, — одними губами улыбнулся Ося.

— Неужели это мошенничество... от Бога? — одними губами же поинтересовалась А-Б.

— Возможно, — пожал плечами Ося, — в той же степени, в какой от Бога СПИД или атомная бомба. Я думал, — посмотрел на А-Б полными слез глазами, — что ты согласишься выйти за меня замуж и я получу вечную жизнь в качестве, так сказать, твоего приданого. Но ты почему-то не хочешь выходить за меня замуж! Бог дал этот невозможный шанс — ген вечной жизни — твоему отцу. Я думаю, он наткнулся на этот бриллиант совершенно случайно, перебирая тонны человеческого мяса, как пустую породу. А может, не случайно, — продолжил Ося, — может, Бог сознательно отдал его в руки твоего отца, потому что у России сейчас нет проекта, чтобы сохраниться в мире. Бог отдал, наверное, последний козырь в своей колоде твоему отцу, и как твой отец распорядился этим немислимым козырем? Зачем-то завел шашни с нашей ничтожнейшей, продажной властью! Конечно, они тут же посадили его под колпак. Твой отец мог вернуть мир! — крикнул Ося. — Но вместо этого он подрядился продлить жизнь далеко не лучшим представите-

лям российской власти! То есть законсервировать современный порядок вещей, как мамонта в ледяной глыбе. Народ России будет ускоренно вымирать, а эти жалкие людишки, — махнул рукой в сторону Кремля Ося, — будут править нами вечно!

— Но вам-то что до этого? — А-Б даже испытала некоторое уважение к миллиардеру, так искренне пекущемуся о социальной справедливости и благе народа России.

— Собственно, я приехал сюда, — поднялся со скамейки Ося, давая понять, что беседа подошла к концу, — для того, чтобы купить у твоего отца ген вечной жизни. Даже не столько для себя, сколько для тех людей, от чьих предложений никто и никогда не отказывается. Я даже не уверен, — доверительно склонился Ося к уху А-Б, — что они люди. Но они повелевают миром, следовательно, не суть важно, кто они. Ты не согласишься, — рассмеялся Ося, — но твой отец отказался от сделки. Более того, — быстро посмотрел по сторонам, — он заложил меня властям, то есть поступил не как серьезный бизнесмен, а как дешевка. Поэтому я рассудил так. Допустим, твоему отцу не нужны деньги. Но разве можно допустить, что ему не нужна ты? — крепко взял за руку А-Б Ося. — Поэтому мы прямо сейчас поедem к твоему отцу и совершим обмен. Я думаю, — озабоченно посмотрел на часы Ося, — это не займет много времени.

Вероятно, именно поэтому Ося решил не спешить. Он как-то грустно вздохнул и опустил голову на грудь. Желтая клешня, сжимавшая руку А-Б, разжалась.

А-Б ощутила странное шевеление за скамейкой. Она оглянулась, но ничего не увидела.

— Сиди тихо, не двигайся! — донесся до нее из-под скамейки голос Лекалова-Соннова.

— Ты... убил его? — прошептала А-Б.

— Зачем? — удивился из-под скамейки молодой философ. — Так... погладил по головке. Через час будет как огурец. Посмотри, что там у него в карманах.

— Ну, вот еще! — оскорбилась А-Б. Скосив глаза, она увидела, что Лекалова-Соннова под скамейкой нет. Под скамейкой расположился черный полиэтиленовый мешок для листьев с прорезями для глаз и рта.

— Ага, — ухмыльнулся Лекалов-Соннов, — так и крался на карачках от самого сортира. — Ты подожди, сейчас ребята...

Он не успел договорить, потому что «мерседес» вдруг начал пятиться назад на проезжую часть.

— Все! — стянул через голову мешок Лекалов-Соннов. — Сейчас они отъедут, разгрузят машину и вернутся за нами. И — вперед на Жеребец! Только заедем за снастью и вызовем Ильябою, чтобы посидела с ребенком.

— Как это, разгрузят машину? — не поняла Альбина-Беба.

— Элементарно, — опустил рядом с ней на скамейку Лекалов-Соннов. — Высадят где-нибудь балласт,

может быть, еще поменяют номера, хотя, наверное, это необязательно. Вряд ли он, — кивнул на неподвижного Осю, — станет заявлять об угоне машины. И потом, мы разве угоняем? Только съездим на Жеребец, а потом вернем.

— А что с теми, кто в машине, что... с балластом? — мрачно поинтересовалась А-Б. До сего мгновения она полагала, что связалась, в общем-то, с приличными ребятами, но, как выяснилось, связалась с отпетыми бандитами.

— Да ничего, — усмехнулся Лекалов-Соннов, — ты думаешь, мы полные идиоты, пошли собирать деньги под честное слово и не подстраховались? У Хрю был баллон с усыпляющим газом, подарил один спецназовец. Действует мгновенно. Хвост вроде как совершал пробежку по бульвару и, пробегая мимо, дал струю в окно «мерседеса». Часа два будут отдыхать. А я тихонько к тебе полз, чтобы не спугнуть. Пощупай, — сунул в руку А-Б короткую резиновую дубинку с кнопками на рукоятке, — разве этим можно убить? Это самое гуманное, мирное, демократическое оружие...

— Тоже спецназовец подарил?

— Ага. Теперь ты убедилась, что в газетах все врут про то, что у спецслужб нет денег. Вон какие штуки таскают.

— Кнопки зачем? — спросила А-Б.

— Регулируют силу электричества, — с готовностью объяснил Лекалов-Соннов. — Можно так, чтобы дядя не потерял сознания, но ему было очень больно. А можно совершенно безболезненно отключить, как вот

его... — Лекалов-Соннов сделал вид, что (как заботливый... кто?) поправляет у Оси воротник и стряхивает с его пальто пылинки, а в действительности незаметно, как опытный карманник, обшарил его карманы. — Ага, — извлек на свет Божий блестящий металлический прямоугольник, — что тут у нас? Фотоаппарат, видеокамера, телефон, компьютер в одном флаконе, — вздохнув, передал предмет Альбине-Бебе. — Отдашь ему потом, если, конечно, захочешь. Слушай, а чего он к тебе прилепился, как банный лист к...?

СХотел, чтобы я вышла за него замуж, — ответила чистую (хоть и не всю) правду А-Б.

— Когда человек теряет смысл существования, — заметил Лекалов-Соннов, — он пытается сосредоточиться на форме. Когда человечество теряет содержание, — предельно широко обобщил мысль, глядя на металлический предмет, — оно стремится к неоправданному расширению своих функций, то есть пытается подменить собой Бога. Хочешь, я тебя сфотографирую? — подозрительно быстро разобрался с непростой техникой Лекалов-Соннов.

— Не хочу! — А-Б поняла, что у нее сейчас нет никакого морального (и, видимо, Божеского, ведь ребята, можно сказать, пошли ради нее на преступление, точнее, нескончаемую цепь преступлений) права отказаться от ловли сирен на озере Жеребец.

У нее испортилось настроение. С какой-то удивительной готовностью пошли, мелькнула нехорошая мысль.

Во-первых, А-Б с самого начала не хотелось туда ехать.

Но ребята, утомившись ее несговорчивостью, сами предложили А-Б назначить день ловли. Она назначила четвертую октябрьскую субботу, справедливо полагая, что за это время что-нибудь да случится. В смысле такое, что помешает отправиться на ловлю несуществующих сирен. Сегодня (что-то) определенно случилось. Но случившееся «что-то» не помешало, а, напротив, сделало ловлю сирен безвариантной.

Конечно, если будет хорошая погода, помнится, подстраховалась А-Б. Каждому ребенку известно, что в четвертую субботу октября в России хорошей погоды быть не может. Но сегодня погода стояла великолепная.

Во-вторых, главным сверхчеловеком она считала себя.

Но оказалось, что сверхлюдей вокруг — пруд пруди. Лекалов-Соннов, Хвостов и отбывающий в Америку Хрю ей только что это доказали, как говорится, личным примером. Российская прокуратура днем с огнем не могла отыскать Осю. А ребята не только нашли его (хотя и не искали), но и мгновенно привели в «товарный» (для сдачи в прокуратуру) вид государственного преступника, несмотря на всю его охрану и самые современные средства связи.

— Зря не хочешь, — не сильно, впрочем, огорчился отказом А-Б фотографироваться молодой философ. — У Хрю, кстати, есть отличная книга — «Тысяча обнаженных женщин».

— Это ты к чему? — с подозрением покосилась на Лекалова-Соннова А-Б.

— Ты бы могла украсить эту книгу, — мечтательно произнес Лекалов-Соннов. — Знаешь, какого года фото-

графия открывает книгу? Тысяча восемьсот шестьдесят четвертого!

— Ну и что? — не поняла А-Б.

— Ничего, — пожал плечами Лекалов-Соннов, — за исключением того, что фотография, собственно, и была изобретена для того, чтобы запечатлевать обнаженных женщин.

— Кто сказал? — поинтересовалась А-Б.

— Ты же не станешь спорить с тем, что все в мире от Бога? — продолжил мысль Димитрий. — Значит, и фотографию придумал Бог. Я точно знаю, что на самой первой фотографии в мире был сам Бог. На второй — дядя, который якобы ее придумал. А на третьей — обнаженная женщина.

— Откуда ты знаешь?

А-Б вдруг вспомнила, как путешествуя недавно по Интернету, она наткнулась на сайт под названием «Домашнее порно». Это был интерактивный сайт, куда все желающие отправляли по почте самостоятельно снятые ролики. На А-Б буквально обрушились молодые, пожилые, белые, черные, желтые, татуированные, волосатые и обритые человеческие тела. Она не могла понять, зачем все эти люди, в особенности пожилые, размещают в Интернете отвратительные видеоролики? Особенно поразила ее стартовый ролик. Какой-то он был тусклый, затертый. Неопределенного возраста мужчина и женщина торопливо и неаккуратно трахались в предельно усредненном гостиничном интерьере. А-Б, помнится, подумала, что, видимо, это и есть некое универсальное обобщение вялой человеческой страсти, так называемой

грустной муки совокупления. Некий апофеоз тоски, тщеты и отчаянья увиделся ей в гостиничном акте немолодых людей. Тут еще, вспомнила А-Б, подошел Хвостов и тоже стал смотреть, как он выразился «геронтопорно». Есть намоленные иконы, сказал Хвостов, есть начитанные книги и, вероятно, есть насмотренное порно. Я думаю, с отвращением отвернулся от экрана, мы еще доживем до времени, когда появится специальный канал «Семейное порно», сейчас ведь уже есть, заглянул в валяющуюся на столе программу передач, «Яйцепровод». Что это, спросил Хвостов, ты смотрела? Но А-Б не смотрела.

Особенно много роликов почему-то приходило на сайт с Украины.

Ну да, вздохнул, Хвостов, едва ли на просторах СНГ, а теперь, стало быть, и Европы отыщешь мужика, который бы не драл хохлушек. Развал СССР сильнее всего ударил по их... По ним.

— А откуда, — ответил Лекалов-Соннов, — что на каждой фотографии, где есть обнаженная женщина, незримо присутствует Бог.

— Зачем? — удивилась А-Б.

— Во искупление первородного греха. Потому-то он и попустительствует такому злу, как порнография.

— А также такому злу, как смерть, — мрачно добавила А-Б.

Она вдруг подумала, что ловля сирен как раз и есть порнография и смерть в одном флаконе. И вы хотите преподнести этот флакон мне, подумала Альбина-Беба.

— Какой смысл ловить то, что не существует? — спросила Альбина-Беба у своих друзей — отцов, как она их называла, спасенного от голодной смерти ребенка, когда они загрузились в похищенный (А-Б надеялась, что на время) «мерседес» с тонированными стеклами.

Хвостов вел тяжелую дорогу (вероятно, бронированную) машину уверенно и аккуратно, из чего А-Б заключила, что, видимо, нет таких правонарушений, включая угон машин, в которых бы не поднаторели так называемые отцы.

— В современной России человек, если хочет выжить, должен уметь делать все! — заявил Лекалов-Соннов, словно прочитав ее мысли.

— И даже больше! — убежденно добавил Хвостов. — Иначе не выживет.

— А если нас остановят? — с тоской поинтересовалась А-Б, понимая, что этим вопросом зарвавшихся отцов не испугать.

— А у нас пропуски! — Лекалов-Соннов помахал перед ней веером из сто долларовых купюр.

Ну да, подумала А-Б, где угон там и грабеж.

Слабым утешением могло служить то обстоятельство, что из банды выбыл Хрю. Он бы наверняка подбил отцов ограбить по пути к сиренам банк или магазин.

А-Б взглянула на часы. Времени у Хрю оставалось только на то, чтобы собрать вещи да и рвануть в Шереметьево-2, особенно если учесть, что с некоторых пор на

регистрацию рейсов в Штаты следовало являться за семь, что ли, часов.

А-Б вдруг вспомнила слова Оси, что человеку совестливому и порядочному (в силу непонятных причин) крайне трудно получить въездную визу в Штаты. И, соответственно, человеку во всех отношениях скверному сделать это крайне просто. Случай с Хрю подтверждал эту странную закономерность. Если верить Хрю, паспорт с бессрочной визой из американского посольства ему доставили прямо на дом.

На Тверской, как водится, была пробка.

Лекалов-Соннов велел Хвостову гнать по встречной.

— Куда торопимся? — поинтересовалась А-Б.

— Она ждет нас на этой стороне у метро «Динамо», — объяснил Хвостов. — Отдашь ей младенца, и — вперед!

Философ и компьютерщик по-прежнему опасались называть Ильябою по имени.

— Уже ждет? — А-Б прижала Карабаша к себе.

— Мы не можем опоздать, — почтительно произнес Лекалов-Соннов.

— На такие встречи не опаздывают, — добавил Хвостов.

— Это почему? — еще сильнее прижала к себе Карабаша Альбина-Беба.

Ребенок расцветал, совершенствовался с каждым днем. У него были вьющиеся черные волосы и ослепительно-белая (какая практически не встречается в этом мире) кожа. Она даже казалась голубоватой. Такая голубая кожа, как вычитал в Интернете Хвостов, была у ве-

ликого Чингисхана. Это было невероятно, но... памперсы Карабаша благоухали, когда А-Б выбрасывала их в мусоропровод.

Наверное, он бог, думала она.

У найденного в бомжатнике Карабаша и впрямь была божественная судьба. Схожим образом, только не в бомжатнике, а в винограднике (хотя, быть может, во времена античности виноградники мало чем отличались от бомжатников) обнаружили Диониса.

Мысль, что она скоро сдаст божественного ребенка с рук на руки Ильябое, а сама отправится на идиотскую ловлю сирен в озере Жеребец в Тверской области показала А-Б непереносимой и кошунственной.

— Потому что озерные сирены лучше всего ловятся на закате, — объяснил Лекалов-Соннов, — мы должны обязательно успеть.

— Озерные сирены, — продолжил Хвостов, — самые смышленные и миниатюрные из всех сирен. У океанских — большие груди, широкий размах бедер и длинные зеленые волосы. У морских — светятся хвосты. Их всегда сопровождают неоновые рыбки. А в подземных водах водятся черные как уголь сирены-негритянки, у них хвосты вообще без чешуи, гладкие, как у рептилий.

— Но озерные самые красивые, — заявил Лекалов-Соннов. — Ты сойдешь с ума, когда увидишь, может быть, даже влюбишься в одну из них. Вдруг тебе откроется прелесть лесбийской, точнее... жеребьячьей любви?

— Слово «жеребьячья» здесь неуместно, — разозлилась Альбина-Беба. Но после паузы все же уточнила: — Неужели сирен можно любить... в человеческом смысле?

— А зачем же мы тогда отправляемся их ловить? — расхохотались отцы.

— Вы будете трахать сирен прямо в лодке? — спросила Альбина-Беба.

— Только, если они попросят, — ответил Лекалов-Соннов.

— Но они никогда об этом не просят, — вздохнул Хвостов.

— Последний вопрос. На что вы собираетесь их ловить? — поинтересовалась А-Б.

— Как на что? — удивился Хвостов. — Разве ты не знаешь? Сирены ловятся... на... боль.

— На боль? — переспросила А-Б. — Что значит, на боль?

Она вдруг вспомнила текущие по лицу слезы матери, когда та плакала по погубленной жизни. А-Б прижала ее к себе, пытаясь утешить, как говорил преподаватель психиатрии, «животным теплом» — последним аргументом против отчаянья. Дыхание у А-Б перехватило, как если бы она стояла в операционной и у нее из рук выпала и разбилась о твердый пол склянка со спиртом. Так непобедимо пахло от матери алкоголем.

«Не плачь, — сказала А-Б. — О чем ты плачешь?»

«Не о себе, — вдруг отчетливо произнесла мать. — О тебе».

Тогда А-Б не поняла, почему мать должна плакать о ней — молодой, красивой, сильной и (как она надеялась) богатой? А сейчас подумала, неужели сирены ловятся на эти слезы?

Она вдруг вспомнила, как однажды забежала в комнату к отцу, а тот едва успел спрятать за спину руку с пистолетом.

«Ты что?» — испуганно спросила А-Б.

«Ничего, — ответил отец, — это просто так, шутка, ты же знаешь, что он не заряжен».

Но А-Б успела увидеть выглядывающие из барабана острые золотистые носы пуль. Она прекрасно знала, что это боевые, а не газовые или шумовые пули, потому что не раз уносила этот миниатюрный маузер в лес и там стреляла по пивным банкам. Неужели, подумала А-Б, сирены ловятся на такие разговоры?

Она вспомнила исполненный тоски, прозрачный, как вода, взгляд писателя Иванова. А-Б расчесывала волосы, глядя в черное зимнее окно, где летал снег, а Иванов сидел у камина со стаканом виски. А-Б отвернулась от окна и встретила глазами с Ивановым.

«Я люблю тебя, — вдруг сказал Иванов, — я тем сильнее люблю тебя, тем отчетливее понимаю, что ни при каком раскладе, ни при каких обстоятельствах я тебе не нужен ни со своей любовью, ни даже с целой Вселенной, если бы она мне вдруг досталась. — Я наконец понял, в чем трагедия человека, — продолжил он, — она в том, что плоть разрушается и гниет, а вечные чувства — любовь, ненависть, страх, жадность, желание денег, воля к власти, жажда славы — всегда молоды и победительны, как только что проклюнувшиеся почки на ветках. Беда, — вздохнул Иванов, — когда судьба на старости лет одаривает тебя такими почками. Они прожигают дерево насквозь».

Неужели, подумала А-Б, сирены ловятся на такие почки?

Она вспомнила пронзительный скрип колес по гравии красного «феррари», свет фар на эвкалиптовом серпантине.

Неужели, подумала А-Б, сирены ловятся на этот скрип и этот свет?

И еще почему-то вспомнила сильно напугавший ее то ли стон, то ли вздох, вдруг исторгнувшийся из груди лежащего на железном прозекторском столе огромного мужика, когда она предавалась в морге любви с гением-хиругом.

«Не обращай внимания, — помнится, снисходительно погладил ее по животу гений, — у него всего лишь провалилось сердце. На третий день волокна мышц расплетаются, и внутренние органы проваливаются. Печень обычно крикает, как утка, селезенка щелкает дроздом, матка выпадает с мышинным писком, а вот сердце как будто стонет или тихо вздыхает».

Неужели, подумала А-Б, сирены ловятся на эти звуки?

А-Б отметила, что странным образом все, о ком она только что подумала, бесконечно милы ее сердцу. Как, впрочем, и другие, о ком она не подумала — не удававшаяся самоубийца Ильябоя, легко несущая по жизни свою тяжелую задницу, Лекалов-Соннов, Хвостов и, естественно (А-Б больше не сомневалась, что он бог), Карабаш.

Неужели, подумала А-Б, сирены ловятся на невозможную, граничащую с кретинизмом, любовь к близким, которая, собственно, и есть боль?

— Я знаю, на что я буду ловить, — не без гордости сообщила она отцам. — А на что будете ловить вы, любезные?

Хвостов показал А-Б пластиковую коробку, внутри которой помещался золотистый компьютерный диск.

— Понятно, — сказала А-Б, — на DVD, как на блесну.

— Труд многих дней и бессонных ночей, — ответил Хвостов, — модель развития революционной ситуации в России.

— В России, — возразила А-Б, — революционными могут быть только мысли отдельных людей, но никак не ситуация. Ситуация в России всегда контрреволюционна. Она почти всегда побеждает любые мысли.

— В семнадцатом году не одолела, — возразил Лекалов-Соннов.

— Это называется отсроченная контрреволюция через революционную реставрацию, — объяснил Хвостов. — Да, в России мысли передовых людей никогда не претворяются в действие. Или претворяются, но какие-то не те, дикие мысли, имеющие целью, как, допустим, сейчас, революционное приобретение денег. Я даже пытался в свое время разработать что-то вроде специальной компьютерной программы по претворению мысли в действие. Но меня засекла компьютерная полиция, — продолжил Хвостов, — они пустили мне навстречу вирус, призванный уничтожить разработчика, то есть меня. Сначала этот вирус снял с меня отпечатки пальцев, потом сканировал сетчатку глаза, потом они сконструировали мой виртуальный образ и попытались подавить мою волю...

— Каким образом? — заинтересовалась странной историей А-Б.

— Через систему игр, — ответил Хвостов, — у меня было несколько игр, в которые я постоянно играл. Они перепрограммировали их таким образом, что после каждой игры я выходил опустошенным, унылым, потерявшим веру в себя и в мир. Игры ведь для того и существуют, чтобы манипулировать психикой. В принципе, через игру можно послать импульс на убийство или какое-нибудь другое преступление.

— И они послали? — спросила А-Б.

— Нет, — покачал головой Хвостов, — я разгадал их схему. Тогда они бросили на мой компьютер убийственный электрический заряд, ну, чтобы меня, значит, убило током, а выглядело бы все, как несчастный случай. Они таким образом уже уничтожили тысячи хакеров. Я едва успел выдернуть вилку, — рассмеялся Хвостов, — но меня все равно крепко шарахнуло. Ничего, выжил. С программой, правда, пришлось завязать.

— А что же тогда на DVD? — спросила Альбина-Беба.

— Возможности социального протеста в стране исчерпаны, — вздохнул Хвостов. — Я смоделировал все возможные ситуации, теоретически имеющие шансы превратиться в революционные, включая широчайшее распространение семейного порно и тому подобное. Единственно возможный сегодня путь к социальной революции — это спланированный выход на всероссийский запой. Только такое сопротивление сегодня по плечу нашему народу. Главное войти в этот запой, — задумчиво

произнес Хвостов, — определить волшебную стартовую точку, допустим, объявить какой-нибудь «День защитника водки». Не менее важно сочинить подходящую песню, чтобы вся страна запела.

— А это еще зачем? — удивилась А-Б.

— Ты вдумайся в слово «запой», — объяснил Хвостов. — Это не только существительное, предполагающее известный процесс, но и глагол, предполагающий действие, а именно: исторгающий из глотки песню. Надо, чтобы запили и запели. Потом уже будет не остановить. Государственные структуры сами собой рухнут. Не потребуются никакого насилия. Эту песню, — усмехнулся Хвостов, — не задушишь, не убьешь. В принципе, процесс идет, но медленно. Если бы водку по телевизору рекламировали так же, как пиво, мы уже могли создавать революционный штаб.

— Понятно, — А-Б тронула за плечо Лекалова-Соннова, — а ты, дружок, на что собираешься ловить?

— Я думаю, — задумчиво ответил молодой философ, — самоубийство совершается не из жалости к себе. Оно совершается из жалости к другим людям, то есть, в сущности, из жалости к миру.

— Естественно, — откликнулся Хвостов, — самоубийство сродни сексу. Женские трусы не могут сами по себе волновать мужчину. Они волнуют мужчину, как слепок, как оправа женской задницы. Так и самоубийство внутри себя лишено содержания. Оно, как трусы на женскую задницу, налепляется на мир...

— И куда мир идет в этих трусах? — поинтересовалась Альбина-Беба.

— К Богу, — ответил Лекалов-Соннов, — все дороги мира ведут к Богу. Видишь ли, — снисходительно продолжил он, — суть жизни предельно проста. В ее основе — то, что произошло с Христом. Это матрица, по которой устроен мир. Она вмещает в себя бесконечное множество любых вариантов. Это... очки, — почему-то прошептал молодой философ, — сквозь которые можно разглядеть Бога.

— И ты Его увидел? — спросила А-Б.

— Ты думаешь, — усмехнулся Лекалов-Соннов, — Иисуса Христа убили люди? Нет, Его убило то, что называется государством. Точнее, сразу два государства. Гипотетическое, которое хотели создать у себя иудеи, и абсолютно реальное, именуемое Римской империей. Маркс неправильно обозначил скрытую пружину мировой истории. Это вовсе не смена способов производства, а степень накала ненависти к государству как способу организации жизни. СССР рухнул не потому, что там плохой способ производства. Он рухнул потому, что граждане возненавидели свое государство.

Они уже подъехали к станции метро «Динамо». Не сказать, чтобы вокруг было много деревьев, но Ленинградский проспект почему-то утопал в листьях. Они падали с неба, как деньги в кошельки так называемых российских олигархов.

Лекалов-Соннов и Хвостов предались своему любимому занятию — обсуждению идущих по улице девушек. Они до того обнаглели, что совершенно не стеснялись Альбины-Бебы.

— Смотри,— кивнул молодой философ на шмыгнувшую в павильон игровых автоматов невзрачную вострушку.— Я думаю, она отдается с торопливым сопением зверька...

— А вот эта,— обратил внимание Хвостов на дебелую румяную особу, задумчиво уставившуюся в витрину магазинчика женского белья,— тает в руках, как огромная белая свечка...

— Но ведь самоубийство грех,— вернула отцов на землю Альбина-Беба.

— Еще какой,— не стал спорить молодой философ,— но дело в том, что если душа у человека нечувствительна к греху, если он по определению праведник, которому просто не дано грешить, то такой человек бесполезен для Бога, не интересен Ему. Такие люди,— добавил после паузы Лекалов-Соннов,— долго не живут...

— Я поняла! — вдруг дошло до Альбины-Бебы.— Ты... надевал эти очки?

— Было дело,— не стал отрицать Лекалов-Соннов.— Я ведь не знаю своего отца. Вот как он,— кивнул на Карабаша.— Моя мать — добрая женщина, которую... почему-то любят алкаши. Каким-то образом они ее отличают, летят к ней, как насекомые на свет, чувствуют в ней не родственную, но прощающую душу. Мое детство,— опять посмотрел на Карабаша Лекалов-Соннов,— можно сказать, прошло среди алкашей всех возрастов и видов. Когда я вырос, я начал их гонять,— продолжил молодой философ,— и вот совсем недавно один из них, тихий такой, неприметный, даже и не законченный ал-

каш, он то пил, то не пил, я не думал, что с ним будут проблемы, вдруг... саданул меня в грудь ножом.

— Просто так? — спросила А-Б.

— В общем-то, да, — растерянно ответил молодой философ, — я откуда-то приехал, а они сидят на кухне, и я даже пройти к ним не могу, потому что вся кухня заставлена пустыми бутылками. Только такая узкая гусиная тропочка проложена до сортира... Я его и бить-то не собирался, — пожал плечами Лекалов-Соннов, — так... разок въехал для остротки, схватил за шиворот, а он вдруг... за нож.

— Бедненький мой, — погладила молодого философа по круглой голове А-Б, — долго лежал в больнице?

— Да совсем не лежал, — ответил тот, — откуда у алкаша в руке сила? Он мне только кожу поцарапал. Лезвие по кости в сторону ушло. Я только на мгновение, наверное, от неожиданности, сознание потерял. Ну а потом пришел в себя, и все нормально.

— А ты бы на него заявил, — посоветовала А-Б, — его бы посадили, и он бы больше не мучил мать.

— Мать сказала, что я ничего не понимаю в жизни, — ответил молодой философ, — объяснила, что женщины больше всего любят в жизни мужчин, с которыми им интересно и легко. А тот действительно, был такой... своеобразный. Книжный магазин называл кладбищем бесхозных букв. Подбрасывал мне идеи. Например, проект по избранию в президенты России... радуги. Ну а соперником у радуги должен был быть... кролик из цилиндра фокусника. Такой вот придурок, — усмехнулся Лекалов-Соннов. — В ногах у меня валялся, умолял не

выгонять. Говорил, что жизнь можно измерять годами, а можно стаканами кефира, бутылками водки, женщинами... Мол, он, как Фауст, остановил мгновение, когда сошелся с моей матерью, потому что оно прекрасно, и ему больше ничего не нужно. И мать подвывала, вспоминала, как однажды послала его за водкой и презервативами, а он... пошел в церковь и купил там икону.

— Ты потерял сознание,— уточнила Альбина-Беба,— и увидел Бога? Что Он тебе сказал?

— Не поверишь,— усмехнулся молодой философ,— но Бог почему-то разговаривал со мной на латыни. Он сказал: «*Ventriculus sin* и *Valva tricuspidalis* в идеальном состоянии. По остальному не плачь!»

Холод вдруг объял Альбину-Бебу до самого дна ее бездонной и самого конца ее бесконечной души.

43

А-Б сразу увидела Ильябою.

Она стояла посреди падающих листьев с распущенными волосами в длинном черном пальто, с каким-то непонятным зачехленным предметом за спиной.

Безумная надежда шевельнулась в сердце А-Б.

— Возьмите ее вместо меня,— сказала она отцам,— вы же видите, она пришла с удочкой!

— Это не удочка,— внимательно посмотрел на торчащий, как острая черная сосулька, предмет Лекалов-Соннов,— это... если я не ошибаюсь, зонт.

— Зонт? — растерялась А-Б.— Но почему он такой большой?

— Потому что он не от дождя,— объяснил Хвостов.— Это пляжный зонт от солнца.

— Но почему тогда он... черный? — А-Б отчетливо разглядела выглядывающие из чехла, как сложенные крылья (не топыря, аспида?), атласные складки странного зонта.

— Наверное,— предположил Лекалов-Соннов,— это зонт от черного солнца.

Ильябоя повернулась к ним лицом, и определенно что-то невообразимо яркое (золотое, бриллиантовое?) блеснуло из чехла, ослепив Альбину-Бебу.

Неужели... коса, изумилась А-Б, она что, спятила? Да нет, перевела дух, вспомнив, что по пятницам (а сегодня как раз была пятница) Ильябоя играет в гольф.

А когда зрение к ней вернулось, она увидела, что Ильябоя в упор смотрит на быкообразного малого с короткой стрижкой, выбирающего в цветочном киоске букет. Малый явно был не робкого десятка, но, встретившись взглядом с Ильябоей, моментально потускнел, стерся, как монета, в ураганном режиме прошедшая через миллионы рук. Отвернувшись, побрел к машине. И букет темно-красных, как венозная кровь, роз он нес не как букет (цветами вверх), а как банный веник (листьями вниз).

Не жилец, вдруг неизвестно как поняла А-Б.

Она так засмотрелась на парня, что не заметила, как прямо перед ней возникло гладкое и чистое (похоже, не произнесенные слова являлись лучшим в мире средством ухода за кожей) лицо Ильябои.

«Мой маленький, мой хороший, — быстро написала Ильябоя, глядя на выглядывающего из чепчика Карабаша, палочкой на экранчике компьютера, — теперь ты будешь со мной», — и сделала знак отцам, чтобы те поторопились извлечь из багажника «мерседеса» сложенную коляску.

А-Б медленно вылезла из машины. Потом, повернувшись к Ильябое задом, долго меняла памперс,правляла пеленки внутри пухового комбинезона. От подлежащего замене тяжелого памперса шел запах лавандового масла. А-Б окончательно убедилась, что Карабаш — бог. Она резко подалась (задом) назад, желая отодвинуть Ильябою от своего сокровища, но та успела обежать машину, открыть другую дверь и ловко утянуть Карабаша прямо из-под носа Альбины-Бебы.

«Все будет хорошо, — быстро вывела светящейся палочкой на экране Ильябоя, — с тобой все будет хорошо!»

Карабаш был уложен в коляску, прикрыт пледом, но А-Б никак не могла разжать вцепившиеся в коляску руки.

В четыре руки они довели коляску до ближайшей скамейки.

«Я тебе не рассказывала, — вывела Ильябоя на экране, — что несколько лет назад у меня был один парень», — Ильябоя изобразила его почему-то обнаженным с (малых размеров) стоячим членом.

А-Б поморщилась, но Ильябоя написала на экране, что прежде чем кому-то дать, обязательно просит его показать.

«Зачем?» — удивилась А-Б.

«Я должна знать, что именно в меня войдет», — объяснила Ильябоя.

«И что, случилось, что, увидев, не давала?» — поинтересовалась Альбина-Беба.

«Не буду врать, — ответила Ильябоя, — практически нет, — но все равно сначала всегда смотрю».

Парень, которого она сильно любила (на экране возник странный орган, напоминающий одновременно сердце и влагалище), ей изменял.

Ильбоя это установила.

На экране появилась гиря с надписью «сто пудов».

Желая отомстить своему парню, она с горя сошлась с... районным прокурором.

Они познакомились в зоомагазине, где прокурор покупал красных чилийских лягушек для своего аквариума.

Прокурор признался Ильябое, что до сорока лет был девственником (в экран буквально уперся огромный с раздвоенной головой член), а в сорок женился на азербайджанской фигуристке.

Альбина-Беба так засмотрелась на странный член, что не сразу взяла фотографию, которую вытащила из сумочки Ильябоя.

«Я ее у него сп...», — мелькнула на экране поясняющая строка.

На фотографии прокурор стоял у окна, завернутый до пояса в полотенце, а эта самая азербайджанская фигуристка лихо растянулась на подоконнике в шпагате, подняв вверх руки.

Как потом установила Ильябоя, прокурор объявил свой брак с азербайджанкой фиктивным и, более того, от-

нял у нее телевизор «Самсунг», который купил, когда они жили вместе. А жили они вместе год.

«Сволочь,— заявила прокурору Ильябоя,— мог бы и оставить телевизор, хотя бы за то, что целый год пользовался молодой бабой».

Такие ее речи крайне не понравились прокурору, и он перестал звонить Ильябое.

«Такая гадость,— написала она на экране,— весь в псориазе, до сих не могу забыть вонь от мази, которой он мазался».

В отчаянье Ильябоя, которой, как она сформулировала, надоели ничтожные русские мужики с отсутствующим рефлексом цели, сошлась с индусом.

Тот был очень ласков и хорош, пока ухаживал, но потом тайно сделал слепок с ключа от квартиры Ильябои, явился туда в ее отсутствие, украл мобильный телефон, пластиковый таз для белья и почему-то... раскладушку. Индус оставил записку, что не может жить в квартире, где стоит такая вонь и где так много тараканов.

Оказывается, прокурор оставил под кроватью несколько открытых склянок с мазью. Тараканы начали ее жрать и безумно размножаться. Каким-то образом поганая мазь активизировала процесс их размножения.

Ильябоя вызвала санэпидстанцию. Те приехали, сказали, что случай очень сложный, травить тараканов придется по меньшей мере неделю.

Ильябоя перебралась к матери, которая встретила ее неласково.

Мать не верила, что Ильябое удастся наладить свою личную жизнь.

Все мужчины, по ее мнению, делились на три разряда: алкаши, жадины и маразматики-импотенты. Последние численно преобладали, потому что с возрастом в них (при сохранении прежних пороков) вливались и алкаши, и жадины.

«Какое счастье, — сказала мать Ильябое, — что твой отец до самой смерти оставался нормальным мужиком. Он умер внезапно от сердечного приступа прямо в троллейбусе. Я, можно сказать, всю жизнь была счастлива, потому что у него был, как у коня!»

Ильябоя поведала А-Б, что после выхода из клиники пребывает в состоянии насильственного воздержания и сейчас готова дать хоть... коню.

«Вот так я отомстила за измену своему парню», — весело подмигнула А-Б Ильябоя.

Зачем она мне все это рассказывает, вдруг спохватилась А-Б, чего она хочет?

Она сама не заметила, как ее сжимающие коляску, руки разжались.

Ильябоя поцеловала А-Б в щеку, сделала ручкой изнемогающим от ожидания отцам и покатила коляску в сторону стадиона «Динамо».

А-Б (точно такой же походкой, как стриженный бандит, только без цветов) поплелась к «мерседесу». И только когда они миновали Шереметьево и вырвались на оперативный простор Ленинградского шоссе, она вспомнила, что так и не уточнила у Ильябои, что за штука у нее в чехле за спиной. Почему-то А-Б была уверена, что это не зонт и не клюшка для гольфа.

Чем они дальше отъезжали от Москвы, тем величественнее и красивее становились окружающие осенние пейзажи.

А-Б вспомнила, как она и Ильябоя пытались в детстве изобрести свой собственный язык. Уже тогда А-Б понимала, что все сложное — это глупое и ненужное, а все простое — легкое и естественное.

И потом А-Б всю жизнь ценила в людях простоту, не претендующую на познание мира.

Так растет в лесу дерево, а в поле бурьян.

Но люди не хотели следовать этому правилу. Люди боялись простоты и ненавидели ее.

А еще А-Б подумала, что смерть, как правило, выхватывает человека из жизни в момент завершения всех дел, если же дела не завершены — отпускает. Разве мои дела завершены? — А-Б вспомнила Карабаша (теперь она была на сто пудов уверена, что он бог) и совершенно успокоилась.

Прямо на них с неба наплывал огромный дирижабль с рекламой «Сникерс».

— Если бы Бога навязывали так же, как сникерсы, — неодобрительно посмотрел на дирижабль Хвостов, — по земле бы ходили одни богоносцы.

— Божественный пиар, — пробормотал Лекалов-Соннов, извлекая из пакета бутылку пива.

— Дай мне, — потребовала А-Б, едва молодой философ успел ее открыть.

У пива было интересное название «Прощай». А-Б еще такого не пробовала.

У нее снова возникло ощущение, что время остановилось.

А-Б подумала, что следует что-то немедленно предпринять, чтобы дать времени пинок под зад. Так она встряхивала остановившиеся (заведенные, но не желающие идти) часы в надежде, что они все-таки пойдут.

— Это очень редкое в Москве пиво, — заметил Лекалов-Соннов, — пока вы сидели на скамейке, я обегал все ларьки. И только в одном нашел по семнадцать рублей.

— Почему такое редкое пиво стоит так дешево? — усмехнулась Альбина-Беба.

— А ты не знаешь, — удивился молодой философ, — что все необходимое для жизни стоит очень дешево, а все ненужное — предельно дорого? Это основной закон экономического и... не только экономического развития.

— Это так, — откликнулся с водительского сиденья Хвостов. — Казалось бы, нет ничего более нужного для жизни, чем сперма, но почему тогда за нее так мало платят?

— Откуда знаешь? — удивилась А-Б.

— Ты что, забыла? — заржал Лекалов-Соннов. — Он же донор спермы! У него есть значок «Почетный донор спермы»! Мы же сочинили про него сценарий!

— А ты сам донор... чего? — поинтересовалась А-Б у молодого философа.

— Я мог бы быть донором мыслей, — скромно потупился тот. — Но мысли в нашей жизни ценятся гораздо дешевле спермы.

— Боюсь, что донорство мысли — процесс неконтролируемый, — усмехнулась Альбина-Беба, — а главное, непродуктивный. Как говорится, не в коня (почему-то вспомнился неведомый отец Ильябон, у которого был как у коня) корм.

— Жизнь — теория странствующих сюжетов, — отозвался Хвостов, — а мы все — бесхозные буквы, как говорил тот алкаш, в этих сюжетах.

А-Б протянула тяжелую руку к бутылке, которую молодой философ Дмитрий Лекалов-Соннов передавал в данный момент молодому компьютерщику Виталию Хвостову. Ее рука повисла в воздухе, как рекламирующий сникерсы дирижабль, а Хвостов в два молодецких глотка осушил бутылку.

А-Б подумала, что по большому счету мать Ильябон была права. Все мужчины алкаши, жадины и маразматик-импотенты. Во всяком случае первые два пункта Лекалов-Соннов и Хвостов только что наглядно подтвердили. Да и насчет того, что они маразматики, тоже вряд ли имело смысл спорить. Ну а импотентами рано или поздно становятся все мужчины.

Засыпая, А-Б успела подумать, что внутри каждого дела, каждого действия, особенно такого, как выяснение истины, сидит тормоз, который необходимо преодолеть. Но этот тормоз является частью сознания, а потому преодолеть его невозможно...

Странная фраза «Подходит не к каждому, отходит не сразу» вдруг всплыла в памяти А-Б, как доисторическая глубоководная рыба с выпученными (от страха?) глазами.

Сон как рукой сняло.

А-Б ясно вспомнила, как учительница подвела к ней маленькую Ильябою и попросила не обижать. «Это добрая девочка, — погладила учительница Ильябою по голове, точнее, по огромному белому банту на голове, — только учти, она подходит не к каждому, а отходит не сразу».

В сознании А-Б образовалась пауза.

Подходит не к каждому.

«Прощай!» — вспомнила А-Б сделанную жирным черным фломастером надпись и большую фотографию Ильябой на стенде в школе возле спортивного зала. На фотографии Ильябоя была значительно моложе, чем в день смерти, и голову ее украшал огромный белый бант, как и несколько лет назад, когда учительница подвела ее за руку к примерно сложившей на столе руки А-Б. Только тот, первый бант, был вертикальный, как пламя свечи, а второй — горизонтальный, как порыв ветра, задувающий свечу.

Отходит не сразу.

А-Б поняла, что это за ветер.

В сумке у нее пискнул мобильник.

Она достала его, прочитала сообщение: «Ты больше никогда его не увидишь, но с тобой я обязательно встречу. Позже».

— Разворачиваемся! — крикнула А-Б.

Каким-то образом Хвостову удалось не просто вернуть тяжелый бронированный «мерседес», но и поднять его, как вертолет, в воздух.

«Мерседес» взлетел над шоссе, и А-Б увидела, что превращения продолжаются.

Под днищем «мерседеса» образовался столб огня, из чего она заключила, что «мерседес» уже не вертолет, а ракета, летящая в космос.

45

Она ничего не видела и не чувствовала, но каким-то образом (ведь А-Б училась в медицинском институте) поняла, что лежит в больнице на койке с плотной повязкой на лице и под сильнейшим обезболивающим.

Сознание и память были при ней.

А-Б помнила все, что произошло до мельчайших деталей. Хотя она не сомневалась, что между моментом взрыва на шоссе и текущим моментом минуло кое-какое время и произошли кое-какие события.

— Хочешь, — услышала А-Б голос отца (но он обращался не к ней), — я выдвину тебя на государственную премию в области медицины? Ведь еще никому, если я не ошибаюсь, не удавалось составить из двух мужских сердец одно женское?

— Счастливое стечение обстоятельств, — ответил отцу гений-хирург (это был он). — Двух парней привезли в больницу на «скорой» практически в то же самое

время. Одного убило сильнейшим разрядом тока, другого на бытовой почве прирезал сожитель матери. У одного в идеальном состоянии оказалась правая часть сердца, у другого — левая. Но при этом ни того, ни другого спасти было невозможно. У нее сейчас уникальное сердце, полностью соответствующее ее генной структуре. Эти два парня... Они как будто... ее братья, даже больше чем братья. Такое редко бывает.

— Но они не ее братья, — ответил отец. — Это точно. Как она оказалась в машине?

— Не мой вопрос, — усмехнулся гений.

— Я знаю, кто хотел меня взорвать, — мрачно произнес отец.

— Неужели тот, кто позавчера взорвался сам? — спросил гений.

— Я его не взрывал, — ответил отец, — хотя, может быть... — Альбина-Беба догадалась, что отец крестится, — и следовало. Его взорвали... сам знаешь кто.

— Взорвали и взорвали, — равнодушно отозвался хирург. — У нас каждый день взрывают.

— Внешне она почти не пострадала, — с удовлетворением констатировал отец.

— Ну да, — согласился гений, — есть небольшие ожоги, но это пройдет. Детей у нее, конечно, не будет, но это тоже не страшно, сейчас столько сирот...

— Может, оно и к лучшему, — вздохнул отец. — Знаешь, я поручил службе безопасности найти этого малого, который за три минуты домчал ее на красном «феррари» до больницы. Они проверили все «феррари» в России, но его не нашли.

ЗАКРЫТАЯ ТАБЛИЦА

— «Феррари» — дорогая машина, — задумчиво произнес гений. — Может, иностранец?

— А говорят, что все богатые сволочи, — сказал отец. — Видишь, и среди нас встречаются порядочные люди.

2002—2004 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая	5
Часть вторая	181
Часть третья	261

Литературно-художественное издание
Серия «Meta-проза»

Юрий Вильямович Козлов

ЗАКРЫТАЯ ТАБЛИЦА
Роман

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Ведущий редактор серии *Т. К. Варламова*
Иллюстрация: *А. П. Куколев*
Компьютерная верстка: *А. В. Назаров*
Технический редактор *Е. А. Крылова*
Корректор *Н. С. Курлова*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 19.08.2005 г.
Формат 70×100/32. Печать офсетная.
Гарнитура «AcademyC». Печ. л. 16,5.
Тираж 3000 экз. Заказ № 4614

ООО «ИД «РИПОЛ классик»
107140, Москва, Краснопрудная ул., д. 22а, стр. 1
ЛР № 04620 от 24.04.2001 г.

Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru

Отпечатано во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ

ОБЩЕДЕЯТЕЛЬСКАЯ
ГАЗЕТА
ПИСАТЕЛЕЙ

ЛР

ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ

«Литературная Россия» имеет долгую и яркую историю. Основанная в 1958 году, она стала одним из ведущих изданий, освещающих события культурной, литературной, политической жизни страны.

На протяжении нескольких лет «Литературная Россия» издает этнополитический и литературно-художественный журнал «Мир Севера», альманах «Литрос», где собраны произведения современных российских писателей, а также «Библиотеку «Литературной России» — библиографические справочники, монографии, книги прозы.

www.litrossia.ru

e-mail: litrossia@litrossia.ru

Подписка на газету осуществляется во всех почтовых отделениях России по каталогу «Роспечать» красного цвета. Наш индекс - 50232.



*Дом книги "Молодая гвардия" -
магазин, где Вам рады!*



**Всегда большой выбор книг
по всем направлениям,**

**... а также канцтовары,
открытки, сувениры**

Мы работаем без выходных и перерыва на обед

ул. Б. Полянка, 28 тел. 238-5001, 780-3370

ул. Братиславская, 26 тел. 346-9900

www.bookmng.ru

Скидки, система дисконтных карт

Многофункциональная книготорговая компания
ООО Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС»



Миссия компании - просветительство.

*Девиз: «Все, что издается в России, должно быть представлено
в Торговом Доме «Бибlio-Глобус».*

ТОРГОВЫЙ ДОМ «БИБЛИО-ГЛОБУС»

- «Бибlio-глобус» - трехуровневый книжный магазин, имеющий самый большой товарный ассортимент в России в самом центре Москвы.
- Торговый Дом «Бибlio-Глобус» расположил на полках своих книжных залов более 100 000 названий отечественных и зарубежных изданий по всем отраслям знаний, а также учебные пособия, карты, атласы, ноты, открытки, постеры, календари, пазлы, детские игры и медиа продукцию.
- На территории Торгового Дома создан Культурный Центр, где проводятся презентации книжных и музыкальных новинок с участием известных авторов книг и популярных исполнителей.
- Интернет-магазин Торгового Дома «Бибlio-Глобус» предлагает любые книги из ассортимента и на заказ, производимые как в России, так и за рубежом с доставкой на дом.
- Торговый Дом «Бибlio-Глобус» сотрудничает с университетами, библиотеками, научными учреждениями, школами и другими учебными заведениями в аспекте просветительства, организации клубов встреч с интересными людьми и формирования библиотек.

Мы служим обществу;

Мы стремимся быть признанными в бизнесе как ответственная фирма;

Мы поддерживаем принципы честного ведения дел.

«БИБЛИО-ГЛОБУС» - ЭТО МИР КНИГ, ЗНАНИЙ И МИР ИНФОРМАЦИИ

101990, Москва, ул. Мясницкая, 6/3, стр.5

Телефоны: (095) 928-35-67, 924-46-80, 781-19-00

www.biblio-globus.ru; mail@biblio-globus.ru

Интернет-магазин: www.bgshop.ru; eshop@bgshop.ru



Московский Дом Книги
на Новом Арбате
и 38 магазинов сети по всей Москве

КНИГИ

75 ТЫСЯЧ НАИМЕНОВАНИЙ

художественные
детские
учебные
технические
общественно-
политические
букинистические
антикварные

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

школьно-письменные
товары для офиса
бизнес-подарки
открытки, журналы
аудио-видео
продукция
филателия
подарочная упаковка



УНИКАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

- ✓ информация о книгах
находящихся
В ПЕЧАТИ
- ✓ информация
о печатной продукции
изданной в РОССИИ
с 1980 года по настоящее время
- ✓ СОСТАВЛЕНИЕ
библиографических списков
для рефератов, курсовых и
дипломных работ

СПРАВОЧНО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- ✓ ЕДИНАЯ
информационная
служба справки для
всей сети магазинов
(095) 798-35-91
- ✓ справки о
наличии книг
в ЛЮБОМ из 38
магазинов сети

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Издание Федерального Собрания Российской Федерации

Всё о законах и людях, которые их создают

Мнения депутатов, сенаторов,
известных политиков

Актуальная информация из первых рук

Подписка в каждом
почтовом отделении,
а также по каталогам
"Почта России",
Объединенному каталогу
"Пресса России"
и Каталогу агентства "Роспечать"

Адрес редакции:
125190, Москва, ул. Правды, 24
Телефон для справок: 257-3064
Интернет: www.pnr.ru
Электронная почта: pg@pnr.ru





РОМАН-ГАЗЕТА

2005 № 8

«РОМАН-ГАЗЕТУ» — В КАЖДЫЙ ДОМ

«Роман-газета» —

самый популярный, самый массовый
журнал художественной литературы.

Традиции «Роман-газеты» остаются неизменными
уже более 75 лет.

«Роман-газета» —

это лучшие произведения отечественных писателей
и новинки современной литературы.

«Роман-газета» —

единственный

литературно-художественный журнал,
который выходит 24 раза в год
(12 номеров в полугодие).

Все значительные произведения российской литера-
туры печатались и печатаются в «Роман-газете».

«Роман-газета» —

ваш старый и добрый друг!

**Подписные индексы в каталоге «Рос-
печать»:**

71752 (на год);

70782 (на полугодие).

ЮРИЙ КОЗЛОВ



родился в г. Великие Луки, ныне живет в Москве. В 1974 г. окончил редакторский факультет Московского полиграфического института, работал в различных периодических изданиях. По единодушным отзывам критиков, его глубокие философские романы, в том числе «Пустыня отрочества», «Колодец пророков», «Проситель»,

«Одиночество вещей», «Реформатор», стали настоящими открытиями современной отечественной прозы.

Если западная литература XX века остановилась на исследованиях людских эмоций и переживаний, то литература русская, благодаря в том числе и Юрию Козлову, возвращается... ныне к своему главному и более глубокому призванию – исследованию тайн души человеческой.

«Красная Звезда»

Проза Юрия Козлова – это... одно из самых интересных и многообещающих явлений в сегодняшней русской литературе.

«Наш современник»

...Потенциально (по уровню письма, по богатству идей, по щедрости их дарения читателю) он вполне мог бы стать Маркесом или Кастанедой современного интеллектуала.

«Русский журнал»

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Газета Парламентской Республики Российской Федерации

книжное обозрение

ЛИТЕРАТУРНАЯ
РОССИЯ

НГ EX LIBRIS

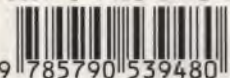
ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГАЗЕТА

Турне

агентство негосударственных новостей



ISBN 5-7905-3948-3



9 785790 539480 >



РИОЛ
КЛАССИК

ЗАКРЫТАЯ
ТАБЛИЦА
ЮРИЙ
КОЗЛОВ



МЕТА-ПРОЗА